

# ПАБЛО НЕРУДА

ПРИЗНАЮСЬ. Я ЖИЛ  
Воспоминания

...И думаю, что моя миссия как человека состоит в том, чтобы  
слиться с широкими складками организованного народа, ахнуть  
туда кровью и душой, всей страстью и надеждой, ибо только  
из этого вздымающегося потока рождаются пути, необходимые  
читателям и народам.

en política se basa  
en la construcción )  
en la paz y el presente  
volución a  
la civil  
alés' con  
y un razón  
de la Revolución  
En



# Пабло Неруда

## Признаюсь: я жил.

### Воспоминания

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=161651](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161651)*

*Пабло Неруда «Признаюсь: я жил. Воспоминания»: Издательство политической литературы; Москва; 1978*

#### Аннотация

Эта книга воспоминаний Пабло Неруды, выдающегося чилийского поэта-публициста, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии по литературе.

Книга завершена Нерудой в последние месяцы его жизни, в Исла-Негра. Уже прикованный к постели неизлечимой болезнью, он, по рассказам очевидцев, диктовал эту книгу секретарю, просматривая затем записи и внося необходимые исправления. Работа над книгой не прекращалась почти до самой смерти Неруды: последние страницы, посвященные Сальвадору Альенде, продиктованы уже в середине октября 1973 года, когда автору уже оставалось несколько дней жизни.

# Содержание

Молодой провинциал	10
Чилийский лес	10
Детство и поэзия	12
Искусство дождя	25
Мои первые стихи	33
Дом трех вдов	39
Любовь в стогу	47
Затерявшийся в городе	51
Пансионы	51
Робость	59
Федерация студентов	65
Альберто Рохас Хименес	69
Безумцы среди зимы	74
Деловые люди	82
Мои первые книги	87
Слова	96
Дороги мира	98
Бродяга из Вальпараисо	98
Чилийский консул в дыре	114
Монпарнас	118
Путешествие на Восток	127
Альваро	135
Лучезарное одиночество	138

Образы джунглей	138
Конгресс в Индии	146
Боги в движении	148
Незадачливое племя человеческое	151
Танго вдовца	157
Опий	159
Цейлон	162
Жизнь в Коломбо	172
Сингапур	180
Батавия	191
Испания в сердце	201
Каким был Федерико	201
Мигель Эрнандес	211
«Зеленый конь»	216
Преступление было в Гранаде	223
Моя книга об Испании	230
Война и Париж	233
Нэнси Кунард	235
Конгресс в Мадриде	240
Маски и война	247
Я вышел искать павших	249
Путь выбран	249
Рафаэль Альберти	253
Нацисты в Чили	256
Исла-Негра	259
«Привезите мне испанцев»	261

Дьявольский тип	263
Генерал и поэт	269
«Виннипег»	272
Мексика в цветах и терниях	280
Мексика в цветах и терниях	280
Мексиканские художники	286
Наполеон Убико	291
Антология пистолетов	294
Почему Неруда	296
Канун Пирл-Харбора	298
Я – малаколог	303
«Араукания»	305
Магия и тайна	307
Родина во мраке	311
Мачу-Пикчу	311
Селитряная пампа	313
Гонсалес Видела	323
«Разбросанное тело»	327
Путь через сельву	332
Анды	341
Сан-Мартин-де-лос-Андес	348
В Париже и с паспортом	351
Корни	361
Начало и конец изгнания	363
В Советском Союзе	363
Снова в Индии	373

Мое первое посещение Китая	383
«Стихи капитана»	395
Конец изгнания	405
Наброски к океанографии	407
Плаванья и возвращения	413
Барашек в моем доме	413
С августа 1952 года по апрель 1957-го	418
Арест в Буэнос-Айресе	420
Поэзия и полиция	423
Новая встреча с Цейлоном	426
Второе посещение Китая	429
Обезьяны в Сухуми	446
Армения	449
Вино и война	453
Отвоеванные дворцы	458
Эпоха космонавтов	465
Поэзия – это служение	468
Сила поэзии	468
Поэзия	479
Неразлучно с испанским языком	482
А страдают пусть критики	485
Стихи короткие и длинные	489
Оригинальность	493
Бутылки и корабельные ростры	498
Книги и раковины	504
Разбитые стекла	509

Матильда Уррутиа, моя жена	511
Изобретатель звезд	513
Элюар великолепный	517
Пьер Реверди	520
Ежи Борейша	522
Дёрдь Шомльо	526
Квазимодо	528
Вальехо жив	531
Габриэла Мистраль	533
Висенте Уидобро	536
Мои литературные недруги	541
Критика и самокритика	548
Еще один новый год	557
Нобелевская премия	561
Чили-Чико	577
Знамена сентября	579
Престес	584
Кодовилья	589
Сталин	592
Урок скромности	596
Фидель Кастро	598
Письмо	605
Родина желанная и суровая	610
Экстремизм и шпионы	610
Коммунисты	616
Поэтика и политика	619

Кандидат в президенты	623
Предвыборная кампания Альенде	626
Посольство в Париже	628
Возвращение в Чили	635
Фрей	638
Томич	641
Альенде	645



# Пабло Неруда

## Признаюсь: я жил.

### Воспоминания

Эти мемуары, или воспоминания, – отрывочны... что-то, наверное, ускользнуло из них и забылось – как, впрочем, случается и в жизни. Мы отрываемся на сон, но именно сон дает нам силы, чтобы работать дальше. Многое из того, что я пытался вспомнить, утратило форму, рассыпалось, как непоправимо раненый стеклянный сосуд, и пропало.

Воспоминания поэта не похожи на обычные мемуары. Такие мемуары пишутся человеком, который пережил, может, и меньше, но сфотографировать ему удалось больше, и он воссоздает события скрупулезно, с мельчайшими подробностями. Поэт же дарит нам галерею видений, рожденных огнем и мраком его эпохи.

Быть может, то, о чем я пишу, было не со мною, может, я пережил и чужие, прожитые другими жизни.

В том, что написано на этих страницах, есть – как в осеннем листопаде и как в сборе винограда по осени – пожелтевшие листья, которым суждено умереть, и виноградины, которые продолжают жизнь в священном вине.

Моя жизнь соткана из множества жизней, ибо такова жизнь поэта.

# Молодой провинциал

## Тетрадь I

### Чилийский лес

*...Под жерлами вулканов, у самых заснеженных вершин, меж огромных озер поднимается благоухающий, молчаливый, дремучий чилийский лес... Ноги тонут в мертвой листве, нет-нет и хрустнет ломкая ветка, надменно тянется ввысь гигантский бук. Пролетает птица, обитательница холодной сельвы, и, взмахнув крыльями, остается в тенистых ветвях. А потом из своего укрытия вдруг отзовется гобоем... Неприрученный аромат лавра, хмурый запах больдо западает в душу... Кипарис заступает мне путь. Этот мир раскинулся ввысь – по вертикали: птичьи народы, континенты листвы... Я спотыкаюсь о камень, а под ним – ямка, уже открытая до меня, обитаемая; громадный, рыжий, мохнатый паук уставился на меня – замер, огромный, как краб... Золотистый жук обдаёт зловонием и исчезает как молния, сверкнув переливчатой радугой... Я иду сквозь лес папоротников в рост человека, и шестьдесят слезинок падает мне на лицо из их холодных зеленых глаз, а за спиной еще долго трепещут их веера... А вот гнилой ствол: целое*

сокровище!.. Черные и синие грибы стали ему ушами, алые растения-паразиты венчают его рубинами, лениво-ползучие стебли одолжили ему свои бороды, и из его прогнившего нутра стремительно выскальзывает змея – словно испаряется, покидает мертвое дерево душа... А дальше – каждое дерево особняком от себе подобных... Они раскинулись на ковре таинственной сельвы, и у каждого – своя листва, свой разлет и рисунок ветвей – округлых и изгибающихся или торчащих, словно пики, свой стиль и покрой, словно их стригут, не переставая, неведомые ножницы... Расщелина; внизу по граниту и яшме скользит прозрачная вода... Свежая, точно лимон, порхает и пляшет над солнечными бликами и водой бабочка... Рядом приветственно кивают мне желтыми головками бесчисленные кальцеолярии. А в вышине – словно капли из артерий загадочной сельвы – набегают алые цветы копиуэ. Красные копиуэ – цветок крови, белые – цветок снегов... Скользнула лисица – дрожь листьев лишь на мгновение прорезала тишину, ибо тишина – незыблемый закон всего, что тут растет... Редко-редко прокричит вдали испуганное животное... Прошелестит крыльями неведомая птица... Тихое бормотание, неясный шепот – вот и все звуки растительного мира, пока буря не вступит в свои права, и уж тогда зазвучит вся музыка земли.

Кто не знает чилийского леса – не знает нашей планеты. На этих землях, на этой почве родился я, из этого молчания я вышел в мир – чтобы странствовать по нему и петь.

## Детство и поэзия

Я начну рассказ о днях и годах своего детства с того, что единственным, незабываемым действующим лицом той поры был ливень. Великий ливень южных широт водопадом низвергается с полюса, с небес мыса Горн, до земель «фронтеры».<sup>1</sup> И на этих землях, на Дальнем Западе моей родины, родился я – пришел в жизнь, на землю, в поэзию, в дождь.

Я исколесил много земных дорог, и со временем мне стало казаться, что в мире теряется это искусство дождя, которое в моей родной Араукании было страшной и злокозненной силой. Дождь шел месяцами, шел годами. Долгие стеклянные иглы дождя разбивались о крыши, дождь накатывался прозрачными волнами на стекла, и каждый дом под ливнем был словно корабль, с трудом пробиравшийся в порт через этот океан зимы.

Холодный дождь на юге Америки не похож на теплые ливни с их шквалами и порывами, которые обрушиваются на землю, словно удар бича, и проносятся, распахнув ясное голубое небо. Дождь на юге – терпелив, он идет и идет, без конца сыплет с серого неба.

Улица перед домом превратилась в море грязи. Сквозь

---

<sup>1</sup> «Фронтера» – «граница», область южнее реки Био-Био, где в XIX веке проходила граница между государственными владениями и землями незамиранных индейцев-арауканов. – (Здесь и далее – примечания переводчиков.)

дождь я вижу в окно, что посреди улицы застряла повозка. Крестьянин, в накинутом на плечи черном суконном плаще, хлещет занемогших от дождя и слякоти волов.

Держась стен, перебираясь с камня на камень, идем мы в школу, а холод сечет, и дождь лупит в лицо. Зонты уносит ветер. Плащи дороги, перчаток я не люблю, башмаки набухают водой. Никогда не забуду: мокрые носки у жаровни и башмаки, от которых идет пар, как от маленьких паровозов. А потом начинались наводнения, они сносили целые поселки у реки, где жил бедный люд. И еще, бывало, сотрясалась и дрожала земля или поднимался над горами всеяющий ужас огненный плюмаж – это просыпался вулкан Льяйма.

Темуко – город-пионер, из тех городов, у которых нет прошлого, но есть кузнецы. Индейцы читать не умеют, и потому кузнецы изготавливают эмблемы, которые выставляют на улицах вместо вывесок: например, огромная пила, или гигантский котел, или циклопических размеров замок, или чудовищной величины ложка. Там, где башмачники, – колосальный сапог.

Темуко был аванпостом в жизни чилийского юга, и за этим – долгая и кровавая история.

Под напором испанских конкистадоров после трехсот лет борьбы арауканы отступили на эти холодные земли] И тут чилийцы продолжили дело испанцев, эти действия получили название «умиротворения Араукании», другими словами – это была война огнем и мечом, с тем чтобы лишить своих со-

отечественников земли, которая им принадлежала. Против индейцев, не скупясь, пускали в ход любое оружие: стреляли из карабинов, сжигали их хижины, а потом – «по-отечески» – стали добивать их законом и алкоголем. Адвокат норовил отобрать у них землю, судья – засудить, если они протестовали, священник грозил им геенной огненной. И, наконец, алкоголь довершил уничтожение гордого племени, чьи подвиги, мужество и красоту запечатлел в «Араукане» в строфах из железа и яшмы дон Алонсо де Эрсилья.<sup>2</sup>

Мои родители приехали из Парралья, где я родился. Там, в самом центре Чили, зреет виноград и вино льется рекою. Моя мать, донья Роса Басоальто, умерла рано, я ее не помню и даже не знаю, успели ли мои глаза ее увидеть.

Я родился 12 июля 1904 года, а месяц спустя, в августе, моей матери, сожженной чахоткой, не стало.

Жизнь мелких землевладельцев в центре страны была тяжелой. У моего деда, дона Хосе Анхеля Рейеса, было мало земли и много детей. Имена дядьев казались мне похожими на имена принцев из далеких царств. Их звали Амос, Осеас, Хоэль, Абадиас. Моего отца звали просто Хосе дель Кармен. Он совсем молодым ушел из родного дома и стал докером в порту Талькауано, а потом железнодорожником в Темуко.

Он сопровождал поезда, груженные щебнем. Мало кто

---

<sup>2</sup> Алонсо де Эрсилья-и-Суньига (1533–1594) – испанский поэт, участвовавший в завоевании Чили, автор поэмы «Араукана», в которой воспеваются доблести индейцев, защищавших свою родину.

знает, что это такое. В наших южных областях, с их страшными ветрами и ливнями, пути размывало бы, если бы между ними все время не насыпали новый щебень. Щебень этот носили в корзинах из каменоломен и ссыпали на платформы. Сорок лет назад такой поезд обслуживали необычные люди. Они приходили с полей, из городских предместий, из тюрем. Это были великаны и силачи. Им платили жалкие гроши, но зато от них не требовали ни бумаг, ни рекомендаций. Отец мой сопровождал такой состав. Он привык и командовать и подчиняться. Иногда он брал с собой меня. Мы дробили камень в Бороа, в лесной чащобе, на землях «фронтеры», где некогда жестоко бились испанцы и арауканы.

От тамошней природы я словно пьянел. Птицы, жуки, яйца куропаток манили меня. Как это замечательно – находить в ущельях маленькие яички, переливающиеся, сверкающие, темные, как ружейное дуло. Совершенство насекомых меня поражало. Я подбирал «змеиных маток». Так диковинно называется огромный черный полированный жук, необыкновенно сильный, чудо-богатырь среди чилийских жуков. По неволе вздрогнешь, заметив его на кусте или дикой яблоне, и я знал: жук такой сильный, что можно встать на него обеими ногами – все равно не раздавишь. Он так защищен, что ему и яд не нужен.

Эти мои поиски и исследования вызывали любопытство у рабочих. Скоро они стали интересоваться моими находками. Стоило отцу зазеваться, и рабочие исчезали в девствен-

ной чаше, а так как были ловчее, умнее и сильнее меня, то добывали для меня бесценные сокровища. Был среди них один, его звали Монхе. Отец считал его отчаянным голово-резом. Две линии крест-накрест пересекали его смуглое лицо. Вдоль – ножевой шрам, а поперек – белозубая улыбка, добрая и озорная. Этот Монхе приносил мне белые цветы копиуэ, мохнатых пауков, птенцов лесного голубя, а однажды нашел потрясающее сокровище – миртового жука. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь миртового жука. Я видел только раз – тогда. Это была молния, наряженная в радугу. Панцирь его переливался красно-зелено-желтым. И как молния он ускользнул из моих рук – назад, к себе в сельву. И надо же: Монхе не было рядом – поймать жука. Никогда не забыть мне это ослепительное чудо. И друга не забыть. Отец рассказал, как умер Монхе. Сорвался с поезда и покатился в пропасть. Состав остановили, но Монхе уже превратился в мешок костей.

Трудно рассказать, каким был наш дом, обычный для тех мест дом, шестьдесят лет назад.

Прежде всего, между домами родичей поддерживалось самое тесное общение. Семейства Рейесов, Ортега, Кандиа и Масонов то и дело обменивались через забор инструментами, книгами, праздничными пирогами, целебными мазями, зонтиками, столами и стульями.

Чтобы ни происходило в нашем городе – ко всему имели отношение семьи этих первых поселенцев.



Дон Карлос Масон, выходец из Северной Америки, похожий на Эмерсона,<sup>3</sup> с белой гривой волос, был главою рода. Его дети были до мозга костей креолами. У дона Карлоса Масона имелись свод законов и Библия. Он не был империалистом, просто у него был деятельный характер – он основывал одно дело за другим. Эта семья, в которой ни у кого никогда не водилось денег, непрестанно открывала типографии, гостиницы, мясные лавки. В семье были как директора газет, так и работавшие у них наборщики. Со временем предприятия разорялись, и семья оставалась по-прежнему бедной. Не разорялись только немецкие поселенцы, только они богатели в наших краях.

Наши дома были похожи на биваки. Или на лагерь какой-нибудь экспедиции. Входишь – и сразу натыкаешься на бочки, седла, сбрую и самые неожиданные предметы.

Всегда оставались в доме неотделанные комнаты, недостроенные лестницы. И вечно велись разговоры о том, что надо бы их доделать. А родители подумывали о том, чтобы отдать детей в университет.

В доме дона Карлоса Масона устраивались большие праздники. На именины всегда подавали индейку с сельдереем, молодую баранину, жаренную на вертеле, и на десерт – взбитые сливки. Давно я не пробовал взбитых сливок. Седовласый патриарх сидел во главе бесконечно длинного стола со своей супругой доньей Микаэлой Кандиа. За спиной у

---

<sup>3</sup> Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) – американский писатель и философ.

него было огромное чилийское знамя, а на знамени – приколотый булавкой крошечный флажок Соединенных Штатов. Именно таким было в семье соотношение чилийской и американской крови. Одинокая звезда Чили одерживала верх.

В доме Масонов была зала, куда нас, детей, не пускали. Я так и не узнал, какого цвета там мебель, потому что она всегда стояла в белых чехлах – пока не сгорела во время пожара. Был там и альбом с семейными фотографиями. Эти фотографии отличались гораздо большим вкусом и непосредственностью, чем те чудовищные увеличенные и раскрашенные карточки, которые позднее заполнили дома в нашем краю.

В этом альбоме хранилась и фотография моей матери. Женщина в черном, хрупкая и задумчивая. Мне говорили, что она писала стихи, но я никогда не видел ее стихов, не видел и матери, знаю ее только по этой прекрасной фотографии.

Отец мой женился второй раз на донье Тринидад Кандиа Марверде, ставшей моей мачехой. Я не представляю себе, что так можно называть ангела-хранителя моего детства. Это была ласковая и добрая женщина, с природным крестьянским юмором. Целый день она без усталости хлопотала и обо всех заботилась.

Стоило появиться отцу, и она тотчас же превращалась в его тень, добрую и послушную, как и все тамошние женщины в те времена.

Я видел, как в зале танцевали мазурку и кадрили.

Был у нас в доме и сундук с волшебными вещами. На самом дне поблескивал чудесный попугай из календаря. Один раз, когда мать перебирала в нем вещи, я потянулся за попугаем и нырнул в сундук вниз головой. Когда подрос, я тайком рылся в нем. Там были изумительной красоты воздушные веера.

С этим сундуком у меня связано еще одно воспоминание. Первая в жизни, поразившая меня повесть о любви. Она была в сотнях открыток, которые какой-то не то Энрике, не то Альберто посылал Марии Тильман. Чудесные открытки. На некоторых из них были изображены знаменитые в ту пору актрисы, с приклеенными настоящими волосами и стекляшками вместо драгоценностей. На других – замки, города, пейзажи далеких стран. Вначале – несколько лет – я с наслаждением просто рассматривал картинки. Но когда подрос, стал читать эти любовные послания, написанные каллиграфическим почерком. Я представлял себе влюбленного мужчину в шляпе, с тростью и с бриллиантовой булавкой в галстук. Письма его были полны все сметавшей на своем пути страсти. Письма приходили со всех концов света – он путешествовал. Меня повергала в изумление отвага его любви. В конце концов я и сам влюбился в Марию Тильман. Она представлялась мне гордой актрисой, в жемчугах. Как попали эти письма в сундук моей матери? Этого я так и не узнал.

В город Темуко пришел 1910 год. В том памятном году я

пошел в лицей – это был просторный домина с нескладными классами и мрачными подвалами. Сверху, из окон школы, весною видна была река Каутин, красиво извивавшаяся меж поросших дикими яблонями берегов. Мы убегали с уроков к реке и шлепали босиком по холодной воде, струившейся меж белых камней.

В шесть лет лицей представлялся мне огромным непознанным миром. На каждом шагу тут поджидали тайны. Физические лаборатории, куда меня не пускали, уставленные сверкающими приборами, ретортами, колбами. Вечно запертая библиотека. Дети первых поселенцев к книжной мудрости особенно не тянулись. Больше всего притягивал и манил нас подвал. Тишина и темень. Запасаясь свечами, мы играли там в войну. Победители привязывали пленных к старым столбам. Мне до сих пор помнится запах сырости, запах тайников, могильный запах, стоявший в подвале темукского лицея.

Я рос. Начинал интересоваться книгами. Уносился в страну мечтаний – к подвигам Буффало Билла,<sup>4</sup> в странствия героев Сальгари.<sup>5</sup> Моя первая, самая чистая любовь вылилась в письма к Бланке Уилсон. Она была дочерью кузнеца, и один из моих приятелей, влюбившийся в нее без ума, попросил

---

<sup>4</sup> *Буффало Билл* – герой американских приключенческих романов оу освоении Дальнего Запада.

<sup>5</sup> *Сальгари* Эмилио (1863–1911) – итальянский писатель, автор приключенческих романов.

меня писать за него любовные письма. Уже не помню, что я писал, может, это и были мои первые литературные опыты, но только как-то раз, встретив меня, она спросила, не я ли пишу те письма, которые ей передает влюбленный молодой человек. У меня не хватило сил отречься от своих произведений, и, страшно смутившись, я признался. В ответ она протянула мне айву, которую я, конечно, не съел, а хранил, как сокровище. Итак, вытеснив своего приятеля из сердца девушки, я продолжал писать ей нескончаемые любовные послания, а в ответ получал айву.

Приятеля по лицу не знали, что я поэт, и никакого почтения ко мне как к поэту не испытывали. Наша окраина напоминала нравами Дальний Запад – никаких предрассудков. Приятелей моих звали Шнейк, Шлер, Хаузер, Смит, Тайто, Серани. И Арасенасы, и Рампресы, и Рейесы – все мы были равны. Баскских фамилий не было. Зато были сефарды – Альбала, Франко. Были и ирландцы – Мак-Джинтис. И поляки – Янишевские. А среди них мерцали пахнувшие древесиной и влагой арауканские имена: Меливилу, Катрилео.

Бывало, под большим навесом мы устраивали сражения желудями. Тот, кому не случилось быть битым желудями, не знает, как это больно. По дороге в лицей мы набивали ими полные карманы. Сноровкой я не отличался, хитрости у меня было мало, а сил и вовсе никаких. И потому мне особенно доставалось. Пока я любовался красотой зеленого полированного желудя, в морщинистом сером колпачке, пока неук-

люже запихивал его в трубочку, которую у меня тут же отнимали, на мою голову обрушивался град желудей. Когда я учился во втором классе, мне вздумалось однажды прийти в лицей в ярко-зеленой непромокаемой шляпе. Это была отцовская шляпа; и его шляпа, и черный суконный плащ, и зеленые и красные сигнальные фонари были полны для меня особого очарования, и я, когда удавалось, таскал их в лицей – покрасоваться, похвастаться... В тот день шел проливной дождь, и зеленая клеенчатая шляпа, точно попугай, переливалась у меня на голове. Не успел я войти под навес, где, словно обезумевшие, носились три сотни разбойников, как шляпа попугаем слетела у меня с головы. Я побежал за ней и чуть было не схватил ее, но она под оглушительные вопли снова взвилась вверх. Больше я ее не видел.

В памяти не осталось четкой последовательности событий. Все время приходят на ум и путают черед события мелкие, которые для меня, однако же, очень важны, и таким, наверное, было мое первое эротическое впечатление, которое странным образом переплелось с моим восприятием природы. Наверное, любовь и природа с самых ранних лет были источником и почвой моей поэзии.

Напротив нашего дома жили две девочки, непрестанно бросающие в мою сторону взгляды, которые заставляли меня краснеть. То, что во мне таилось молчаливо и робко, в них, созрев раньше времени, выплескивалось в дьявольские затеи. В тот раз, стоя в дверях своего дома, я изо всех сил ста-

рался не глядеть на них. Но девочки держали в руках что-то необыкновенно интересное, и я не устоял. Осторожно приблизился, и они показали мне птичье гнездо, слепленное из мха и перышек, а в нем – изумительные бирюзовые яички. Я потянулся за яичком, но одна из девчонок сказала, что сперва посмотрят кое-что у меня. Я похолодел от ужаса и бросился прочь, а юные нимфы, подняв как флаг над головой свое завлекательное сокровище, кинулись за мною. Спасаясь от погони, я побежал по переулку к пустой пекарне, принадлежавшей моему отцу. Преследовательницы нагнали меня и уже начали было стягивать с меня штаны, как вдруг в коридоре послышались шаги отца. Тут гнезду пришел конец. Чудесные яички растеклись по полу заброшенной пекарни, а мы – и преследовательницы и преследуемый – замерли под прилавком.

Помню еще, как-то раз я бродил за домом, выискивая интересовавшие меня разные предметы и живые существа, которые составляли часть моего мира, и наткнулся на щель в деревянном заборе. Я посмотрел в щель и увидел двор – такой же, как наш, пустой и заросший. И отступил на несколько шагов, почувствовав: сейчас должно что-то произойти. И действительно, в щель просунулась рука. Маленькая детская ручка, должно быть, ребенок был мне ровесником. Я подошел, но руки уже не было, а подле забора осталась белая овечка.

Шерсть на овечке облезла, колесики, на которых когда-то

она катилась, потерялись. Никогда я не видел такой прекрасной овечки. Я побежал в дом, принес и положил на то место, где нашел овечку, дар: душистую, благоухающую кедровую шишку, любимую свою игрушку.

Руки той я больше не видел. И овечки такой никогда больше не встречал. Та пропала во время пожара. И теперь, даже теперь, проходя мимо магазинов игрушек, я тайком поглядываю на витрины. Все напрасно. Таких овечек больше не делают.



# Искусство дождя

Не только холод, слякоть и дожди лютовали на улицах, другими словами, не одна беззастенчивая зима царила на юге Америки, приходило и лето в наши края – желтое и палящее. Со всех сторон нас окружали девственные горы, но я хотел узнать море. Мне повезло: отец, обладавший неспокойным нравом, договорился с одним из своих многочисленных приятелей о том, что во время отпуска мы будем жить в его доме. И вот отец, приезжая в кромешной тьме, в четыре часа ночи (до сих пор не могу понять, почему говорят «четыре часа утра»), свистел в свой железнодорожный свисток и будил весь дом. С этой минуты никому не было покоя, в темноте, при свечах, пламя которых колебалось от сквозняков, мать, брат с сестрой – Лаура и Родольфо – и кухарка сновали по дому, носились, сворачивая матрацы в огромные шары, обернутые в джутовую ткань, и торопливо катили их к двери. Все это надо было грузить в поезд. Постели еще были теплыми, когда мы трогались с ближайшей станции. Я был хилым и болезненным от природы, и поэтому, когда меня поднимали среди ночи, чувствовал озноб и тошноту. А отец стал возить нас так каждый раз, вытаскивая из дому ни свет ни заря. Когда бедняки уезжают на месяц в отпуск, они везут с собой все до последней мелочи. Даже плетеные подставки для сушки белья над жаровней – ведь в нашем климате белье

и одежда вечно сырые, – так вот даже эти подставки упаковывали, каждый сверток надписывали и водружали на поджидавшую у дверей повозку.

Поезд пробегал нашу холодную провинцию от Темуко до Карауэ. Шел по обширным, безлюдным, невозделанным землям, пересекал девственные леса, гремел, точно землетрясение, по туннелям и мостам. Мимо станций в чистом поле и полустанков, таявших в яблоневои цвету. На станциях поджидали индейцы-арауканы, древне-величественные, в традиционных одеждах, поджидали, чтобы продать проезжим ягнят, кур, яйца или ткани. Отец всегда покупал у них что-нибудь и при этом бесконечно долго торговался. Надо было видеть, как отец, с его маленькой русой бородкой, вертел и разглядывал курицу, а хозяйка товара арауканка с непроницаемым видом ждала, не желая уступать ни полсентаво.

Чем дальше, тем прекраснее названия станций, оставшиеся в наследство от арауканов, в древности владевших этими землями. Именно здесь шли самые кровавые сражения между испанскими захватчиками и первыми чилийцами, исконными детьми этих мест.

Сначала мы проезжали станцию Лабранса, за ней – Бороа и Ранкилько. От названий веяло запахом полей и лесов, меня пленяло их звучание. Эти арауканские слова всегда означали что-то изумительное: тайник с медом, лагуну или лесную речку, а то гору, которую нарекли птичьим именем. Мы проезжали маленькое селение в департаменте Империяль, где

испанский губернатор чуть не казнил поэта дона Алонсо де Эрсилью. В XV и XVI веках здесь была столица конкистадоров. В борьбе за родную землю арауканы изобрели тактику «выжженной земли». Они камня на камне не оставили от города, чью пышность и красоту описал Эрсилья.

А потом мы приезжали в город на реке. Поезд раздражался веселыми свистками, поля пропадали в сумерках, а за окном вставала железнодорожная станция с бесчисленными хохолками дыма над паровозными трубами, со звяканьем колокола на перроне, и вот уже запахло рекою – полноводной, лазурной и спокойной рекою ИмперIALь, которая катится к океану. Наступала пора выгружать бесчисленные тюки, грузить маленькое семейство со всем скарбом на повозку, запряженную волами, ехать к пароходу и потом плыть на нем вниз по реке ИмперIALь. Все распоряжения отдавал отец – взглядом голубых глаз да еще призывая на помощь свой свисток. Вместе со всеми тюками мы грузились на суденышко и плыли к морю. Кают не было. Я садился поближе к носу. Колеса крутились и шлепали лопастями по речной воде, машины маленького суденышка лязгали и сопели, а пассажиры, молчаливые жители юга, разбрелись по палубе, застывали неподвижно, как мебель.

И только где-нибудь в сторонке романтически-зазывно стонал о любви аккордеон. В пятнадцать лет нет ощущения более захватывающего, чем плыть меж гористых берегов по широкой незнакомой реке к таинственному морю.

Нижний Имперяль – это ниточка домов с разноцветными кровлями. На самом челе реки. Из дома, который ждал нас, и даже еще раньше – с полуразвалившегося причала, куда пристал парходик, я услышал несшийся издали рокот моря, далекое сотрясение. В мою жизнь входил океан с его беспокойным раскатом волн.

Дом принадлежал дону Орасио Пачеко, земледельцу. Это был великанище, и весь месяц, что мы жили у него и доме, он не слезал со своей жнейки – колесил по холмам и непролазным дорогам. На этой жнейке он убирал хлеб крестьян, которые жили на землях, отгороженных холмами от прибрежных селений. Громкоголосый, весь в пыли и соломе, он неожиданно врвался в наше железнодорожное семейство. А потом, так же громогласно, возвращался в горы – на работу. Для меня он всегда был примером суровой доли, какая выпадает людям в наших южных широтах.

Все было для меня окутано тайной и в этом доме, и на этих разбитых улицах, и в неведомых мне жизньх вокруг, и в далеком, глубинном рокоте моря. Дом окружал показавшийся мне огромным запущенный сад, где была омытая дождями, заросшая деревянная беседка. Кроме меня, несчастного, никто не нарушал хмурого одиночества сада, в котором было привольно плющам, жимолости и моим стихам. По правде говоря, в этом саду была еще одна вещь, которая меня притягивала: огромная шляпка, осиротевшая после какого-то великого кораблекрушения, обреченная на веки веч-

ные застрять на мели – среди маков, вдали от бурь и волн.

Не знаю, намеренно или по недосмотру, но очень странно – в одичавшем саду росли одни маки. Они вытеснили все остальное из этого тенистого уголка. А маки там были огромные, белые, как голуби, или ярко-красные, точно капли крови, или темно-лиловые и черные, будто забытые всеми вдовы. Я пи раньше, ни потом нигде не видел сразу столько маков. И хотя смотрел на них почтительно и даже немного с суеверным страхом, какой из всех цветов внушают одни они, я все же нет-нет да срывал цветок, и от сломанного стебелька на руках у меня оставалось терпкое молочко, а в нос ударял странный, чуждый человеку запах. Потом я разглаживал их лепестки из прекрасного шелка и закладывал меж страниц книги. Они казались мне крыльями больших бабочек, которые не умеют летать.

Я обомлел, когда первый раз оказался перед океаном. Меж двух огромных утесов – Уильке и Мауле – рвалась наружу ярость великого моря. Огромные снежные волны вздымались высоко над нашими головами, а их грохот показался мне биением колоссального сердца, пульсом вселенной.

Все семейство располагалось прямо на берегу, расстилались скатерти, раскладывалась посуда. Когда ели, песок хрустел на зубах, но меня это не смущало. Как страшного суда я каждый день ждал того жуткого момента, когда отец посылал нас купаться. И даже там, где мы с сестрой Лаурой купались, далеко от гигантских водяных валов, ледяные брызги,

словно удары хлыста, настигали пас. И мы дрожали от страха, что какая-нибудь волна языком слизнет нас и утащит туда, где волны вздымались горами. И когда мы с сестрой, посиневшие, крепко держась за руки и стуча зубами, уже готовы были к смерти, – раздавался железнодорожный свисток, и отец освобождал нас от мук.

Расскажу о некоторых тайнах тамошних мест. Одна из тайн – лошади-першероны, а другая – дом трех заколдованных женщин. На краю селения возвышалось несколько больших домов. Наверное, это были дубильные мастерские. Хозяевами были французские баски. На юге Чили много таких кожевенных предприятий, принадлежащих баскам. По правде сказать, я тогда не особенно знал, что это за штука. Я знал только: каждый день под вечер, в одно и то же время, из ворот появлялись огромные кони и проносились по селению.

Это были першероны – кобылицы и кони гигантского роста. Длинные густые гривы спадали на высоченные бока. Огромные ноги тоже были покрыты длинной шерстью, и на скаку она развевалась плюмажем. Лошади были рыжие, белые, золотистые, могучие. Так, наверное, скакали бы вулканы, если бы вулканы могли скакать, как те гигантские кони. Словно землетрясение, громыхали они по каменистым пыльным улицам. И хрипло ржали, сотрясая подземным гулом покой селения. Надменные, невероятных размеров и статей; я никогда в жизни не видел больше таких лошадей, разве только в Китае мне встречались такие – высеченные

на камнях, на могильных монументах династии Мин. Но никакой, даже самый почитаемый камень не может дать представления о тех потрясающих живых животных: мне, ребенку, казалось тогда, что они вышли из тьмы, из мечты и несутся в другой мир – в мир великанов.

Но и в реальном мире дикой природы тоже было много лошадей. Я видел на улицах чилийцев, немцев и индейцев-мапуче, все до единого в черных шерстяных пончо, верхом на лошадях. Я видел, как они слезали с седел, а лошади – жалкие или ухоженные, худые или раздобревшие – стояли там, где их оставляли хозяева, стояли как вкопанные, пережевывая придорожную траву и пуская ноздрями пар. Они уже привыкли к своим хозяевам, привыкли к своей одинокой жизни среди людей. Л потом видел их нагруженных тюками с продуктами или инструментом, видел, как они тяжело поднимались вверх к неизвестно каким высям, карабкались по трудным тропкам или скакали по песку у кромки моря. А бывало от ростовщика или из мрачной таверны выходил всадник-араукан, с трудом взбирался на своего невозмутимого коня и отправлялся восвояси, к себе в горы, раскачиваясь в седле из стороны в сторону, – он был пьян. Я смотрел ему вслед, и мне казалось, что пьяный кентавр вот-вот свалится наземь, но я ошибался: качнувшись, он опять выпрямлялся в седле и тут же снова клонился набок, по как бы ни кидало его из стороны в сторону, в седле он сидел точно впянный. Так он и продвигался километр за километром, по-

ка окончательно ни сливался с дикой природой, – странное, шатающееся, диковинным образом неуязвимое животное.

Много лет подряд приезжали мы в эти чудесные края, и каждый раз повторялись с начала и до конца все хлопоты. Я рос и постепенно начинал читать, влюбляться, писать – и в грустные зимние месяцы в Темуко, и в полные тайн летние дни на побережье.

Я привык ездить верхом. В седле жизнь казалась выше и просторнее, в ней появились крутые глинистые дороги и неожиданные повороты. На пути возникали заросли, тишина или пение лесных птиц, а то вдруг вспыхивало цветущее дерево, все в пурпурном наряде, точно огромный архиепископ гор, или же в белоснежной одежде из неведомых цветов. А иногда попадался цветок копиуэ – неприрученный и неотделимый от куста, на котором он повис, будто капля крови. Я понемногу привыкал к жесткому, неудобному седлу и жестким шпорам, которые звенели у пяток. Так на бескрайнем берегу или в глухих горах началось общение моей души, иными словами, моей поэзии с землей, самой одинокой землей на свете. С тех пор прошло много лет, но это общение, это откровение, это единение с пространством и миром никогда не прекращалось и проходит через всю мою жизнь.



# Мои первые стихи

А сейчас я расскажу историю о птицах. На озере Буди жестоко охотились на лебедей. Потихоньку подкрадывались в лодках, а потом быстро-быстро гребли к ним... Лебеди, как и альбатросы, плохо летают, им надо сначала разбежаться по воде. Тяжело расправляют они свои огромные крылья. И тут их настигают и приканчивают палками.

Мне принесли полумертвого лебедя. Это была прекрасная птица, каких я не видел больше в мире, – лебедь с черной шеей. Снежный корабль с прекрасной черной шеей, словно затянутой в черный шелковый чулок. А клюв оранжевый, и глаза алые.

Это случилось у моря, в Пуэрто-Сааведра, в Южном Имперiale.

Мне отдали его почти мертвого. Я промыл ему раны и впихнул прямо в глотку раскрошенный хлеб и рыбу. Он вытолкнул все обратно. Но я продолжал лечить его раны, и лебедь стал понимать, что я ему друг. А я понял, что он умирает от тоски. И тогда, подняв тяжелую птицу на руки, понес ее по улицам к реке. Лебедь поплавал немного – рядом со мною. Я хотел, чтобы он поохотился за рыбой, и показывал ему на дно, где меж камешков, над песком, скользили серебристые южные рыбки. Но птица грустными глазами глядела вдаль.

И так – каждый день, дней двадцать, а то и больше, я носил его к реке, а потом домой. Лебедь был почти с меня ростом. Однажды – в тот день он совсем нахохлился, и, как я ни старался, чтобы он поймал рыбку, лебедь не обращал на меня никакого внимания, был совсем вялый – я взял его на руки, чтобы отнести домой. И тут почувствовал, словно развернулась длинная лента и будто черная рука коснулась моего лица. Это падала длинная выгнутая шея. Так я узнал, что лебеди, умирая, не поют.

Лето в Каутине знойное. Оно выжигает небо и хлеба. Земля хочет наверстать упущенное во время долгого сна. Дома тут для лета не приспособлены, как не приспособлены они и для зимы. Выхожу из селения и шагаю, шагаю. Я заблудился на холме Ньелоль. Совсем один, мои карманы набиты жуками. В коробочке у меня только что пойманный мохнатый паук. Неба над головой не видно. В сельве всегда сыро, подошвы скользят; где-то вдруг прокричала птица – это вещунья-чукао. От ног подымается и охватывает меня жуткое предчувствие. Еле видны застывшие каплями крови цветы копиуэ. Я один, бедняга, под гигантскими папоротниками. У самого рта сухо прошелестел крыльями лесной голубь. А сверху надо мною хрипло хохочут птицы. С трудом нахожу дорогу. Уже поздно.

Отца еще нет. Он приедет в три или в четыре часа утра. Я поднимаюсь вверх, к себе в комнату. Читаю Сальгари. И вдруг хлынул дождь – как из ведра. В миг ночь и ливень оку-

тывают весь мир. Я один; в тетради по арифметике пишу стихи. На следующее утро встаю очень рано. Сливы еще зеленые. Я бегу на холм. С собой у меня пакетик с солью. Влезаю на дерево, устраиваюсь поудобнее, осторожно надкусываю сливу, вытаскиваю кусочек изо рта и посыпаю его солью. Потом ем. И так – сотню слив. Я уже по опыту знаю, что это слишком.

Наш дом сгорел, а этот, новый, для меня полон загадок. Я подхожу к изгороди и заглядываю к соседям. Там – никого. Раздвигаю доски, за ними – пусто. Только жалкие паучки. В глубине двора – уборная. Деревья около нее все в морщинах. На миндале – плоды в белых фетровых чехольчиках. Я умею ловить слепней, не делая им больно, – платком. Подержав немного, подношу пленника к уху. Замечательно жужжит!

Как одинок маленький поэт, ребенок в черном, на этой населенной страхами земле «фронтеры». Жизнь и книги шаг за шагом приоткрывали мне свои трудные тайны.

Никогда не забуду того, что прочитал однажды вечером: в далекой Малайзии хлебное дерево спасло жизнь Сандокану и его товарищам.

Мне не нравится Буффало Билл – он убивает индейцев. Но как он скачет на лошади! А как замечательно в прериях, как красивы островерхие вигвамы краснокожих!

Меня часто спрашивают, когда я написал первое стихотворение, как родилась моя поэзия.

Попробую вспомнить. Однажды в раннем детстве – я

только-только научился писать – я почувствовал вдруг сильное волнение и написал несколько строк, некоторые в рифму; слова выглядели странно, совсем не так, как в обычной речи. Я переписал их начисто и был во власти необычайного чувства, которого раньше не знал, – то ли тоски, то ли печали. Это были стихи, посвященные матери, – той, которую считал своей матерью, мачехе, ангелу-хранителю моего детства. Я не способен был судить о качестве своего первого произведения и понес стихи родителям. Они сидели в столовой и тихим голосом вели один из тех разговоров, которые непроходимее реки ложатся между миром детей и миром взрослых. Еще дрожа от первого прилива вдохновения, я протянул им бумажку. Отец рассеянно взял ее, так же рассеянно прочитал и не менее рассеянно вернул мне со словами:

– Откуда ты это переписал?

И они с матерью опять тихо заговорили о своих важных и недосягаемых делах.

Вот так» кажется, и родились мои первые стихи, и так я получил первый пример небрежной литературной критики.

А между тем я продвигался вперед, познавая мир, – одинокий мореплаватель в беспорядочном и бескрайнем море книг. Жадность к чтению не утихала ни днем ни ночью. На побережье, в маленьком Пуэрто-Сааведра, я обнаружил муниципальную библиотеку и старого поэта, дона Аугусто Уинтера, которого изумляла моя ненасытность к книгам. «Как,

уже прочитал?» – спрашивал он меня, давая новую книгу Варгаса Вилы,<sup>6</sup> или Ибсена, или Рокамболя.<sup>7</sup> Как страус, я глотал все без разбору.

В это время как раз и приехала в Темуко высокая сеньора, которая носила длинные платья и туфли на низком каблучке. Это была новая директриса женского лицея. Она приехала с юга, от снегов Магелланова пролива. Звали ее Габриэла Мистраль.<sup>8</sup>

Я видел, как она проходит по улицам городка в своих длиннополых одеждах, и побаивался ее. Но когда меня однажды привели к ней, я понял, что она добрая и милая. На ее смуглом лице, подобном прекрасному арауканскому сосуду, на которое наложила свою печать индейская кровь, сверкали зубы белейшей белизны, когда она широко и ласково улыбалась, и тогда в комнате становилось светлее.

Я был слишком молод, чтобы стать ее другом, и чересчур робок и замкнут. Я видел ее всего несколько раз. Но этого было вполне достаточно – я каждый раз уносил с собой подаренные ею книги. Это всегда были книги русских писателей, которых она считала самым замечательным явлением в мировой литературе. Я могу смело сказать, что Габриэла при-

---

<sup>6</sup> *Варгас Вила* Хосе Мария (1860–1933) – колумбийский романист.

<sup>7</sup> *Рокамболь* – герой серии приключенческих романов французского писателя П.-А. Понсона дю Террайля (1829–1871).

<sup>8</sup> Габриэла *Мистраль* (1889–1957) – чилийская поэтесса, первый в Латинской Америке лауреат Нобелевской премии по литературе (1945 г.).

общила меня к серьезному и обнажающему видению мира, которое свойственно русским писателям, и что Толстой, Достоевский, Чехов стали самым моим глубоким пристрастием. И продолжают им оставаться.

## Дом трех вдов

Однажды меня пригласили посмотреть молотьбу на лошадях. Место это находилось в горах, довольно далеко от нашего городка. Мне понравилась мысль поехать одному, по горным тропам, самому найти дорогу. А если и собою с пути, кто-нибудь да поможет. Я отправился верхом, удаляясь от Нижнего Империяля по песчаной отмели, нанесенной рекою. В этом месте Тихий океан бросается, потом отступает и с новой силой кидается на скалы и заросли отрога Мауле, на его последний, очень высокий утес. Потом надо было свернуть в сторону, к озеру Буди. Волны со страшной силой обрушивались на подножие утеса. Надо было выбрать момент, когда волна отступала, собираясь с силами, чтобы броситься снова. И тогда поспешно перебраться через эту полосу – между утесом и водой, так, чтобы новая волна не успела налететь и расплющить меня вместе с лошадыю о суровые скалы.

Опасность была позади, на западе виднелась неподвижная синяя пластина озера. Песчаное побережье тянулось без конца и края – далеко-далеко, до самого устья Тольтена. Чилийские побережья, чаще всего скалистые, обрывающиеся утесами, иногда вдруг ложатся бесконечной песчаной лентой, и можно день и ночь идти и идти по песку у пенистой кромки.

Кажется, нет конца этим песчаным пляжам. Они легли вдоль Чили, как кольцо планеты, точно завиток вокруг грота южного моря; думается: иди – и дойдешь этой тропой-берегом до самого Южного полюса.

Лес в стороне приветствовал меня темно-зелеными глянцевыми ветвями орешника, кое-где украшенными плодами; орехи в эту пору красные, словно выкрашены киноварью. Папоротники на юге Чили так высоки, что мы с моей лошадью проходили под ними, не касаясь листьев. А если головой мне случилось задеть ветку, она стряхивала на меня росу. Справа раскинулось озеро Буди – синяя застывшая гладь, вдали окаймленная лесами.

Только в конце пути я встретил людей. Это были необычные рыболовы. В том месте, где океан с озером соединяются – не то целуются, не то сталкиваются друг с другом, – в пространстве между двумя водами попадалась морская рыба, выброшенная яростными волнами. С особым рвением охотились за большими, серебристыми, широкими и гладкими рыбинами, которые, потерявшись, бились теперь о песчаную отмель. Рыбаки – один, два, четыре, пять – шли по следу заблудившихся рыб и вдруг со страшной силой метали в воду длинный трезубец. И поднимали ввысь мягкий серебряный овал, а серебро дрожало и сверкало на солнце, а потом умирало на дне корзины. Вечерело. Берега озера остались позади, и я пробирался, искал дорогу меж горных отрогов. Постепенно темнело. Где-то хриплым шепотом жаловалась



незнакомая мне лесная птица. В сумеречной выси орел или кондор тяжело парил, следя за мною, готовый вот-вот сложить черные крылья. Не то подвывали, не то лаяли проворные рыжехвостые лисы, и какие-то неведомые зверьки то и дело выныривали на тропинку и снова скрывались в тайне леса.

Я понял, что заблудился. Ночь и сельва, которые всегда были для меня радостью, сейчас оборачивались угрозой, внушали страх. И тут вдруг на темную пустынную дорогу навстречу мне выехал одинокий, единственный на всю округу, путник. Подъехав ближе, я разглядел крестьянина в бедном пончо верхом на тощем коне, бедного крестьянина, неизвестно откуда вдруг вынырнувшего из безмолвия.

Я рассказал ему, что со мной случилось.

Он сказал, что за ночь, пожалуй, до места не добраться. Крестьянин знал каждый уголок в этой местности и прекрасно представлял, куда я еду. Я сказал, что мне не хотелось бы ночевать под открытым небом, и спросил, не посоветует ли он, где укрыться до рассвета. Он неторопливо объяснил, что еще две мили надо проехать по узкой тропке в сторону от дороги. И что я издали замечу свет в окнах большого двухэтажного деревянного дома.

– Это гостиница? – спросил я.

– Нет, молодой человек. Но вас там хорошо примут. В доме живут три французские сеньоры, они хозяева лесопилки и поселились в этих краях лет тридцать назад. Они очень

добры ко всем. И пусть вас переночевать.

Я поблагодарил крестьянина за его ценный совет, и он потрусил дальше на своей – в чем душа держится – кляче. А я, несчастный, стал пробираться по узенькой тропке. Девственно ясный, округлый и белый серп луны, словно аккуратно обрезанный кусочек ногтя, начинал свой путь по небу.

Около девяти часов я завидел огни – сомнений не было – того самого дома. Я заторопил коня, стараясь добраться до чудесного приюта раньше, чем задвижки и засовы помешают мне войти внутрь. Миновал ограду и, объехав бревна и горы опилок, достиг белой двери, или парадного входа в дом, так странно затерявшийся в этой пустынной местности. Я постучал в дверь, сперва тихонько, потом сильнее. Минуты шли, и я уже со страхом подумал, что, может, в доме никого нет, как вдруг появилась худощавая сеньора с белыми волосами, в трауре. Приоткрыв дверь, она строго разглядывала запоздалого путника.

Кто вы, что вам угодно? – мягко прозвучал голос призрака.

– Я заблудился в сельве. Я лицеист. Эрнандесы пригласили меня на молотьбу. Очень устал. Мне сказали, что вы и ваши сестры очень добры. Нельзя ли тут переночевать где-нибудь, а с рассветом я поеду дальше – к Эрнандесам.

– Входите, – отвечала она. – Будьте как дома.

Она провела меня в темную залу и сама зажгла две или три лампы. Я заметил, что лампы были красивые, в стиле

art nouveau,<sup>9</sup> опаловые, в позолоченной бронзе. В зале пахло сыростью. Длинные красные шторы закрывали высокие окна. На креслах были белые чехлы – для защиты. От чего? Зала была из другого века, и чувствовалась в ней какая-то неопределенность и тревожность – как во сне. Грустная дама с белыми волосами, вся в трауре, двигалась по комнате, и я не видел ее ног, не слышал шагов; она притрагивалась к вещам: брала альбом, переключивала веер – и все в полной тишине.

Мне казалось, что я очутился на дне озера и, измученный и усталый, продолжаю жить во сне. Неожиданно вошли еще две сеньоры – точно такие же, как первая. Было уже поздно, и становилось холодно. Они сели вокруг; одна улыбалась, и в ее улыбке был отголосок былого кокетства, а другая смотрела на меня, и глаза у нее были такие же грустные, как у той, что открыла мне дверь.

Разговор зашел далекий, никак не связанный с этими глухими местами, с ночью, пробуравленной тысячами насекомых, лягушечьим кваканьем и криками ночных птиц. Они расспрашивали меня о моих занятиях. Я упомянул Бодлера,<sup>10</sup> сказав, что начал переводить его стихи.

Это было как электрическая искра. Все три погасшие дамы осветились. Их застывшие глаза, их окаменевшие лица преобразились, будто спали с трех лиц античные маски.

---

<sup>9</sup> Нового искусства (*франц.*).

<sup>10</sup> Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт.

– Бодлера! – воскликнули они. – В этих пустынных краях имя Бодлера звучит впервые со дня сотворения мира. У нас есть его «Fleurs du mal».<sup>11</sup> На пятьсот километров в округе одни мы и можем читать его чудесные строки. Тут, в горах, никто не знает по-французски.

Две сестры родились в Авиньоне. А самая молодая, тоже француженка по крови, родилась в Чили. Их деды, их родители, все их родные умерли уже давно. А они трое свыклись с дождями, с опилками во дворе и с тем, что все их окружение – те немногие простые крестьяне, которые жили тут же, да слуги-простолюдины. И решили остаться здесь, в этом доме, одном-единственном на всю округу, в этих суровых косматых горах.

Вошла служанка – из местных – и прошептала что-то на ухо старшей женщине. Мы все вышли из зала и но стылым коридорам прошли в столовую. Я остановился в изумлении. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный белоснежной скатертью, а на нем – серебряные подсвечники со множеством горящих свечей. Серебро и хрусталь сверкали под стать друг другу на этом удивительном столе.

Мной овладела такая робость, будто сама королева Виктория пригласила меня отужинать в своем дворце. Я был растрепан, измучен, весь в пыли, а стол этот, казалось, ожидал принца. Мне до принца этого было далеко. Скорее, я должен был показаться им потным погонщиком скота, который

---

<sup>11</sup> «Цветы зла» (франц.).

оставил свой табун за оградой.

Так хорошо я редко ел в жизни. Хозяйки мои оказались искусными кулинарками; к тому же от своих прадедов они унаследовали рецепты прекрасной Франции. Каждое блюдо было неожиданным, ароматным, изумительно вкусным. Из погреба принесли старые вина, которые хранились там по всем законам французского виноделия.

Несмотря на то, что глаза мои слипались от усталости, я все же слышал странные, необычные вещи, которые рассказали мне сестры. Их самой большой гордостью был ритуал еды: стол для них был культом и священным наследием культуры, в которую уже не суждено было вернуться им, отрезанным от родины временем и безбрежными морями. Они показали мне – слегка подшучивая над собой – странную картотеку.

– Мы – старые маньячки, – сказала мне младшая.

За тридцать лет в доме побывали двадцать семь путников; одних в этот стоящий в стороне от всего дом привели Дела, других – любопытство, третьих – случай. Невиданным же было то, что от каждого посещения у них хранилась карточка, на которой были указаны дата и меню, составленное ими для гостей.

– А меню мы храним затем, чтобы ни одного блюда не повторилось, если кто-нибудь из друзей придет сюда снова.

Я пошел спать и свалился на постель, как мешок с луком на рынке. Рано утром – еще не рассвело – я при све-

че умылся и оделся. Развиднялось, когда слуга оседлал мне коня. Я не решился разбудить прекрасных, храпящих траур сеньор. Что-то мне говорило, что случившееся накануне – всего лишь необычный, волшебный сон и что не надо просыпаться и разрушать чары.

Было то более пятидесяти лет назад, в ранней моей юности. Что стало с тремя оторванными от родной земли сеньорами, с их «Цветами зла» в сердце девственной сельвы? Что случилось со старым вином и столом, сияющим при свете двух десятков свечей? И какая участь постигла лесопильню и белый дом, затерявшийся меж деревьев?

Должно быть, их настигло самое простое: смерть и забвение. Быть может, сельва поглотила эти жизни и этот дом, которые в ту удивительную ночь распахнулись мне навстречу. Но в памяти у меня они остаются живыми – словно на прозрачном дне озера моих снов. Слава и честь трем грустным женщинам, которые посреди дикости и одиночества сражались без всякой корысти за то, чтобы поддержать древнее достоинство. Отстаивали то, чему научились руки их предков, иными словами, хранили капли изумительной культуры, оказавшись в далеком далеке, за последней чертою самых непроходимых, самых пустынных гор в мире.

## Любовь в стогу

Еще не было полудня, когда, бодрый и веселый, я добрался к Эрнандесам. Путь, который я проделал верхом по безлюдным дорогам, и сон, снявший усталость, – все это осветилось на моем обычно замкнутом юном лице.

Пшеницу, овес, ячмень обмолачивали тогда еще на лошадях. Нет на свете радостнее зрелища, чем лошади, ходящие по кругу на току под зычное понукание всадников. Сияло солнце, и в ясном воздухе, словно необработанный алмаз, сверкали горы. Молотьба – это празднество золота. Желтая солома сыпается в золоченые горы; все вокруг кипит, все движется; мешки споро наполняются; женщины стряпают; лошади резво бегут по кругу; собаки лают; и то и дело надо откуда-то вытаскивать детей – то из соломы, словно они овощи, то из-под копыт у лошадей.

Эрнандесы – необычное племя. Мужчины всегда лохматые и небритые, в одних рубашках и с револьвером на поясе, вечно в масле, или в соломенной трухе, или в грязи, или промокшие до костей под дождем. Отцы, сыновья, племянники, двоюродные братья – все одного поля ягода. Они могли часами лежать под машиной, налаживать двигатель, или сидеть на крыше, чиня ее, или работать на молотилке. Слов они зря не тратили. О чем бы ни заговорили – всегда с шуткой, а без нее – только когда ссорились. В гневе они были страшнее

шторма: того и гляди разнесут все, что подвернется под руку. Никто не мог с ними равняться ни в еде под открытым небом, ни за бутылью красного вина, ни в состязаниях в игре на гитаре. Это были исконные дети земель «фронтеры», и такие люди мне нравились. Я, бледный лицеист, чувствовал себя маленьким рядом с этими деятельными варварами; не знаю почему, но ко мне они относились бережно, чего нельзя было сказать об их отношении к другим.

После жаркого, после гитар и слепящей усталости от солнца и молотьбы пришла пора устраиваться на ночь. Мужья с женами и одинокие женщины улеглись на земле, внутри лагеря, огороженного свежими досками, а мы, молодые парни, отправились спать на гумно. Там на горах мягкой желтой соломы вполне могло бы разместиться целое селение.

С непривычки мне показалось неудобно. Я никак не мог улечься. Попробовал снять башмаки и аккуратно сунуть их под голову – вместо подушки. Потом разделся, завернулся в пончо и утонул в соломе. Я устроился в сторонке от остальных, а те, не успев лечь, сразу же захрапели.

Я долго лежал на спине с открытыми глазами, руки и лицо – все в соломе. Ночь стояла ясная, холодная, пронизывающая. Луны не было, но зато звезды, только что вымытые дождем, сверкали и искрились на небе, казалось, для меня одного, кто не спал среди глухо спящего мира. Потом я заснул. Проснулся от того, что кто-то полз ко мне, чье-то тело двигалось под соломой, все ближе и ближе. Мне стало страш-



но. Это неизвестное медленно надвигалось. Я утствовал, как шуршали и ломались соломинки под ним. Все мое тело напряглось, выжидая. Я замер. Совсем рядом, у самого лица, я услышал дыхание.

И тут ко мне протянулась рука – большая, натруженная рука, но рука женская. Рука пробежала по моему лбу, по глазам, нежно ощупала все лицо. Жадный рот приник к моему рту, и я почувствовал, как к моему телу – ко всему телу, до самых ног – прижалось женское тело.

Постепенно страх сменился сильнейшим наслаждением. Я тронул волосы, заплетенные в косы, гладкий лоб, глаза, прикрытые веками, нежными, точно лепестки маков. Рука продолжала искать и коснулась больших и крепких грудей, широких, округлых бедер, ног, которые переплетались с моими, и пальцы утонули в лесном мху. И за все время ни единого слова не произнес ее рот.

До чего же трудно любить в стогу соломы, в стогу, пропоротом еще семью или восемью спящими мужчинами, которых ни в коем случае нельзя разбудить. Но, по правде говоря, все возможно, хотя и требует невероятной осторожности. А потом, когда незнакомка заснула возле меня как убитая, на меня опять нахлынул страх. Скоро рассвет, думал я, люди начнут просыпаться и увидят на соломе, рядом со мною, обнаженную женщину. Но я все равно заснул. А когда, проснувшись, протянул в тревоге руку, то нащупал лишь теплую вмятину – только и всего, что от нее осталось. Тут

запела птица, а за ней и вся сельва наполнилась птичьими трелями. Рядом застрекотал мотор, и мужчины и женщины взялись каждый за свою работу, засновали у самого гумна. Начинался новый день молотьбы.

В полдень все вместе обедали за длинным дощатым столом. Я ел и украдкой поглядывал на женщин, стараясь угадать, какая из них могла ночью прийти ко мне. Но одни были слишком стары, другие – чересчур тощие, а молоденькие – худосочные, как сардинки. Я же искал плотную, с длинными косами и крепкими грудями. И вдруг вошла женщина, она несла жаркое своему мужу, одному из Эрнандесов. Да, это могла быть она. Я сидел на другом конце стола, но, по-своему, я заметил, как эта красивая женщина с длинными косами бросила в мою сторону быстрый взгляд и чуть улыбнулась. И мне показалось, что улыбка ее стала шире, стала глубже – что она раскрылась внутри меня.

# Затерявшийся в городе

## Тетрадь 2

### Пансионы

После долгих лицейских лет, где я каждый год, в декабре, спотыкался на экзамене по математике, я внешне был вполне готов для университета в Сантьяго-де-Чили. Я говорю «внешне» потому, что голова моя была забита книгами, мечтами, стихами, они там гудели как пчелы.

С сундучком, обитым жестью, одетый с ног до головы в черное, как и подобает поэту, худющий и острый, словно нож, я вошел в вагон третьего класса ночного поезда, который невыносимо долго – целый день и еще ночь – добирался до Сантьяго.

Этот поезд, который на своем бесконечном пути проходил разные климатические зоны и в котором я потом столько раз путешествовал, по-прежнему полон для меня странно-очарования. Крестьяне в мокрых пончо, корзины с курами, угрюмые мапуче – целая жизнь разворачивалась в вагоне третьего класса. Многие ехали без билета – под скамейками. При появлении контролера происходили удивительные, странные метаморфозы. Некоторые вообще как сквозь зем-

лю проваливались, а другие скрывались под пончо, на котором оставшиеся тут же затевали карточную игру, и контролеру не приходило в голову поинтересоваться, что это за стол и откуда он вдруг появился.

А между тем поезд шел мимо дубовых рощ и араукарий, мимо сырых деревянных домов – к тополям центральных областей Чили, к пыльным кирпичным строениям. Много раз я потом проделывал этот путь из столицы в глушь или обратно, и каждый раз, покидая древесную первооснову тамошней жизни, я чувствовал, что задыхаюсь. Кирпичные дома, города со своим прошлым представлялись мне затянутыми паутиной и молчанием. И сейчас я остаюсь поэтом непогод, поэтом холодной сельвы, которую когда-то покинул.

У меня была с собой рекомендация в пансион на улице Марури, 513. Никогда в жизни не забуду этого номера. Я всегда забываю числа и даже годы, но номер 513-й навечно отчеканился у меня в памяти, хотя это было столько лет назад – так я боялся не найти этого дома и заблудиться в величественном незнакомом городе. На этой улице каждый день, сидя на балконе, я наблюдал, как умирает день, смотрел на небо, все в зеленых и алых стягах, и на пустынные плоские кровли предместья, в страхе ожидавшие, что с неба пожар вот-вот перекинется на них.

В те годы жизнь в студенческом пансионе была голодной. Я писал гораздо больше, чем раньше, а ел – намного меньше. Некоторые поэты из тех, кого я знал в ту пору, были совер-

шенно истощены жестокой диетой бедности. Хорошо помню одного из них, своего ровесника, только он был еще выше и еще неотесаннее меня, его тонкая лирическая поэзия была насыщена откровениями; кто бы и где бы ни слушал его стихи – поэзия его благоухала и обволакивала. Звали поэта Ромео Мурга.

С этим Ромео Мургой однажды мы поехали читать свои стихи в город Сан-Бернардо, неподалеку от столицы. Пока мы не появились, там все шло, как и положено в большой праздник: белолицая и светловолосая королева – Праздника цветов со своим кортежем, речи именитых людей города и относительно музыкальные местные ансамбли; но как только вышел я и стал жалостно завывать стихами, все мигом переменилось: в публике начали кашлять, отпускать шуточки, словом, как могли, потешались над моей меланхолической поэзией. Заметив такое отношение со стороны этих варваров, я поскорее закруглился и уступил место своему товарищу – Ромео Мурге. Это было незабываемо. Когда на подмостки вышел этот двухметровый Дон Кихот в затрепанной темной одежде и принялся завывать еще жалостнее, чем я, публика, не в силах больше сдерживать негодования, заорала: «Поэты с голодухи! Убирайтесь! Не портите нам праздника!»

Из пансиона на улице Марури я вывалился, как моллюск из своей раковины. Я распростился со своим панцирем, чтобы узнать море, другими словами – мир. Неведомым морем

были для меня улицы Сантьяго, я мало что успевал видеть по дороге из старого университета в пустую комнату семейного пансиона.

Я знал, что в авантюре, на которую пускаюсь, мой давний спутник – голод – станет еще жестче. Женщины, содержавшие пансион, давними узами связанные с местами, откуда я был родом, время от времени из сострадания подбрасывали мне то картошки, то луку. Но что поделаешь: жизнь, любовь, слава, освобождение призывали меня. Во всяком случае, так мне казалось.

Первую свою отдельную комнату я снял на улице Аргуэльес, рядом с Педагогическим институтом. В одном из окон на этой серой улице висело объявление: «Сдаются комнаты». Хозяин дома занимал комнаты по фасаду. Это был седой мужчина благородного вида, глаза его показались мне необычными. Он был красноречив до болтливости и зарабатывал на жизнь парикмахерским делом, но занятие свое ни во что не ставил. То, что его на самом деле занимало, как он мне объяснил, касалось мира невидимого, потустороннего.

Я вытащил книги и немудреную одежонку из чемодана и обитого жестью сундучка, которые путешествовали со мною с самого Темуко, и растянулся на постели – читать, спать; меня распирало от гордости, что теперь я совершенно самостоятелен и мне никуда не надо спешить.

В доме не было патио – внутреннего двора, а только галерея, куда выходили бесчисленные, наглухо запертые ком-

наты. Утром следующего дня, пробираясь по закоулкам пустынного дома, я заметил на всех стенах и даже в уборной надписи приблизительно следующего содержания: «Смирись. Ты не можешь общаться с нами. Ты мертва». Тревожные уведомления попадались на каждом шагу – в комнатах, в столовой, в коридорах, в гостиной.

Стояла студеная, обычная для Сантьяго зима. Испания оставила нам в наследие от колониальных времен неудобные жилища – следствие пренебрежительного отношения к жестокости природы. (Пятьдесят зим спустя Илья Эренбург говорил мне, что никогда так не мерз, как в Чили, – это он-то, приехавший к нам с заснеженных улиц Москвы.) Зима разукрасила стекла. Деревья дрожали от холода. Лошади, запряженные в старинные экипажи, пускали из ноздрей облака пара. Хуже времени не придумаешь, чтобы жить в доме среди мрачных, потусторонних намеков.

Хозяин дома, *coiffeur pour dames*,<sup>12</sup> увлекавшийся оккультными науками, пронзая меня насквозь безумным взглядом, со всей серьезностью объяснил:

– Моя жена, Чарито, умерла четыре месяца назад. Сейчас для нее очень тяжелый период. В это время мертвые часто приходят туда, где они жили. Мы их не видим, но они не понимают, что мы их не видим. Надо им объяснить это, чтобы они не считали нас равнодушными и не страдали из-за этого. Вот потому-то я и сделал для Чарито все эти надписи – они

---

<sup>12</sup> Дамский парикмахер (франц.).

разъяснят ей, что она теперь покойница.

Должно быть, человек с пепельной головой считал меня слишком живым. Он стал следить, когда я прихожу и когда ухожу, кто приходит ко мне, и, если это были женщины, – регламентировал визиты, проверял мои книги и письма. Когда мне случалось не вовремя вернуться домой, я заставал зна-тока оккультных наук за изучением моего нехитрого скарба, небогатого моего имущества.

В разгар зимы мне пришлось плутать по враждебным улицам, искать другого пристанища, где бы моей независимости не угрожала опасность. И я нашел такое место в нескольких метрах от старой квартиры – в прачечной. Если судить по виду, хозяйка прачечной не имела ничего общего с потусторонним. В глубине замерзшего двора, за раковиной с застоявшейся водой и толстыми зелеными коврами водяного мха, начинался запущенный сад. Туда и выходила комната с высоким чистым потолком и окнами над притолоками высоких дверей, отчего расстояние между полом и потолком казалось еще больше. В этом доме и в этой комнате я и остался.

В нашей жизни, жизни студенческих поэтов, были свои причуды. Я работал так, как привык в родном доме, – писал в день по несколько стихотворений и без конца пил кофе, который сам себе готовил. Но и та суматошная жизнь, которую вели тогда писатели и в которую я попадал, стоило мне выйти за двери дома, имела свое очарование. Они, например, никогда не ходили в кафе, а только в пивные и в таверны. И



там до рассвета спорили и наперебой читали стихи. Тут уж было не до занятий.

На железной дороге отцу на случай непогоды выдали плащ из черного грубого сукна, который он никогда не носил. Я определил этому плащу другое назначение – поэзию. Вслед за мной три или четыре поэта тоже обзавелись плащами, вроде меня, давая на время их поносить другим. Эта деталь нашего туалета приводила в бешенство добропорядочных людей и некоторых не слишком добропорядочных. Была эпоха танго, которое пришло в Чили и принесло с собой не только свои ритмы и характерный для него аккордеон, но и целую свиту задир и головорезов, и они заполнили ночную жизнь города, и как раз те самые места, где собирались мы. Этот сброд – танцоры и драчуны – никак не мог смириться с нашими плащами и вообще с тем, что мы есть на свете. Мы, поэты, стойко сражались.

В те дни я неожиданно свел дружбу с одной вдовою, которой мне не забыть; у нее были огромные синие глаза, и в них ни на миг не угасала нежная память о ее недавно погибшем супруге. Тот был молодым романистом, который славился прекрасным сложением. Они были впечатляющей парой: она – синеглазая, с безупречной фигурой и волосами цвета пшеницы; он – роскошный атлет. Романиста прикончил туберкулез, или, как его тогда называли, скоротечная чахотка. Позднее я подумал, что белокурая подруга, эта неутомимая жрица Венеры, тоже вложила свою немалую лепту;

что эпоха, не знаящая пенициллина, и это ненасытное золотоволосое существо общими усилиями в несколько месяцев сжили со свету монументального мужа.

Прекрасная вдова не сразу сбросила предо мной свое мрачное облачение – черные и лиловые шелка, в которых она походила на диковинный белоснежный плод в траурной коже. Но в один чудесный вечер она сбросила эту кожуру в моей комнате, в глубине прачечной, и теперь у меня в руках и перед глазами был весь, целиком, плод из обжигающего снега. Однако мой естественный порыв чуть было не захлебнулся, когда под моим взглядом она закрыла глаза и воскликнула: «О Роберто, Роберто!», не то вздыхая, не то всхлипывая при этом. (Это было как молитва. Весталка взывала к утраченному богу перед свершением нового обряда.)

Однако же, несмотря на то что я был юн и свободен, вдова оказалась мне не по силам. Ее призывы становились все более настоятельными, и ее щедрое, не знающее удержу сердце медленно, но верно толкало меня преждевременно к могиле. Любовь такими порциями никак не вяжется с недоеданием. А недоедал я с каждым днем все катастрофичнее.

# Робость

По правде говоря, первые годы жизни, а может, вторые и даже третьи, я был вроде глухонемого.

С самых ранних лет я одевался во все черное – как настоящие поэты прошлого века, и у меня было смутное ощущение, что я не так уж плох собою. Но я и приблизиться не решался к девушкам, заранее зная, что стану заикаться и краснеть, а проходя мимо, не поворачивал в их сторону головы и делал вид, будто не испытываю никакого интереса, что на самом деле было далеко не так. Каждая из них была для меня загадкой из загадок. Мне бы хотелось сгореть в пламени этого таинственного костра, захлебнуться и утонуть в этом колодце неведомой глубины, но я не отваживался броситься ни в огонь, ни в воду. А поскольку не находилось никого, кто бы меня подтолкнул, то я так и бродил у берегов этого чародейства, не смея даже взглянуть на женщину, а тем более улыбнуться ей.

То же самое у меня происходило и со взрослыми – теми редкими служащими железной дороги или почты, которые бывали у нас со своими «сеньорами супругами», как они говорили, потому что мелкую буржуазию ужасно шокирует слово «жена». Я слушал разговоры, которые велись у нас за столом. А на следующий день, сталкиваясь на улице с теми, кто накануне ужинал в нашем доме, не осмеливался поздо-

роваться и, бывало, переходил на другую сторону, лишь бы избавиться себя от неловких минут.

Робость – странное состояние души, такое ее свойство и качество, которое толкает к одиночеству. И еще это – неделимое страдание, словно у тебя две сросшиеся кожи и вторую – внутреннюю – жизнь все время царапает и раздражает. Из всех свойств человеческой личности это свойство, или это зло, – неперемнная составная часть сплава, который со временем под действием многих обстоятельств становится основой того вечного, что присуще человеческому существу.

Я, росший среди дождей, гораздо дольше, чем нужно, оставался неловким и замкнутым. Попав в столицу, я мало-помалу начал заводить друзей и подруг. Чем меньше меня замечали, тем легче мне было подружиться с человеком. В те времена я не был особенно любопытен по отношению к роду человеческому. Нельзя же узнать всех на свете, говорил я себе. И все же робкая любознательность пробивалась в новоявленном шестнадцатилетнем поэте – сдержанном нелюдимом юноше, который входил, не здороваясь, и уходил, не прощаясь. К тому же на мне всегда был длинный испанский плащ, в котором я смахивал на пугало. Никому и в голову не приходило, что своим броским нарядом я был обязан исключительно бедности.

Среди тех, кто искал дружбы со мной, были два величайших сноба того времени: Пило Яньес и его жена Мина. Они были само воплощение той прекрасной праздности, в кото-

рой и я хотел бы жить, но она была для меня еще более далекой, нежели мечта. Первый раз в жизни я попал в дом, где было центральное отопление и мягкий свет, удобные кресла и все стены – в книгах, разноцветные корешки которых олицетворяли собою недоступную весну. Яньесы часто приглашали меня к себе, были любезны и тактичны и не обращали внимания на мою замкнутость или молчаливость, которыми я прикрывался, словно плащом. Я хорошо чувствовал себя у них в доме, они это замечали и приглашали меня снова и снова.

В этом доме я впервые увидел картины кубистов и среди них картину Хуана Гриса.<sup>13</sup> Яньесы рассказывали, что, когда они жили в Париже, Хуан Грис был другом их семьи. Но более всего внимание мое привлекала пижама моего друга. Пользуясь любым случаем, я разглядывал ее украдкой и восхищался ею от всей души. Дело было зимой, и пижама была из толстой ткани, вроде той, что обивают бильярдные столы, только ярко-синего цвета. Я и не представлял тогда, что пижама может быть какого-нибудь иного цвета, а не только полосатой, как арестантская форма. Этот Пило Яньес перешел все границы. Плотная ярко-синяя пижама заставляла исходить завистью бедного поэта из столичного предместья. Но, по правде сказать, и в последующие пятьдесят лет своей жизни я не встречал больше такой пижамы.

---

<sup>13</sup> Хуан Грис (1887–1927) – испанский художник, один из представителей кубизма.

Потом Яньесы надолго пропали из поля моего зрения. Мина бросила мужа, оставила мягко светящиеся лампы и превосходные кресла ради акробата из русского цирка, который попал в Сантьяго. А потом она продавала билеты, и куда только ее ни забрасывало – от Австралии до Британских островов, лишь бы быть рядом с акробатом, полонившим ее раз и навсегда. А кончила она печально и была похоронена на каком-то мистическом кладбище на юге Франции.

Что же касается Пило Яньеса, мужа, то он сменил имя на Хуана Эмара и со временем стал писателем, творчество его было ярким, но никому не известным. Мы всю жизнь оставались друзьями. Он был молчаливым обаятельным человеком, но бедным, и умер в бедности. Его многочисленные книги до сих пор не изданы, но когда-нибудь они раскроются людям.

Я закончу о Пило Яньесе, или Хуане Эмаре, и вернусь к теме, с которой начал, – к робости, припомнив случай из студенческих лет, когда мой друг Пило задумал представить меня своему отцу. «Я уверен, он устроит тебе поездку в Европу», – сказал мне Пило. В то время взгляды всех латиноамериканских поэтов и художников были устремлены к Парижу. Отец Пило был очень важной персоной, он был сенатором. И жил в одном из тех огромных и безобразных домов, неподалеку от площади Оружия и президентского дворца, где, без всяких сомнений, ему как раз и хотелось жить.

Мои друзья остались в приемной, не забыв снять с меня

плащ, чтобы я выглядел несколько более прилично. Потом открыли мне дверь senatorского кабинета и тотчас же закрыли ее за мною. Я оказался в огромном зале; должно быть, в иные времена этот зал служил для приемов, но теперь он был пуст. И только где-то там, в глубине, в самом конце его, под торшером я различил кресло, а в нем – сенатора. Газета, которую тот читал, целиком закрывала его, как ширма.

Не успел я ступить на натертый и коварно навощенный паркет, как поехал, словно на лыжах. Скорость возрастала головокружительно, я попробовал остановиться, затормозить, но не удержал равновесия и полетел на пол, попытался подняться и грохнулся снова. Последний раз я приземлился у самых ног сенатора, который холодно наблюдал за мной, не выпуская из рук газеты.

Наконец мне удалось сесть на стул подле сенатора. Великий человек разглядывал меня усталым взглядом энтомолога, которому принесли досконально известный ему экземпляр безобидного паучка. Без особого интереса он спросил меня о планах. А я после стольких приземлений стал еще более робким и еще менее красноречивым, чем обычно.

Не знаю, что я ему сказал. Минут через двадцать он протянул мне крошечную ручку в знак прощания. По-моему, я слышал, как он сладеньким голосом пообещал мне дать о себе знать. И снова взялся за газету, а я пустился в обратный путь по опасному паркету, принимая меры предосторожности, которыми мне лучше было бы воспользоваться, когда я

вошел. Само собой, сенатор, отец моего друга, так ни о чем и не дал мне знать. А кроме того, немного спустя в результате военного переворота – разумеется, дурацкого и реакционного – он вместе с нескончаемой газетой вылетел из своего кресла. Признаюсь, это порадовало меня.



## Федерация студентов

Еще в Темуко я был корреспондентом журнала «Кларидад», органа Студенческой федерации, и продавал от двадцати до тридцати экземпляров журнала своим товарищам по лицу. События, которые в 1920 году произошли в Темуко, оставили на нашем поколении кровавые метки. «Золотая молодежь» и «дети олигархии» напали на помещение Студенческой федерации и разгромили его. А закон, с колониальных времен и по наши дни состоявший на службе у богатых, бросил за решетку не нападавших, а тех, кто подвергся нападению. Молодой Доминго Гомес Рохас, надежда чилийской поэзии, не выдержал пыток в застенках, сошел с ума и умер. В нашей маленькой стране это преступление произвело такое же глубокое и страшное впечатление, как позднее убийство Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде.

Когда в 1921 году я приехал в Сантьяго поступать в университет, население столицы едва насчитывало пятьсот тысяч жителей. На улицах пахло газом и кофе. В тысячах домов обитали незнакомые люди и клопы. По улицам, лязгая железом и надрывно звеня, двигались маленькие разбитые трамваи – тогдашний городской транспорт. Путь от проспекта Независимости до университета на другом конце города, неподалеку от Центрального вокзала, был бесконечным.

В помещение Студенческой федерации заходили знаме-

нитые деятели студенческого движения, которые идеологически самым тесным образом были связаны с мощным анархистским течением того времени. Альфредо Демария, Даниэль Швейцер, Сантьяго Лабарка, Хуан Гандульфо, все они – бывалые вожаки. Хуан Гандульфо, несомненно, был самым примечательным из них, он наводил страх своими дерзкими политическими идеями и не раз на деле доказывал личную храбрость. Со мной он обращался как с ребенком, каким я на самом деле и был. Однажды я опоздал, когда пришел показаться ему как врачу. Он хмуро взглянул на меня и спросил: «Почему ты не пришел вовремя? Меня ждут больные». – «Я не знал, сколько времени», – ответил я. – «Возьми и в следующий раз знай», – сказал он, вынул свои карманные часы и отдал их мне – подарил.

Хуан Гандульфо был низенького роста, круглолицый и не по возрасту лысый. И тем не менее в любой ситуации он выглядел величественным. Как-то раз офицер, из тех, что участвовали в перевороте, головорез и дуэлянт, бросил Гандульфо вызов. Тот принял его, за пятнадцать дней научился владеть шпагой и выиграл поединок, до смерти напугав своего противника. В эти же самые дни он изготовил гравюры на дереве для обложки и иллюстраций к книге «Собрание закатов», к моей первой книге; это были очень интересные гравюры, сделанные человеком, которого никто не считал причастным к художественному творчеству.

Среди революционно настроенных литераторов самым за-

мечательным был Роберто Меса Фуэнтес, редактор журнала «Хувептуд». Этот журнал тоже принадлежал Студенческой федерации, но был более солидным и в большей степени литературным журналом, чем «Кларидад». Среди сотрудников журнала выделялись Гонсалес Вера<sup>14</sup> и Мануэль Рохас<sup>15</sup> – мне они тогда казались стариками. Мануэль Рохас незадолго до того приехал из Аргентины, где прожил много лет; нас поражала его внушительная осанка и манера говорить – в речи его слышались не то надменность, не то чувство достоинства. Он был тогда линотипистом. Гонсалеса Веру я знал еще по Темуко, где он скрывался после налета полиции на помещение Студенческой федерации. Он пришел ко мне прямо с вокзала, который находился в нескольких шагах от нашего дома. Его появление не могло не поразить шестнадцатилетнего поэта. Никогда в жизни мне не приходилось видеть такого бледного человека. Его тонкое лицо было словно вырезано из кости или из мрамора. Весь в черном, рукава и манжеты брюк несколько обтрепаны, но от этого он не выглядел менее элегантным. С первых же слов речь его показалась мне ироничной и острой. Его приход в ту дождливую ночь к нам домой – подумать только, совсем недавно я не знал о его существовании – произвел впечатление, подобное тому, какое произвело появление революционера-нигилиста в доме Сашки Жегулева, персонажа Леонида Андреева, которому

---

<sup>14</sup> *Гонсалес Вера* Хосе Сантос (1897–1970) – чилийский прозаик.

<sup>15</sup> *Мануэль Рохас* (1896–1973) – чилийский писатель.

тогда подражала мятежная латиноамериканская молодежь.

# Альберто Рохас Хименес

В журнале «Кларидад», в политической и литературной деятельности которого я стал принимать участие, почти всем руководил Альберто Рохас Хименес; ему суждено было стать одним из самых моих любимых товарищей. Он носил кордовскую шляпу и длинные бакенбарды, как у вельможи. Красивый, элегантный, невзирая на нищету, он порхал, словно золоченая птица, и казался денди до мозга костей; работал легко и как бы небрежно, мгновенно понимал, что к чему, в любом конфликте, и никогда не терял веселой мудрости и вкуса к простым житейским вещам. Книги и девушки, вина и корабли, маршруты и архипелаги – \CO всем этим он был отлично знаком, и все это было у него под рукою в любой момент жизни. В литературном мире он чувствовал себя легко и свободно, был и угрюмо-неприветлив и щедр – профессиональный расточитель собственного таланта и обаяния. Он был нищ, но галстуки носил самые элегантные. Никогда не жил на одном месте, то и дело переезжал с квартиры на квартиру, из города в город, и по нескольку недель радовал своей бесшабашной веселостью, своей неумемной искренней богемностью изумленных жителей то Ранкагуа, то Курико, то Вальдивии, то Консепсьона, то Вальпараисо. Он уходил, как и приходил, оставляя там, где побывал, рисунки, галстуки, любимых и друзей. А так как он был во всем подобен ска-

зочному принцу и невероятно щедр, то вечно дарил подарки; он мог подарить все, что имел: шляпу, рубашку, пиджак и даже башмаки. Когда у него уже не оставалось ничего из вещей, он, расставаясь, писал на листе бумаги какую-нибудь фразу, или стихотворную строку, или просто остроу и королевским жестом дарил на прощанье, будто не имеющую цены драгоценность.

Стихи он писал по последней моде, следуя канонам Аполлинера<sup>16</sup> и испанских ультраистов.<sup>17</sup> Он основал новую поэтическую школу под названием «Агу», так как, по его словам, именно таким был первый изданный человеком крик, первые стихи новорожденного младенца.

Рохас Хименес был для нас законодателем мод и в одежде, и в манере курить, и в почерке. Дружески и деликатно подшучивая надо мной, он помог мне избавиться от мрачного тона. Хименес не заразил меня ни своим скептическим видом, ни бесшабашным пристрастием к спиртному, но я и по сей день не могу без волнения вспоминать его: он словно освещал все вокруг, словно открывал никем не видимую до толе красоту вещей, будто оживлял и выпускал на волю до тех пор дремавшую где-то бабочку.

От дона Мигеля де Унамуно<sup>18</sup> он научился делать птиц из

---

<sup>16</sup> *Аполлинер* Гийом (1880–1918) – французский поэт.

<sup>17</sup> Ультраисты – представители ультраизма, одного из «левых» течений в испанской и испано-американской поэзии, возникшего после первой мировой войны.

<sup>18</sup> Мигель де Унамуно (1864–1936) – испанский писатель, философ, поэт.

бумаги. Делал птиц с длинными шеями и распростертыми крыльями, а потом дул на них. И это называлось «вдохнуть в них жизнь». Он открывал поэтов Франции и темные бутылки, захороненные в погребах, писал любовные письма героиням Франсиса Жамма.<sup>19</sup>

Свои прекрасные стихи Рохас Хименес, скомкав, вечно засовывал в карманы, и они до сих пор так и не увидели света.

Его щедрая, талантливая натура привлекала всеобщее внимание, и однажды в кафе к нему подошел незнакомый человек и сказал: «Сеньор, я слышал, как вы тут разговаривали, и проникся к вам огромной симпатией. Могу я попросить вас об одной вещи?» «О чем именно?» – не приветливо отозвался Рохас Хименес. – «Позвольте мне перепрыгнуть через вас», – сказал незнакомец. «Каким образом? – спросил поэт. – Вы что, так здорово прыгаете, что можете перескочить через меня, сидящего за столом?» – «Нет, сеньор, – очень скромно возразил незнакомец. – Я хочу перепрыгнуть через вас потом, когда вы будете спокойно лежать в гробу. Таким образом я воздаю честь интересным людям, с которыми сводит меня жизнь: перепрыгиваю, если они позволяют, через них мертвых. Я человек одинокий, и это – мое единственное любимое занятие» И, вынимая записную книжку, добавил: «Вот тут список тех, через кого я перепрыгнул». Рохас Хименес, обезумев от радости, принял это странное

---

<sup>19</sup> Франсис Жамм (1868–1938) – французский поэт.

предложение. Несколько лет спустя, дождливой зимою – такой дождливой зимы в Чили не помнили – Рохас Хименес умер. Как с ним часто бывало, он оставил пиджак в каком-то баре, в центре Сантьяго, и в разгар зимы шел через весь город в одной рубашке до Кинто-Нормаль, где находился дом его сестры Роситы. А через два дня воспаление легких унесло из мира одного из самых замечательных людей, каких я только знал. И улетел поэт вместе со своими бумажными птицами – в небо, в дождь.

В ту ночь, когда друзья сидели у его гроба, дом посетил странный незнакомец. Дождь лил как из ведра, молнии освещали огромные платаны на Кинто-Нормаль, ветер трепал их, и тут отворилась дверь и вошел мужчина в трауре с ног до головы, весь до нитки промокший под дождем. Никто его не знал. На глазах друзей незнакомец разбежался и перепрыгнул через гроб. И, не проронив ни слова, ушел так же внезапно, как и появился, – пропал за дождем, в ночи. Так удивительная жизнь Рохаса Хименеса была освящена таинственным ритуалом, смысла которого никто не сумел объяснить.

Я только приехал в Испанию, когда пришло известие о его смерти. Редко в жизни выпадала мне такая боль. Это было в Барселоне. Я тут же написал элегию «Альберто Рохас Хименес пролетает», которая потом была напечатана в «Ревиста де оксиденте».

Но кроме того, я чувствовал: нужно совершить какой-то ритуал, чтобы проститься с ним. Он умер так далеко, в Чили,



где в эти дни ливни затопляли кладбища. Я не мог быть подле его тела, не мог проводить его в последний путь, и именно потому чувствовал: нужно выполнить какой-то обряд. Я пошел к своему другу художнику Исайе Кабесону, и мы вместе отправились в чудесную базилику Санта-Мария дель Мар. Мы купили две огромные свечи – почти в рост человека – и вошли со свечами в полутьму этого необычайного храма. Потому что Санта-Мария дель Мар – церковь мореплавателей. Рыбаки и моряки много веков назад сложили ее камень за камнем. А потом украсили дарами: плывущие в вечность кораблики всех размеров и форм сплошь покрывают стены и своды прекрасной базилики. Я подумал, что этот храм под стать ушедшему поэту и что, если бы он его знал, это было бы его любимое место. Мы зажгли огромные свечи посреди церкви и, усевшись с другом-художником в пустой базилике за двумя бутылками зеленого вина, думали о том, что этот безмолвный обряд – при всем нашем агностицизме – таинственным образом приближает нас к умершему другу. Горящие в вышине пустого храма свечи словно жили, сверкая в сумраке, меж даров и жертвований, как глаза того безумного поэта, чье сердце погасло навеки.

## Безумцы среди зимы

Кстати, раз зашла речь о Рохасе Хименесе, я хочу сказать, что безумие, определенного рода безумие, часто идет рука об руку с поэзией. Точно так же, как людям здраво-мыслящим чрезвычайно трудно стать поэтами, так же и поэтам быть благоразумными стоит необычайного труда. Однако верх одерживает все-таки разум, и именно разум, основанный на справедливости, должен владычествовать в мире. Мигель де Унамуно, который очень любил Чили, как-то сказал: «Что мне не нравится, так это ваш девиз. Что значит „разумом или силой“? Разумом, и только разумом».

Среди поэтов-безумцев, которых я знал в те времена, был и Альберто Вальдивия. Поэт Альберто Вальдивия был самым тощим в мире человеком; желтое, будто из кости, лицо обрамляла буйная пепельная шевелюра; очки прикрывали близорукий, отрешенный взгляд. Мы звали его Скелет Вальдивия.

Он молча входил в бары и закусочные, в кафе и концертные залы, всегда бесшумно, вечно с загадочным свертком газет под мышкой. «Дорогой Скелет», – говорили ему мы, его друзья, и, когда обнимали это бесплотное тело, нам казалось, что мы сжимаем в объятиях струйку воздуха.

Он писал прекрасные стихи, пленительные, проникнутые подлинным чувством. Вот например:

Все пройдет – этот вечер, солнце и жизнь:  
восторжествует зло, случится непоправимое.  
И только ты останешься со мною навеки, неразлучно,  
сестра закатных дней моей жизни.

Он был настоящим поэтом, этот Скелет Вальдивия, и мы называли его так любя. Бывало, мы говорили: «Скелет, поужинай с нами». Прозвище ничуть его не обижало. Иногда на его тонких губах появлялась улыбка. Он был скуп на слова, но те, что произносил, имели глубокий смысл. Тогда и сложился этот обычай – каждый год относить его на кладбище. В ночь на 1 ноября закатывался роскошный ужин – насколько позволяли тощие карманы нашей студенческой литературной юности. Наш Скелет за столом занимал почетное место. Ровно в двенадцать мы поднимали стол вместе со Скелетом и веселой процессией шествовали к кладбищу. Там в ночной тишине произносилась речь в честь «усопшего» поэта. А потом, один за другим, мы торжественно прощались с ним и уходили, оставляя его совершенно одного у ворот кладбища. Скелет Вальдивия свыкся с этой традицией, и в ней не было никакой жестокости, тем более что до самого последнего момента он наравне со всеми участвовал в фарсе. Прежде чем уйти, мы давали ему несколько песо, чтобы он мог там, в склепе, съесть хотя бы бутерброд.

А через два-три дня никто не удивлялся, увидев, как поэтический Скелет снова тихо входит в кафе, появляется в

нашей компании. И его оставляли в покое до следующего 1 ноября.

В Буэнос-Айресе я познакомился с одним экстравагантным аргентинским писателем, которого звали или зовут Омар Виньоле. Не знаю, жив ли он еще. Это был человек огромного роста, и всегда он ходил с огромной палкой. Однажды в ресторане в центре города, куда он пригласил меня, уже у самого столика, предлагая мне сесть, он пророкотал на весь зал, полный завсегдатаев: «Садись, Омар Виньоле». Испытывая некоторую неловкость, я сел и спросил его: «Почему ты называешь меня Омаром Виньоле, прекрасно зная, что Омар Виньоле – это ты, а я – Пабло Неруда?» «Все так, – ответил он, – но в этом зале полно людей, которые знают меня лишь по имени, и некоторым из них хотелось бы намылить мне шею, а я предпочитаю, чтобы они намылили ее тебе».

Этот Виньоле когда-то был агрономом в аргентинской деревне и оттуда привез корову, к которой был нежно привязан. Он разгуливал по Буэнос-Айресу, водя ее за собой на веревке. Тогда у него вышло несколько книг, и в названии каждой из них содержался намек: «Что думает корова», «Моя корова и я» и тому подобное. Когда в Буэнос-Айресе впервые собрался международный конгресс Пен-клуба, писатели во главе с Викторией Окампо содрогнулись при мысли, что Виньоле явится на конгресс вместе с коровой. Они даже объяснили властям, какая грозит опасность, и полиция пе-

рекрыла улицы, прилегающие к отелю «Пласа», чтобы мой эксцентричный друг не пробрался со своим жвачным в роскошное здание, где проходил конгресс. Все напрасно. Когда заседание было в самом разгаре и писатели исследовали отношения между античным миром и современным пониманием истории, в зал заседаний ворвался великий Виньоле со своей неразлучной коровой, которая в довершение стала мычать, словно желая принять участие в прениях. Он привез ее в центр города, обманув бдительных полицейских, в огромном закрытом фургоне.

Тот же самый Виньоле однажды вызвал на поединок борца-кэтчиста. Профессиональный борец принял вызов и явился в указанный вечер в полный публики Луна-парк. Мой друг пришел точно в назначенный час, и опять с коровой, привязал ее в углу четырехугольной площадки и, сбросив элегантнейший халат, вышел навстречу «Душителю из Калькутты».

Корова тут была совершенно без пользы, равно как и изысканное убранство поэта-борца. «Душителю из Калькутты» набросился на Виньоле, в мгновение ока превратил его в беззащитный ком и, дабы унижить окончательно, поставил ногу на горло боевому литературному быку – под страшное улюлюканье публики, которая требовала продолжения схватки.

Несколько месяцев спустя Виньоле опубликовал новую книгу: «Беседы с коровой». Никогда не забуду необычайно-

го посвящения на первой странице этого сочинения. Если мне не изменяет память, оно звучало так: «Эту философскую книгу я посвящаю сорока тысячам сукиных Детей, которые меня освистали и требовали моей смерти вечером 24 февраля в Луна-парке».

В Париже перед последней войной я познакомился с художником Альваро Геварой, который в Европе называл себя просто Чили Гевара. Однажды он позвонил мне в тревоге по телефону: «Дело чрезвычайной важности», – сказал он.

Я только что приехал из Испании, где мы тогда вели борьбу против Гитлера. Мой дом в Мадриде бомбили, и я своими глазами видел мужчин, женщин и детей, разорванных бомбами в клочья. Надвигалась мировая война. Мы, писатели, сражались с фашизмом на свой лад: в своих книгах старались показать, как страшна эта опасность.

Мой соотечественник держался в стороне от всякой борьбы. Это был молчаливый и замкнутый человек, работяга, всегда с головой погруженный в свои труды. Но в воздухе пахло порохом. Когда западные державы не пропустили оружие для испанских республиканцев и когда затем Мюнхен распахнул двери перед гитлеровской агрессией, война оказалась на пороге.

Итак, Альваро звал меня, и я пришел на его зов. Ведь он хотел сообщить мне нечто крайне важное.

– В чем дело? – спросил я.

– Нельзя терять времени, – ответил он. – Незачем быть

антифашистом. Не надо вообще быть никаким «анти». Во всем нужно добираться до зерна, и я нашел это зерно. Я хочу поскорее рассказать тебе суть, чтобы ты бросил свои антинацистские конгрессы и занялся наконец делом. Время не ждет.

– Расскажи, в чем суть. Право же, Альваро, у меня нет минуты.

– По правде говоря, Пабло, я выразил свои мысли в пьесе на три акта. Я принес ее тебе прочитать. – И он стал вынимать из портфеля объемистую рукопись, не сводя с меня пристального взгляда из-под насупленных, как у старого боксера, бровей.

Я, перепуганный, стал говорить, что занят по горло, и убедил его коротко изложить мне идеи, с помощью которых он собирался спасти человечество.

– Все просто, как колумбово яйцо,<sup>20</sup> – сказал он. – Слушай: сколько картофелин вырастает из одной?

– Ну, четыре или пять, – сказал я, лишь бы ответить.

– Гораздо больше, – возразил он. – Иногда сорок, а бывает, больше сотни. А теперь представь, что каждый посадит по картофелине у себя в саду, или на балконе, ну, где угодно. Сколько человек живет в Чили? Восемь миллионов. Будет посажено восемь миллионов картофелин. Умножь это на со-

---

<sup>20</sup> Имеется в виду гениально простое решение на первый взгляд неразрешимой задачи (из легенды о Христофоре Колумбе, который, в ответ на предложение поставить куриное яйцо, сделал это, разбив скорлупу снизу).

рок, Пабло, на сто. И с голодом покончено, покончено с войной. Какое население в Китае? Пятьсот миллионов, так ведь? Каждый китаец сажает одну картофелину. Из каждой картофелины вырастает сорок новых. Пятьсот миллионов умножаем на сорок. Человечество спасено.

Когда нацисты вошли в Париж, они не приняли во внимание его спасительной идеи, его колумбова яйца или, вернее, колумбовой картофелины. Однажды холодной мгlistой ночью они арестовали Альваро Гевару на его парижской квартире. Отправили в концлагерь и там держали до конца войны, вытатуировав на руке номер. Из этого ада он вышел – кожа да кости и больше уже не оправился. Он поехал в Чили – в последний раз, чтобы проститься с родной землей, поцеловать ее перед смертью, а потом вернулся во Францию и умер.

Большой художник, дорогой друг Чили Гевара, я хочу сказать тебе: я знаю, ты умер, и тебе не помогла твоя картофельная аполитичность. Я знаю, нацисты убили тебя. В июне прошлого года я был в Лондонской национальной галерее. Я пошел туда посмотреть Тернера,<sup>21</sup> но по дороге в этот большой зал увидел поразившее меня полотно – ослепительное полотно, которое для меня не менее прекрасно, чем картины Тернера. Это портрет дамы, знаменитой дамы по имени Эдит Ситуэлл. И это была твоя работа – единственное полотно латиноамериканского художника, которое удостоилось чести

---

<sup>21</sup> Тернер Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) – английский живописец.



находиться среди шедевров великого лондонского музея.

Меня не беспокоит, где именно висела эта картина, не очень волнует честь, которая ей выпала, и, по сути дела, почти безразлично само прекрасное полотно. Не безразлично мне лишь то, что мы не познакомились лучше и не узнали друг друга глубже, и хотя наши жизни пересеклись, так и не поняли друг друга из-за этой злосчастной картофелины.

Я был слишком прост, в этом моя гордость и мое бесчестье. Я сопровождал блистательную группу моих товарищей и исходил завистью к их сверкающему оперенью, их сатанинскому поведению, их бумажным птицам и даже этим коровам, которые, очевидно, имели некое таинственное отношение к литературе. Как бы то ни было, но мне кажется, что я не рожден осуждать, я рожден любить. И даже те, кто нападает на меня, желая раздора, даже те, что раньше питались моей поэзией, а теперь сбиваются в стаи, норовя вырвать мне глаза, даже они заслуживают лишь того, чтобы я обошел их молчанием. Я никогда не боялся заразиться, оказавшись в гуще врагов, потому что единственные враги у меня – это враги моего народа.

Аполлинер сказал: «Сжальтесь над нами, исследующими границы нереального»; я цитирую по памяти, думая о том, что рассказываю здесь, рассказываю о людях, которых люблю ничуть не меньше оттого, что они были экстравагантны, и которые ничуть не хуже оттого, что остались непонятыми.

## Деловые люди

Нам, поэтам, всегда казалось, что мы знаем тысячи замечательных способов разбогатеть, что мы по деловой части – гении, только гении непонятые. Помню, как раз под влиянием одной такой многообещающей идеи я в 1924 году продал своему издателю в Чили права на книгу «Собрание закатов» и не на одну публикацию – на все издания впредь. Я полагал, что эта продажа принесет мне богатство, и подписал договор у нотариуса. Издатель заплатил мне пятьсот песо, что по тем временам означало менее пяти долларов. Рохас Хименес, Альваро Инохоса, Омеро Арсе ждали меня у дверей нотариальной конторы – мы собирались устроить банкет на славу в честь удачной сделки. Мы и вправду поели в лучшем тогда ресторане – «Ла Баиа», пили изысканные вина и напитки, курили отборные сигары. А перед тем начистили ботинки, они сверкали у нас как зеркало. Итак, сделка все-таки принесла выгоду: ресторану, четырем чистильщикам ботинок и одному издателю. А вот поэту удачи не было.

Альваро Инохоса уверял нас, что у него на дела зоркий, орлиный глаз. Он ошеломил нас грандиозными планами, которые – если бы нам довелось их осуществить – наверняка обернулись бы золотым дождем. Нам, затрепанной и полуголодной богеме, казалось, что английский язык, которым владеет Альваро Инохоса, сигареты из светлого табака, которые

он курит, и годы, проведенные им в нью-йоркском университете, – прочная прагматическая опора для его могучего коммерческого интеллекта.

Как-то он позвал меня на секретный разговор и предложил войти в долю; затея была потрясающая, стоило только взяться за дело, и мы непременно и незамедлительно должны были разбогатеть. Мне досталось бы пятьдесят процентов, а вложить я должен был всего несколько песо, и их следовало раздобыть. Он вложит остальное. Мы уже чувствовали себя капиталистами, были готовы на все, и сам черт нам был не брат.

– А что за товар? – робко спросил я недоступного моему пониманию финансового короля.

Альваро закрыл глаза, выдохнул клубок дыма, который тут же завился мелкими колечками и наконец ответил таинственно:

– Шкуры!

– Шкуры? – удивленно переспросил я.

– Тюленьи шкуры. А точнее, исключительно шерстистые тюленьи шкуры.

Я не осмелился расспрашивать дальше. Я понятия не имел, что тюлени, или морские львы, могут быть шерстистыми. Я видел тюленей на скалах и берегах, на юге, блестящая кожа тюленя сверкала на солнце, но не заметил и признака шерсти на его ленивом брюхе.

В мгновение ока я собрал свои пожитки и, не заплатив за

квартиру, не отдав того, что задолжал портному и сапожнику, вручил всю наличность своему компаньону-финансисту.

И мы пошли смотреть шкуры. Альваро скупил их у своей тетушки, жившей на юге, которая была владелицей многочисленных совершенно бесплодных островов. Эти пустынные скалистые островки тюлени облюбовали для своих любовных игр. И вот они лежали у меня перед глазами, огромными связками желтых шкур, продырявленные карабинами прислужников злобной тетушки. Тюки со Щкурами поднимались до самого потолка подвальчика, который Альваро специально снял, намереваясь ошеломить предполагаемого покупателя.

– Что мы будем делать с такой тьмою, с такой пропастью шкур? – спросил я боязливо.

– Такие шкуры всем нужны позарез. Вот увидишь. – И мы вышли из подвала. Альваро – весь искрясь энергией, а я – опустив голову и замолкнув.

Альваро начал ходить по городу с папкой, сделанной из настоящей, «исключительно шерстистой» тюленьей шкуры и для пушей важности набитой чистыми листами бумаги. Наши последние сентаво ушли на объявления в газетах. Чтобы их прочитал какой-нибудь знающий толк и заинтересованный в деле воротила, и тогда все. Мы бы разбогатели. Альваро, щеголь в душе, мечтал пополнить свой гардероб полдюжиной костюмов английского сукна. Я был куда скромнее и в мечтах лелеял надежду приобрести хороший помазок для

бритья, ибо тому, которым тогда пользовался, со дня на день грозило полное облысение.

Наконец объявился покупатель. Это был кожевник – крепкий, низенький, с невозмутимым взглядом, скупой на слова, а его нарочитая откровенность, как мне показалось, здорово смахивала на обыкновенную неотесанность. Альваро принял его с покровительственной небрежностью и назначил время – через три дня, – когда мы сможем показать ему наш сказочный товар.

Альваро купил великолепные английские сигареты и кубинские сигары «Ромео и Джульетта», и когда подошло время явиться покупателю, вложил их – чтобы они сразу бросились в глаза – в кармашек своего пиджака. На полу мы разложили шкуры, которые выглядели получше.

Покупатель пришел в назначенное время, минута в минуту. Он не снял шляпы и еле пробурчал что-то вместо приветствия. Презрительно окинул взглядом расстеленные на полу шкуры. Потом его хитрый, неуступчивый взгляд пополз вверх, шаря по забитым доверху полкам. Он поднял пухлую руку, и палец, поколебавшись, указал на связку шкур, засунутых в дальний угол под потолком. Именно туда я запихнул самый невидный товар.

В этот кульминационный момент Альваро предложил ему настоящую гаванскую сигару. Торгаш схватил сигару, откусил зубами кончик и сунул ее себе в пасть. Но при этом продолжал указывать на связку, которую желал осмотреть.

Делать было нечего. Мой компаньон вскарабкался по лестнице и, улыбаясь улыбкой приговоренного к смерти, с тяжелым тюком спустился вниз. Покупатель, прерываясь только затем, чтобы снова и снова затянуться сигарой Альваро, одну за другой осмотрел все шкуры.

Он поднимал шкуру, тер ее, складывал вдвое, плевал на нее и переходил к следующей, которую тоже ковырял ногтем, скреб, обнюхивал и бросал на пол. Когда в конце концов он закончил осмотр, то снова взглядом стервятника окинул полки, битком набитые нашими «исключительно шерстистыми» тюленьими шкурами, и уперся взглядом в лоб моему компаньону и специалисту по финансовым делам. Момент был волнующий.

Твердо и сухо он проговорил бессмертные – во всяком случае для нас – слова:

– Уважаемые сеньоры, с такими шкурами я путаться не стану, – и ушел навсегда, ушел, как и пришел – в шляпе, да еще попыхивая на ходу сигарой Альваро, на которую возлагалось столько гордых надежд, ушел, не простившись, безжалостно прикончив наши мечты о миллионах.

## Мои первые книги

С яростью и отчаянием застенчивого человека я искал убежища в поэзии. В Сантьяго в ту пору появились новые литературные школы. На улице Марури в доме № 513 я закончил свою первую книгу. Писал по два, три, четыре, по пять стихотворений в день. Под вечер, когда солнце садилось, с балкона открывалась такая картина, которой я не согласился бы пропустить ни за что на свете. Это был закат с его буйством красок, разметавшийся огромными веерами оранжевых и пурпурных лучей. Главная часть моей книги так и называлась «Закат на Марури». Меня никто и никогда не спрашивал, что это за Марури. И, наверное, мало кто знает, что Марури – это скромная улочка, на которой бывают потрясающие закаты.

В 1923 году я опубликовал эту мою первую книгу «Собранные закаты». Чтобы оплатить публикацию, мне пришлось сражаться из последних сил и одерживать трудные победы. Была продана жалкая мебель. В залог отправились часы, подаренные мне отцом, часы, на которых он сам изобразил скрещенные флажки. За часами последовал черный костюм – одеяние поэта. Но издатель был ненасытен и под конец, когда книга уже была напечатана и даже переплетена, коварно заявил: «Нет. Вы не получите ни одного экземпляра, пока не заплатите мне все сполна». Критик Алоне щедро внес недо-

стававшие песо, алчный издатель поглотил и их, а я вышел на улицу с книжками на плече, в рваных башмаках и без ума от радости.

Моя первая книга! Я всегда стоял на том, что в писательском деле нет ничего таинственного или магического, во всяком случае, ничего такого нет в работе поэта; работа поэта – дело глубоко личное, но делается оно для людей. Больше всего по своей природе поэзия похожа на хлеб, или на керамическое блюдо, или на древесину, любовно обработанную пусть даже неловкими руками. И все-таки, я думаю, ни один ремесленник не испытывает того пьянящего чувства, какое один раз в жизни испытывает поэт оттого, что впервые создал своими руками нечто, заключающее в себе смутное биение его мечты. Этот миг никогда больше не повторится. Будут другие издания, гораздо красивее и тщательнее сделанные. И твои слова перельются в сосуды иных языков, подобно тому как поет и благоухает вино в краях, далеких от земли, где оно родилось. Но миг, когда выходит первая книга, еще пахнувшая типографской краской и ласкающая прикосновением страниц, этот восхитительный и пьянящий миг, когда словно слышится шелест распахивающихся над головой крыльев и на покоренной вершине распускается цветок, – такой миг бывает только раз в жизни поэта.

Одно стихотворение – «Farewell»<sup>22</sup> – вышло из той детской книги и пошло своим путем; по сей день, где бы я ни

---

<sup>22</sup> «Прощай» (англ.).



оказался, обнаруживается, что многие знают его наизусть. Случалось, в самых неожиданных местах вдруг кто-то читал мне его на память или просил, чтобы я прочитал. Мне становилось не по себе, когда не успевали меня представить на каком-нибудь собрании, как тотчас находилась девица, которая принималась одержимо выкрикивать строки этого стихотворения, а бывало, что и министры замирали передо мною по стойке смирно и нанизывали на меня, как на вертел, первую строфу.

Несколько лет спустя, в Испании, Федерико Гарсиа Лорка<sup>23</sup> рассказал мне, что то же самое происходило с его стихотворением «Неверная жена». Наивысшим проявлением дружбы со стороны Федерико было чтение им этого своего прекрасного и популярнейшего стихотворения. Такой застывший успех одной вещи вызывает у писателя нечто вроде аллергии. И это здоровое и даже биологически оправданное чувство. Читатель, навязывая нам свое отношение, норовит удержать поэта на одном определенном мгновении, в то время как творчество есть непрестанный круговорот, который в своем коловращении наращивает умелость и знания, хотя порою, быть может, за счет свежести и непосредственности.

Я шел вперед, оставив позади «Собрание закатов». Метание души рождало поэзию. Время от времени я ненадолго приезжал домой, на юг, черпал там новые силы. В 1923 году

---

<sup>23</sup> Федерико *Гарсиа Лорка* (1898–1936) – испанский поэт, драматург.

со мной произошел интересный случай. Я как раз только что приехал в Темуко. Было за полночь. Собираясь спать, я открыл в комнате окна. Небо ошеломило меня. Небо было живым, оно сверкало необозримым множеством звезд. Умытая дождем ночь, вся в южных звездах, раскинулась у меня над головой.

Беспредельное звездное космическое пространство захлестнуло меня и опьянило. Я подбежал к столу и, как в бреду – будто мне кто-то диктовал, – написал первое стихотворение для книги, которая потом получала множество названий, но в конце концов вышла под заголовком «Восторженный пращник». Я чувствовал себя так, словно попал наконец в родные воды.

На следующий день вне себя от радости я перечитал ночные стихи. А потом, когда вернулся в Сантьяго, кудесник Алирио Ойярсун<sup>24</sup> слушал их с восхищением. Когда я закончил читать, он спросил меня своим глубоким голосом:

– А ты уверен, что тут нет влияния Сабата Эркасти?<sup>25</sup>

– Пожалуй, уверен. Я написал их на одном дыхании.

Но все же я решил послать эти стихи самому Сабату Эркасти, большому уругвайскому поэту, теперь незаслуженно забытому. Мне казалось, что этому поэту удалось осуществить мечту, которая была у меня самого, – вобрать в поэзию не только человека, но и природу с ее потаенными силами, со-

---

<sup>24</sup> Алирио Ойярсун (1896–1923) – чилийский поэт, романист.

<sup>25</sup> Сабат Эркасти Карлос (род. в 1887 г.) – уругвайский поэт.

здать эпическую поэзию, открытую великим тайнствам природы и возможностям человека. Я стал переписываться с Сабатом Эркасти. Писал новые стихи. Работал над тем, что написал раньше, и с огромным вниманием читал письма, в которых Сабат Эркасти отвечал незнакомому ему молодому поэту.

Я послал Сабату Эркасти в Монтевидео те ночные стихи, спрашивал, не видит ли он в них влияния своей поэзии. В ответ очень скоро получил прекрасное письмо: «Редко мне случалось читать такие удавшиеся стихи, такие великолепные стихи, но должен сказать: да, в ваших стихах есть кое-что от Сабата Эркасти».

Это был удар – будто свет среди ночи, удар, за который я и по сей день благодарен. Много дней я носил письмо в кармане, мял и комкал его, пока оно не рассыпалось в прах. На карту было поставлено многое. Прежде всего, неотвязно мучила мысль, что наваждение той ночи оказалось бесплодным. Впустую окунулся я в звездную круговерть, напрасно для моих чувств пробушевала южная гроза. Я ошибся. Нельзя было так доверяться вдохновению. Разум должен был вести меня шаг за шагом по неприметным тропкам. Следовало научиться скромности. Я порвал много рукописей, а другие потерял. И только десять лет спустя затерянные стихи были напечатаны.

Письмо Сабата Эркасти покончило с моей мечтой о широкой, циклической поэзии, я захлопнул дверь перед веле-

речивостью, не мог далее следовать тем же путем и сам изменил стиль и убавил экспрессию. Обращаясь к своим самым скромным и сдержанным движениям души, отыскивая в себе самом внутреннюю гармонию, я начал писать новую книгу о любви. И написал «Двадцать стихотворений...»

«Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаянья» – книга печальная, но печаль ее светлая, в ней – терзавшие меня юношеские чувства и страсти, впитавшие неуемность южной природы моей страны. Я люблю эту книгу, потому что, как бы ни была пронзительна ее грусть, в ней есть радость жизни. Мне помогла писать ее река, река, впадающая в океан, – река ИмперIALь. «Двадцать стихотворений...» – это песнь о Сантьяго, с его студенческими улочками, университетом и отдающим жимолостью ароматом разделенной любви.

Строки о Сантьяго были написаны где-то меж улицей Эчауррен и проспектом Испании, или в старинном здании Педагогического института, на фоне воды и деревьев наших южных земель. Набережные в «Песне отчаянья» – старые набережные Карауэ и Нижнего ИмперIALя, с их обломками досок и бревен, точно культи, бьющимися друг о друга в широком речном течении, и чайками, шелестящими крыльями – как они шелестят и сегодня – над речным устьем.

В прекрасной длинной шлюпке, выброшенной, забытой каким-то потерпевшим крушение кораблем, я залпом прочитал «Шана Кристофа» и написал «Песню отчаянья». Над

головой у меня было такое яростно-синее небо, какого я никогда и нигде не видел. Я писал в шлюпке, затерявшись посреди земли. Думаю, что никогда не поднимался так высоко и не достигал таких глубин, так в те дни. Сверху – синее непроницаемое небо. В руках – «Жан Кристоф» или рождавшиеся строки стихов. А рядом – все, что существовало и всегда будет существовать в моей поэзии: далекий шум моря, крик диких птиц и неизбывная, точно бессмертный куст ежевики, любовь во мне.

Меня всегда спрашивают, кто эта женщина из «Двадцати стихотворений...», и на этот вопрос трудно ответить. Две или три женщины, которые вплелись в эту грустную и пылкую поэзию, соответствуют, я бы сказал, Марисоль и Марисомбре.<sup>26</sup> Марисоль – это воплощение зачарованной провинции, края огромных ночных звезд, и глаза у Марисоль – темные, точно влажное небо Темуко. Она – почти на каждой странице, а с нею – радость и животворная красота, воды порта и серп лупы над горами. Марисомбра – столичная студентка. Серый берет, бесконечно нежный взгляд и всегда – запах жимолости, аромат бродячей студенческой любви и отдых после пылких ласк где-нибудь в укромном закутке.

А между тем жизнь в Чили менялась. Развернулось народное движение и, все решительнее заявляя о себе, искало поддержки у студентов и писателей. В то время прези-

---

<sup>26</sup> Марисоль – Мари-солнце; Марисомбра – Мари-тень (*исп*)

дентом республики стал Артуро Алессандри Пальма,<sup>27</sup> деятельный демагог, видный лидер мелкой буржуазии, который успел взбудоражить всю страну зажигательным, грозным красноречием. При всем том, что Пальма был лично-стью необычной, придя к власти, он очень скоро превратился в типичного латиноамериканского лидера: правящая олигархическая верхушка, с которой он сражался, единым духом проглотила его со всеми революционными речами. А страна, как и прежде, продолжала биться в жестоких, раздирающих ее конфликтах.

И в то же самое время рабочий вождь Луис Эмилио Рекабаррен<sup>28</sup> сумел удивительным образом добиться организации пролетариата; он создавал профсоюзные ячейки, открыл в стране девять или десять рабочих газет. Лавина безработицы потрясла государственные устои. Я тогда каждую педелю печатался в журнале «Кларидад». Мы, студенты, поддерживали требования народа, и полиция, случалось, била нас дубинками на улицах Сантьяго. В столицу прибывали тысячи безработных с селитряных и медных копей. Демонстрации и репрессии окрашивали жизнь страны в трагические тона.

С той поры навсегда политика и поэзия в моей жизни сли-

---

<sup>27</sup> Артуро Алессандри Пальма – один из лидеров либеральной партии, с 1920 по 1925 г. – президент Чили.

<sup>28</sup> Луис Эмилио Рекабаррен (1876–1924) – основатель Коммунистической партии Чили.

лись неразрывно. Поэзия моя никогда не захлопывала дверь на улицу, точно так же, как невозможно было для меня, молодого поэта, запретить двери своего сердца перед любовью, жизнью, радостью или печалью.

# Слова

*...Что бы там ни говорили, но все, вот именно, все на свете – слова, они поют, они поднимаются и опускаются... Я преклоняюсь перед ними... Я их люблю, я к ним льну, я их преследую, я их надкусываю, заглатываю... Как я люблю слово... Неожиданное... И то, которое жадно ждал, почти слышал, и вот оно падает... Слова, любимые... Они сверкают, точно разноцветные камни, выныривают, словно серебряные рыбки, они – пена, нить, металл, роса... Есть слова, за которыми я охочусь... Они так прекрасны, что мне хочется все сразу вставить их в одно стихотворение... Я хватаю их на лету, когда они жуужжа проносятся мимо, я их ловлю, мою, чищу, раскладываю перед собой на блюде, мне кажется, они словно из стекла, они трепещут, они будто из слоновой кости, они похожи на растения, они маслянисты, как плоды или как водоросли, как агаты, как маслины... И вот тогда я их перемишиваю, встряхиваю и пью, я уписываю их за обе щеки, пережевываю, я их наряжаю, я освобождаю их... Я слагаю их в стихотворении сталактитами, выкладываю мозаикой, словно мельчайшие полированные кусочки древесины, вываливаю глыбами угля, выбираиваю обломками кораблекрушения – как подарок волны... Все – в слове... Целая мысль может измениться только оттого, что сместилось одно слово, или оттого, что другое*



по-королевски расселось посреди фразы, которая не ждала его и ему не подчиняется... У слов есть тень, прозрачность, вес, оперение, волосы, у слов есть все, что пристало к ним, пока они так долго катились по рекам, столько странствовали от родины к родине, так давно стали корнями... Они такие древние и совсем еще новорожденные... Они живут в навечно захороненном гробу и в чашечке едва раскрывающегося цветка... Какой прекрасный у меня язык, какую изумительную речь унаследовали мы от мрачных конкистадоров... Завоеватели метались по диким горам, по вздыбленной Америке в поисках картофеля, свиных колбас, фасоли, черного табака, золота, маиса, яиц, они набрасывались на все с аппетитом, какого не видел мир... Они заглатывали все подряд – религии, пирамиды, племена, язычество, все исчезло в огромных мешках, которые они таскали за собой... Они шли, сравнивая с землей все, что попадалось им на пути. А варварам они на ходу роняли с сапог, с бороды, с шлема, с подков, роняли, как камешки, светящиеся слова, которые оставались у нас и сверкали... Язык... Мы проиграли... Мы оказались в выигрыше... Они забрали у нас золото и оставили нам золото... Они забрали у нас все и оставили нам все... Они оставили нам слова...

# Дороги мира

## Тетрадь 3

### Бродяга из Вальпараисо

Вальпараисо совсем недалеко от Сантьяго. Их разделяют только косматые горы, на гребнях которых возвышаются, точно обелиски, огромные и враждебные цветущие кактусы. И все же что-то совершенно непреодолимое отделяет Сантьяго от Вальпараисо. Сантьяго – город-пленник, заточенный в снежных стенах. Вальпараисо, напротив, распахнул свои ворота навстречу безграничному морю, уличному гомону, детским глазам.

В юности, в самый безалаберный миг, мы вдруг – это всегда случается на рассвете, всегда после проведенной без сна ночи, всегда без гроша в кармане, – мы вдруг втискиваемся в вагон третьего класса. Мы, поэты или художники, двадцатилетние, ощущали на себе драгоценный груз безумия, которое хочет найти себе применение и распирает нас, норovit взорваться. Звезда Вальпараисо манит нас, притягивает своим живым биением.

Лишь много лет спустя я вновь услышал этот необъяснимый зов, но уже другого города. Это случилось, когда я жил

в Мадриде. Однажды в пивной, куда я зашел после театра на рассвете, а может, просто забрел, гуляя по улицам, я услышал голос Толедо, который звал меня, немой голос его призраков, его тишины. И ранним утром, с друзьями, такими же безумцами, как друзья моей юности, мы отправились в этот древний, прокаленный и скрученный город. И там прямо в одежде мы спали под каменными мостами на песчаном берегу Тахо.

Не знаю почему, но одно из моих изумительных путешествий в Вальпараисо запало мне в память, и оно накрепко связано с запахом трав, вырванных из тайников полей. Мы провожали поэта и художника, который должен был ехать во Францию третьим классом. А поскольку мы не могли наскрести денег даже на самую занюханную гостиницу, то стали искать безумца Новoa, одного из тех, кого мы больше всех любили в великом Вальпараисо. Добраться до его дома было непросто. Мы бесконечно карабкались по каким-то склонам, а потом скользили вниз, и перед нами в темноте все время маячил неколебимый силуэт Новoa, который вел нас.

Это был внушительного вида человек с буйной бородой и густыми усами. Полы его черного одеяния бились, словно крылья, на таинственных вершинах той горной цепи, по которой он тащил нас, удрученных и ничего вокруг не видевших. А он, не переставая, говорил. Он был безумец, святой, к лику святых причислили его мы, поэты. И, разумеется, он был натуралистом, человеком, по духу близким природе. Он

превозносил одному ему ведомые тайные связи, которые существовали между телесным здоровьем и естественными дарами земли. Он вел нас и на ходу, оборачиваясь назад, проповедовал зычным голосом, точно мы были его ученики. Высоченный, он шествовал впереди, словно святой Христофор этих пустынных ночных предместий.

Наконец мы добрались до его дома – лачуги из двух комнат. В одной стояла кровать нашего святого Христофора. Большую часть другой занимало огромное плетеное кресло, все сплошь в соломенных узорах и со странными ящичками на подлокотниках – шедевр викторианского стиля. Это замечательное кресло выделили мне для ночевки. А мои друзья, расстелив на полу вечерние газеты, осторожно улеглись меж хроник и передовиц.

Очень скоро, судя по дыханию и храпу, все заснули. Я же, хотя и устал за день, никак не мог заснуть, сидя в этом монументальном сооружении. Стояла тишина, какая бывает наверху, тишина одиноких вершин. И только по раздававшемуся время от времени лаю подзвездных собак да далекому свистку парохода, входившего или выходившего из гавани, можно было понять, что это ночь в Вальпараисо.

И вдруг на меня нахлынуло что-то необычайное, восхитительное. Это был аромат гор, благоухание пастбищ – так пахли растения, с которыми я вместе рос в детстве, а потом, в городе, я забыл эти запахи. И я уснул, укутанный, убаюканный матерью-землей. Откуда пришли ко мне это неприрученное

дыхание земли, эти девственно нетронутые ароматы? Я просунул пальцы меж прутьев плетеного кресла-колосса и нащупал множество ящиков, а в них – сухие, гладкие стебли трав, шершавые округлости веток и листья – остроконечные, словно копья, нежные или железно твердые. Весь целебный арсенал нашего апостола растительного мира, свод интересов всей жизни великолепного и неутомимого святого Христофора, призванного без устали собирать своими огромными ручищами все растущее на земле. Постигнув тайну, я уснул праведным сном, и запахи трав стерегли мой покой.

Несколько недель я прожил на узенькой вальпараисской улочке, напротив дома дона Сопло Эскобара. Наши балконы почти касались друг друга. Рано утром мой сосед выходил на балкон и делал зарядку – зарядку отшельника, выставляя напоказ арфу своих ребер. На нем всегда были дешевые холщовые брюки и полосатая тельняшка – полуморяк-полуархангел, он давно уже не ходил в плаванье, давно не видал таможен и открытого моря. Каждый день с необычайным тщанием он чистил щеткой свою парадную форму. Эту замечательную форму из черного сукна я ни разу за все долгие годы не видел на нем; он хранил ее в ветхом шкафу вместе с остальными своими сокровищами.

Самым его дорогим, самым щемящим душу сокровищем была скрипка Страдивариуса, которую он ревниво берег всю жизнь, – и сам ее не касался и никому не позволял притро-

нуться. Дон Соило мечтал продать ее в Нью-Йорке, там за славный инструмент ему дали бы целое состояние. Иногда, случалось, он доставал ее из жалкого шкафа и позволял нам в благоговейном волнении созерцать ее. В один прекрасный день дон Соило Эскобар отправится на север и вернется оттуда без скрипки, но зато весь в дорогих перстнях, и на месте дыр, зиявших у него во рту уже долгие годы, будут сверкать золотые зубы.

Однажды утром он не вышел на балкон делать зарядку. Мы похоронили его на вершине холма, на кладбище, и черная суконная форма одела наконец ссохшееся тело отшельника. Струны Страдивариуса не оплакивали его уход. Никто из нас на скрипке играть не умел. К тому же, когда мы открыли шкаф, скрипки в нем не оказалось. Наверное, она улете- ла к морю или в Нью-Йорк, чтобы сбылись, наконец, мечты дона Соило.

Вальпараисо окутан тайной, в нем видимо-невидимо всяких кривых улочек и закоулков. По склонам холмов теснятся, стекая каскадом, наползая друг на друга, жилища бедноты. Бесчисленному народу, населяющему холмы, известно все: кто сколько ест и что у кого есть из одежды (или кто как недоедает и кому нечего надеть). Выстиранное белье флагами развевается над каждым домом, и, судя по тому, что день ото дня босых детских ножек становится тут все больше, любовь в этом человеческом улье жива и негасима.

А внизу, у моря, стоят дома с запертыми балконами и окнами, к этим домам не протоптаны тропки. В одном из таких домов жил путешественник. Я долго стучал в дверь тяжелым бронзовым молотком. Наконец послышались тихие шаги, и в чуть приоткрытую дверь вопросительно-недоверчивоглянуло лицо, и этому лицу, видно было, меньше всего хотелось выпускать меня. Это была старая служанка, завернутая в шаль и передник, тень, едва волочившая ноги.

Путешественник тоже был очень стар, и во всем огромном доме с запертыми окнами жили только они двое. Я уже приходил сюда посмотреть его коллекцию идолов. Все коридоры, все стены были уставлены и увешаны алыми созданиями, белыми и пепельно-серыми надменными масками, статуями, которые хранили сгинувшие черты океанических богов, высушенными скальпами полинезийцев, ощетинившимися деревянными гербами, изукрашенными шкурами леопардов, ожерельями из зубов хищников и веслами челноков, которые, возможно, разбивали пену бурных вод. И в полутьме на потрясенных стенах змеиной чешуей сверкали посеребренные лезвия свирепых клинков.

Я обратил внимание на то, что мужских деревянных божков поубавилось. Их фаллосы были тщательно прикрыты тряпичными набедренными повязками – из той же самой ткани, что и платок и фартук на служанке, это было сразу видно.

Старый путешественник с таинственным видом двигался

меж своих трофеев. Переходя из зала в зал, он давал мне пояснения, то вскользь, то иронически, как это делают люди, долго жившие и все еще живущие жаром своих образов. И думалось, что свою белую бородку он позаимствовал у какого-нибудь идола с острова Самоа. Он показал мне старинные длинноствольные ружья и пистолеты, с которыми ему случилось преследовать врага или сразить антилопу, а то и тигра. И тем же шепотом, что давал пояснения, он стал рассказывать о своих приключениях. Как будто сквозь зашторенные окна ворвалось солнце и заиграл лучик, словно ожила и запорхала меж идолов маленькая бабочка.

Уходя, я поведал ему о своих планах – совершить путешествие на острова, как можно скорее отправиться к золотым песчаным берегам. И тогда, озираясь по сторонам, он приблизил седые облезлые усы к самому моему уху и боязливо зашептал: «Только чтоб она не догадалась, только чтобы не дозналась она: я ведь тоже собираюсь в путешествие».

И он застыл на миг, прижав палец к губам, вслушиваясь, – так ловил он слухом поступь тигра в сельве. А потом дверь за мной захлопнулась – должно быть, так же резко, разом накрыв все темнотою, падает на Африку ночь.

Я спросил у земляков:

– Что нового забавного в Вальпараисо? Может, зря я вернулся?

Мне ответили:



– Особенного – ничего. Но вот на этой улице можете наткнуться на дона Бартоломе.

– А как я его узнаю?

– Не ошибетесь. Он всегда ездит в карете.

А несколько часов спустя я покупал яблоки в овощной лавочке, и вдруг у дверей остановилась карета, запряженная лошадьми. Из нее вышел высокий, резкий в движениях, весь в черном человек.

Он тоже приехал за яблоками. На плече у него сидел совершенно зеленый попугай, который тут же подлетел ко мне и без всякого почтения устроился на моей голове.

– Вы дон Бартоломе? – спросил я благородного кабальеро.

– Совершенно справедливо. Меня зовут Бартоломе.

Он вынул длинную шпагу, которая была у него под плащом, и передал ее мне, а сам принялся укладывать в корзину купленные яблоки и виноград. Шпага была старинная, длинная и острая, с рукояткой, выделанной прекрасными ювелирами, – в форме раскрывшейся розы.

Я не был с ним знаком, и никогда потом мне не привелось его увидеть. Но в тот раз я со всем уважением проводил его на улицу, открыл дверцу экипажа, пропуская его самого и корзину с фруктами, и торжественно передал птицу и шпагу.

Маленькие миры Вальпараисо, живущие каждый сам по себе, вне времени и неразумно, – точно ящики, которые оставили в подвале, и никто за ними не идет, никто не зна-

ет, откуда они взялись, и никогда им уже не суждено отсюда выбраться. И, может, как раз в этих потайных владениях, в этих душах Вальпараисо на веки вечные заточены утерянное владычество волны, буря, соль и гудящее, мерцающее море. Море, которое у каждого – свое, запертое и вечно грозное, с шумом, не слышным другим, и движением, невидимым чужому глазу, море, перемоловшееся мукою и вскипевшее пеною снов.

В этих эксцентричных, открытых мной жизнях меня поразила та главная связь, какая соединяет все эти судьбы с разудалой, щемящей, буйной жизнью моря. Наверху, на холмах, неистово и весело, как кипящий гудрон, клокочет и переливается через край нищета. Внизу, на прибрежной ленте, трудятся лебедки и краны – трудится человек в поте лица, знающий, как мимолетно счастье. Но есть и такие, что не попали наверх, на холмы, и не опустились туда, где кипит работа. Эти хранят – каждый в своем ящике – свое собственное безграничное море, частичку, принадлежащую только ему одному. И берегут, охраняют его – каждый с тем оружием, какое имеет под рукой, в то время как забвение надвигается на них, подобно туману.

А бывает, Вальпараисо бьется в судорогах, словно раненый кит. Его бросает из стороны в сторону, он агонизирует, умирает и снова возрождается к жизни.

Здесь каждый носит в себе воспоминание о землетрясе-

нии. Лепесток страха живет, прилепившись к сердцу города. Каждый житель Вальпараисо – герой еще до рождения. Потому что в памяти города навечно заключена эта беда, эта судорога сотрясающейся земли и хриплый рык, который несется из ее глубин, будто подземный или подводный город вдруг ударил во все свои погребенные колокола, извещая человека: пришел конец. И случилось, когда под вопли и среди тишины, объятые пламенем, в пыль и прах рушились стены и кровли, и когда уже все, казалось, бесповоротно успокоилось в смерти, из моря выступала, словно последний ужас, великая волна, нехватная зеленая рука; высокая и грозная, она подымалась, как башня мести, сметая на своем пути все, что осталось живого, все, что могла настичь.

Иногда все начинается с неясного движения, но спящие просыпаются. И во сне душа по глубинным каналам получает весть из недр земли. Она всегда хочет об этом знать. И вот она это знает. А потом наступает великое сотрясение земли, и не к кому обратиться надежды: боги ушли, а надменные храмы обратились в груды раздробленного камня.

Этот ужас – не тот, что овладевает при виде несущегося на тебя разъяренного быка, или нацеленного кинжала, или вот-вот готовой проглотить тебя воды. Этот ужас – космический; вселенная разом становится ненадежной, она рушится и разваливается у тебя на глазах. И земля гудит глухими раскатами, гудит незнакомым голосом.

Но вот пыль, поднявшаяся над развалинами домов, по-

степенно улеглась. И мы остаемся один на один со своими мертвыми, со всеми мертвыми, остаемся и не знаем, почему живы мы.

Лестницы поднимаются и опускаются, карабкаются ввысь, скрещиваются. Вот они истончаются – совсем до волоска, замирают, давая перевести дух, и устремляются вертикально вверх. Они шатаются – до головокружения. Несутся опророметью. Растягиваются до бесконечности. Пятятся. Им нет конца.

Сколько тут лестниц? Сколько у них ступеней? Сколько ног прошло по этим ступеням? Сколько веков ступают по ним вверх и вниз – с книгой в руке, с помидорами, с рыбой, с бутылками, с хлебом? Сколько тысяч часов изнашивались эти ступени, прежде чем они превратились в каналы, по которым, играя и плача, несутся дождевые потоки?

Лестницы!

Нет города, который за свою историю понастроил бы, стесал, разбросал и собрал столько лестниц, как Вальпараисо. Нет города, на чьем лице было бы столько борозд, по которым протекало бы столько жизней, будто они вечно поднимаются в небо или опускаются к первому мигу творения.

На этих лестницах неожиданно на полдороге рождается пред тобою куст репейника с пурпурными цветами! По этим лестницам поднимается, возвратись из Азии, матрос и видит, что дома у него расцвела новая улыбка, или, наоборот,

узнает о страшной потере. По этим лестницам, точно черный метеор, катится кубарем пьяный. По этим лестницам восходит солнце, чтобы одарить любовью вершины...

Пройти все лестницы Вальпараисо, наверное, все равно что обойти вокруг земли.

Вальпараисо, боль моя!.. Что произошло тут на пустынном тихоокеанском юге? Упала звезда или разыгралась битва светлячков и их свечение пережило катастрофу?

Ночь в Вальпараисо! В пустой вселенной вдруг засверкала крошечная, одна-единственная точка на планете. Затрепетали светлячки, и вот меж вершин загорается золотая подкова.

А за нею в безмерной крошечной тьме выступают колоссальные фигуры и освещают ночь. Проступила далекая дрожь Альдебарана,<sup>29</sup> над небесными воротами повисло облачение Кассиопеи, и по ночной сперме Млечного Пути покатилась бесшумная колесница Южного Креста.

И вот тогда Стрелец, тугой, как тетива, и косматый, обронил что-то: бриллиант с ноги, а может, блоху с косматых волос.

Он и сам родился в Вальпараисо, горящем, шумном, пенящемся Вальпараисо, кишашем проститутками.

Ночью переулки наполняются черными наядами. В темноте подстерегают двери, хватают чьи-то руки, и матрос сби-

---

<sup>29</sup> Альдебаран – звезда в зодиакальном созвездии Тельца. Кассиопея – созвездие Северного полушария неба. Стрелец – зодиакальное созвездие.

ваются с пути под звездами Южного полушария, заплутавшись в постели. Палианта, Тритетонга, Кармела, Флор де Диос, Мультикула, Беренисе, «Baby Sweet»<sup>30</sup> населяли пивные, караулили оказавшихся на мели безумцев, сменяли друг друга и являлись в новом облике, и танцевали, танцевали, но в танце была не разнузданность, а печаль – неизбывная печаль нашего омытого дождями племени.

Самые крепкие парусные суда выходили в открытое море за китами. А другие корабли плыли к золотым берегам Калифорнии. Они шли через семь морей, чтобы потом собрать в чилийской пустыне селитру, которая лежит, будто прах раздробленной статуи, на самых засушливых в мире бескрайних пространствах.

Вот это были приключения!

Сверкание Вальпараисо пробилось в ночи мироздания. Корабли отправлялись из одного света и прибывали в другой свет, нарядные, словно немислимые голуби – благоухающие суда, оголодавшие фрегаты – так долго держали их ветры у мыса Горн... Сколько раз бывало, что люди, не успев пристать к берегу, набрасывались на еду, забыв про все на свете... Дикие, фантастические времена, когда из океана в океан нельзя было попасть иначе, как через патагонский пролив на краю земли. Времена, когда Вальпараисо платил судовой команде звонкой монетой, на которую она плевала и которой поклонялась.

---

<sup>30</sup> Милая крошка (англ.).

На одном корабле привезли рояль; на другом – прибыла Флора Тристан, перуанская бабка Гогена; а еще на одном корабле прибыл Робинзон Крузо, тот, первый, настоящий, из плоти и крови, подобранный на островах Хуан-Фернандес... Корабли привозили ананасы, кофе, перец с Суматры, бананы из Гуайякиля, жасминный чай из Ассама, анис из Испании... Разные ароматы, сменяя друг друга, наполняли далекую бухту – эту проржавевшую подкову кентавра: на одной улице приторно пахло корицей; на другой, словно белая стрела, пронзал душу аромат чиримойо;<sup>31</sup> а из какого-нибудь переулка бил в нос запах гниющих морских водорослей – всех, какие только водятся в водах Чили.

Вальпараисо тогда светился и отливал темным золотом, точно апельсиновое дерево посреди морских вод, – у него была листва, была свежесть и тень, он сиял, словно плод.

Вершины Вальпараисо решили стряхнуть с себя людей, сбросить сверху дома, чтобы они разбрелись по ущельям, окрашенным глиной в красный цвет, золотыми прожилками – в золотистый и дикой растительностью – в мрачно-зеленый. Но дома и люди цеплялись за высоту, мучительно укоренялись, ленились по вертикали вверх, вгрызались, впивались зубами и ногтями, чтобы удержаться над пропастью. Этот портовый город – вечный спор между морем и неверной природою гор. В той битве выиграл человек. Город раскинулся на горах над морским простором, и оттого он стал

---

<sup>31</sup> Чиримойо – тропическое плодое дерево.

единым, но не однообразным, как казармы, – он знает ни на что не похожие весны и перебивающие друг друга краски, ему знакома звонкая сила. Дома расцветили его: раскрасили в амарантовый и желтый, карминовый и кобальтовый, зеленый и пурпурный. Так Вальпараисо стал настоящим портом – корабль, осевший на мели, но корабль, кипящий жизнью, с флагами по ветру. А Великий океан достоин целого города флагов.

Я жил среди этих благоуханных и израненных гор. Их склоны полны жизни, она тут бьет ключом, гудит во все раковины, трубит во все трубы. На их виражах тебя поджидает оранжевая карусель, спешащий вниз монах, босоногая девочка, улетающая арбуз, шумная толпа матросов и женщин, распродажа вконец проржавевших скобяных изделий и крошечный балаган, в котором умещаются одни только усы дрессировщика, лестница, уходящая в облака, подъемник, груженный луком, семь ослов-водоносов, пожарная машина, возвращающаяся с пожара, витрина, где вместе выставлены бутылки, сулящие и жизнь и смерть.

Названия этих холмов исполнены смысла. Можно совершить путешествие по одним только названиям, и этому путешествию не будет конца, потому что нет конца путешествию ни по земле Вальпараисо, ни по его словам. Веселый холм, гора Бабочка, гора Поланко, гора Больницы, холм Столик, Угловой, Волчий холм, Такелажный, холм Гончаров, Чапарро, Калауала, Литре, холм Мельница, Миндаль-



ная роща, Пекенес, Черканес, Асеведо, Жнивье, Крепость, Лисья гора, гора доньи Эльвиры. Святого Эсте-бана, Асторга, Изумрудная, Миндальная, Родригес, холм Артиллерии, Молочников, Непорочного зачатия, Кладбищенский, Кардональ, холм Развесистого дерева, Английской больницы, Пальмы, гора Королевы Виктории, Карвальо, холм Святого Хуана де Диос, Покуро, Кадета, Козья шкура, Бискайя, холм дона Элиаса, мыс Тростниковый, Сторожевая башня, Паррасиа, Айвовая гора, Воловья, холм Флориды.

Я не в состоянии обойти столько разных мест. Городу Вальпараисо нужно новое морское чудище, осьминог, который мог бы вдоль и поперек исходить весь город. Он так огромен и так близок моей душе, но я не могу объять его необъятность – все многоцветие его добрых всходов и ростки его пороков, его высоты и его бездны.

Я могу лишь бродить по нему без конца, и вехами на пути мне будут его колокола, его взлеты и падения, его названия.

И более всего – названия, потому что слова – это корень и прорастающее семя, в словах есть воздух и масло, в них заключена история и действие, в их слогах течет кровь.

## ЧИЛИЙСКИЙ КОНСУЛ В ДЫРЕ

Студенческая литературная премия, некоторый успех моих новых книг и знаменитый плащ – все это создало вокруг меня некий ореол солидности, я стал известен за пределами узких литературных кругов. Но культурная жизнь нашей страны в двадцатые годы – за редчайшим героическим исключением – целиком и полностью зависела от Европы. В каждой латиноамериканской стране была своя космополитическая элита, а писатели – выходцы из слоев олигархии жили в Париже. Наш великий поэт Висенте Уидобро<sup>32</sup> не только писал по-французски, но и сменил имя Висенте на Венсан.

Как бы то ни было, но едва лишь юношеская, только еще зарождающаяся слава коснулась меня, даже на улице меня стали спрашивать: «Что ты тут делаешь? Тебе надо ехать в Париж».

Кто-то из друзей дал мне рекомендации к начальнику одного из департаментов министерства иностранных дел. Тот принял меня сразу. Он знал мои стихи.

– Я прослышал о ваших помыслах. Садитесь поудобнее в это кресло. Отсюда прекрасный вид на площадь, все как на

---

<sup>32</sup> Висенте Уидобро (1893–1948) – чилийский поэт, основатель литературного направления, получившего название «креасьонизм» (от слова «сгеаг» – творить). Сторонники этого направления призывали создавать новый мир взамен реального с помощью воображения.

ладони. Поглядите на эти машины. Все это – тщета. А вот вы – счастливы: вы молоды и вы – поэт. Видите этот дворец? Он принадлежал моей семье. А я – тут, перед вами, в этом свинарнике, завяз в бюрократии. Единственно ценное в этом мире – дух. Вам нравится Чайковский?

После часа такого творческого разговора, он протянул мне, прощаясь, руку и сказал, чтобы я не беспокоился, что он – начальник консульского департамента.

– Считайте, вы уже получили назначение на работу за границей.

Два года я регулярно ходил в кабинет учтвого дипломатического чина, и он раз от разу становился любезнее. Едва завидев меня, он вызывал секретаря и, сдвинув брови, говорил ему неприветливо:

– Меня ни для кого пет. Дайте забыть ненадолго будничную прозу. В этом министерстве к духовному прикасаешься, лишь когда тебя навещает поэт. Дай бог, чтобы наш юный друг никогда не оставлял нас.

Я уверен, он был совершенно искренен. Затем он сразу начинал говорить – и говорил без передышки – о породистых собаках. «Кто не любит собак, тот не любит детей». И тут же переходил к английскому роману, от него – к антропологии и спиритизму, а затем к проблемам геральдики и генеалогии. И прощаясь, еще раз сообщал, словно ужасный секрет, известный лишь нам двоим, что место за границей мне обеспечено. И хотя мне не хватало денег даже на еду, я

выходил из министерства, чувствуя себя почти советником в ранге посланника. И когда друзья спрашивали меня, чем я занят, то с важным видом отвечал:

– Готовлюсь ехать в Европу.

Так все и шло, пока я не встретил однажды своего приятеля Бианчи. Семейство Бианчи в Чили – целый клан знатных людей. Художники, известные музыканты, юристы, писатели, путешественники и специалисты по аидским проблемам – все они были близки и понятны семейству Бианчи. Мой приятель, бывший в свое время послом и разбиравшийся в министерских секретах, спросил:

– Не получил еще назначения?

– Вот-вот должен получить, так, во всяком случае, уверяет меня один высокий покровитель искусства, он работает в министерстве.

Приятель улыбнулся и сказал:

– Пошли к министру.

Он взял меня под руку, и мы поднялись по мраморной лестнице. Служащие и курьеры торопливо расступались перед нами. Я был так удивлен, что не мог слова вымолвить. Первый раз в жизни мне случилось видеть министра иностранных дел. Министр был маленького росточка, и, чтобы сгладить первое впечатление, он подпрыгнул и сел на край стола. Мой приятель поведал ему, как мне не терпится уехать из Чили. Министр нажал одну из бесчисленных кнопок, и тотчас же появился – отчего я окончательно пришел в заме-

шательство – мой духовный покровитель.

– Какие у нас есть вакансии? – спросил его министр.

Подтянутый чиновник, которому на этот раз было не до Чайковского, назвал несколько городов, распыленных по всему миру, из которых мне удалось уловить только одно название, я его никогда раньше не слышал и не встречал:

Рангун.

– Куда вы хотите поехать, Пабло? – спросил меня министр.

– В Рангун, – ответил я без колебаний.

– Назначить, – приказал министр моему покровителю, который стремглав выскочил и тут же вернулся с готовым приказом о назначении.

В одном из залов министерства был глобус. Я с моим приятелем Бианчи стал искать незнакомый город Рангун. На старом глобусе в том месте, где находится Азия, была глубокая вмятина, и именно в этой дыре мы его отыскивали.

– Рангун. Вот он, Рангун.

Но когда несколько часов спустя я встретился со своими друзьями-поэтами и они решили отпраздновать мое назначение, оказалось, что я начисто забыл, как называется город. Захлебываясь от восторга, я мог лишь объяснить, что меня посылают консулом на сказочный Восток и что место моего назначения находится в дыре на карте.

# Монпарнас

И вот июньским днем 1927 года мы отбыли в далекие края. В Буэнос-Айресе мы обменяли мой билет первого класса на два билета в третьем и отчалили на «Бадене». Это был немецкий пароход, где все каюты были единого класса, но этот «единый» класс, должно быть, соответствовал пятому. Обслуживали в две смены; в первую очень быстро обслуживали португальских и испанских эмигрантов, а во вторую – всех остальных пассажиров, главным образом немцев, возвращавшихся с рудников и заводов Латинской Америки. Мой приятель Альваро наметанным глазом оценил мигом всех пассажирок на пароходе. Альваро был неутомимый ловелас. Он разделил их всех на два типа. Первые – те, что сами атакуют мужчин, вторые – те, что подчиняются хлысту. Однако эта формула не всегда оказывалась верной. На какие только уловки он не пускался, чтобы добиться любви у женщин. Едва на палубе появлялись хорошенькие пассажирки, он хватал меня за руку и делал вид, будто читает линии на ладони, сопровождая все это таинственными жестами. В следующий раз, проходя мимо, пассажирки уже останавливались и умоляли тоже предсказать им судьбу. Он брал их ладони в свои, гладил гораздо нежнее, чем следовало, и предсказывал будущее, в котором обязательным было и посещение нашей каюты.

Что же касается моих впечатлений, то очень скоро и для меня путешествие преобразилось: я перестал замечать пассажиров, которые бурно протестовали против вечного меню из «Kartoffel», перестал замечать все вокруг и однообразный Атлантический океан за бортом, а погрузился в огромные, темные глаза молоденькой бразильянки, бразильянки до мозга костей, которая поднялась на пароход в Рио-де-Жанейро вместе с родителями и двумя братьями.

Веселый Лиссабон, где в те годы было полно рыбаков на улицах, а на троне еще не было Салазара, поразил меня. Еда в маленькой гостинице была превосходная. Огромные подносы с фруктами венчали столы. Разноцветные дома; старые замки со сводчатыми воротами; безобразные соборы, подобные скорлупе, которую бог покинул много веков назад ради иных краев; игорные дома в старинных дворцах; по-детски любопытная толпа на улицах; потерявшая рассудок герцогиня Браганса, местная блаженная, бродившая по каменистой улочке, а за ней – сотня уличных, бездомных ребятишек, – так меня встретила Европа.

А потом – Мадрид с людными кафе; «простак» Примо де Ривера,<sup>33</sup> дававший первый урок тирании стране, которая потом хорошо узнает, что это значит. Первые мои стихи из книги «Местоительство – Земля» испанцы поняли не сра-

---

<sup>33</sup> *Примо де Ривера-и-Орбанеха* Мигель – испанский генерал, установивший 13 сентября 1923 г. военную диктатуру, просуществовавшую до 28 января 1930 г.

зу, они поняли их потом, когда пришло поколение Альберти,<sup>34</sup> Лорки, Алейсандре,<sup>35</sup> Диего.<sup>36</sup> Тогдашняя Испания для меня была неостанавливающимся поездом, вагоном третьего класса, самым жестким вагоном на свете, который доставил нас в Париж.

Мы растворились в дымящейся толпе Монпарнаса, среди аргентинцев, бразильцев, чилийцев. Венесуэльцев там еще не было в помине, они еще томились, погребенные под владычеством Гомеса.<sup>37</sup> И кое-где можно было встретить первых индусов в длиннополых одеяниях. Моя соседка по столу – индуска, со змейкой, свернувшейся вокруг ее шеи, меланхолически медлительно тянула *café crème*.<sup>38</sup> Наша латиноамериканская колония пила коньяк, танцевала танго и цеплялась к кому не лень – лишь бы затеять свару.

Для нас, провинциальной богемы из Южной Америки, Париж, Франция, вся Европа были на одном пяточке: «Монпарнас», «Ротонда», «Ле Дом», «Ла Куполь» и еще три или четыре кафе. Тогда входили в моду *boîtes*<sup>39</sup> с неграми. Сре-

---

<sup>34</sup> *Альберти* Рафаэль (род. в 1902 г.) – испанский поэт-коммунист.

<sup>35</sup> *Алейсандре-и-Мерло* Висенте (род. в 1900 г.) – испанский поэт «поколения 1927 года».

<sup>36</sup> *Диего* Херардо (род. в 1896 г.) – испанский поэт «поколения 1927 года».

<sup>37</sup> *Гомес* Хуан Висенте (1857–1935) – диктатор Венесуэлы с 1909 по 1935 г.

<sup>38</sup> Кофе со сливками (*франц.*)

<sup>39</sup> Ночные кабачки (*франц.*).



ди латиноамериканцев больше всего было аргентинцев; они оказались самыми задиристыми и самыми богатыми. Бывало, не успеешь глазом моргнуть, как заварилась каша, и четверо гарсонов хватают аргентинца, волокут его меж столиков и с шумом выбрасывают на улицу. Что и говорить, нашим братьям из Буэнос-Айреса не нравилось такое насилие над личностью; случалось, им мяли отутюженные брюки и – что гораздо хуже – портили прическу. В то время парикмахерское искусство было основной отраслью аргентинской культуры.

Сказать по правде, в те первые мои парижские дни – а пролетали они с необычайной быстротой – я не свел знакомства ни с одним французом, ни с европейцем, ни с азиатом, уже не говоря о жителях Африки или Океании. Мы, латиноамериканцы, говорившие по-испански, начиная с мексиканцев и кончая патагонцами, варились в собственном соку, выискивали друг в друге недостатки, не уставая, наговаривали одному на другого, но жить друг без друга не могли. Гватемалец всегда предпочтет общество бродяги-парагвайца и скорее будет самым невообразимым образом убивать время с ним, нежели томиться в компании Пастера.<sup>40</sup>

В те дни я познакомился с Сесаром Вальехо,<sup>41</sup> великим

---

<sup>40</sup> *Пастер* Луи (1822–1895) – французский химик и биолог, основоположник современной микробиологии.

<sup>41</sup> *Сесар Вальехо* (1892–1938) – перуанский поэт.

чоло;<sup>42</sup> его поэзия – хмурая и шершавая, точно шкура дикого животного, по мироощущению ее грандиозно, ей малы обычные человеческие мерки.

Не успели мы заговорить, как тут же вышла неловкость. Мы были в «Ротонде». Нас представили друг другу, и он со своим чистым перуанским выговором сказал:

– Вы – самый большой наш поэт. Вас можно сравнить только с Рубеном Дарио.<sup>43</sup>

– Вальехо, – ответил я, – если хотите, чтобы мы были друзьями, никогда больше не говорите мне такого. Если мы станем обращаться друг с другом как литераторы, из этого ничего не выйдет.

Мне показалось, что я его обидел. Мое антилитературное воспитание вылилось в обычную невоспитанность. Он, в отличие от меня, принадлежал к роду более древнему, роду, прошедшему через времена вице-королевства и знавшему, что такое учтивость. Я заметил, что Вальехо задет, и почувствовал себя неотесанной деревенщиной.

Но потом это прошло. А мы с того дня стали настоящими друзьями. Через несколько лет, когда я снова оказался в Париже, и надолго, мы виделись с ним каждый день. Тогда я познакомился с ним лучше, узнал его близко.

Вальехо был ниже меня ростом, он был тоньше и ко-

---

<sup>42</sup> Чоло – сын белого и индейки.

<sup>43</sup> Рубен Дарио (1867–1916) – никарагуанский поэт, основатель латиноамериканского модернизма.

стистее. В нем больше, чем во мне, сказывалась индейская кровь, у него были очень темные глаза и очень высокий выпуклый лоб. Величавость, сквозившая во всем облике, накладывала некоторую печаль на его красивое, инкского типа, лицо. Он был тщеславен, как всякий поэт, и ему нравилось, когда говорили, что в нем чувствуется кровь аборигенов. Вальехо вскидывал голову, давая мне возможность восхищаться, и говорил:

– Есть во мне что-то, а? – и сам тихонько смеялся над собою.

Его восторги по поводу собственной персоны не походили на те, какие, бывало, обнаруживал Висенте Уидобро, поэт во многом противоположный Вальехо. Уидобро давал пряди волос упасть ему на лоб, закладывал палец за жилет и, выпятив грудь, спрашивал:

– Замечаете, какое сходство с Наполеоном Бонапартом?

Мрачность Вальехо была внешняя: так бывает мрачен человек, долгое время проведенный в потемках, забившись в угол. По натуре он был немного торжествен, и лицо его походило на застывшую маску, почти священную. Но по сути своей, внутри, он был совсем не такой. Я много раз видел (особенно, когда нам удавалось вырвать его из-под каблука жены, француженки, чванливой тиранки, дочери привратника), как он резвился, словно школьник. А потом опять возвращался в прежнее подчинение и становился торжественным.

В один прекрасный день совершенно для всех неожиданно из сумерек Парижа вынырнул меценат, которого мы так ждали и который все никак не появлялся. Это был чилиец, писатель, приятель Рафаэля Альберти, в друзьях же у него были французы и еще полмира. А кроме того – и это главное – он был сыном владельца самой большой в Чили судоходной компании. К тому же – известен своим расточительством.

Этот свалившийся с неба мессия захотел устроить в мою честь праздник и повел всех нас в boote под названием «Кавказский кабачок», который содержали русские белоэмигранты. Стены кабачка были изукрашены национальными костюмами и пейзажами Кавказа. Нас тут же окружили русские женщины или наряженные под русских, в одежде, какую носят крестьянки.

Кондон – а именно так звали нашего хозяина-амфитриона – походил на последнего отпрыска пришедшей в упадок родовитой семьи. Он был хрупок и белокур, без конца требовал шампанского и выкидывал такие колена, подражая казачьим пляскам, каких я никогда более не видывал.

– Шампанского, еще шампанского! – И тут наш бледный хозяин-миллионер рухнул. Он так и остался под столом, заснул мертвым сном, бесчувственный как труп, как кавказец, сраженный медведем.

У нас мороз пробежал по коже. Он не просыпался, как мы ни прикладывали ему ко лбу лед, как ни совали под нос пузырьки с нашатырным спиртом. Видя нашу растерянность

и беспомощность, все танцовщицы нас бросили, осталась только одна. В карманах нашего щедрого хозяина мы не обнаружили ничего, кроме живописной чековой книжки, но чека он в своем положении бесчувственного трупа, разумеется, подписать не мог.

А главный казак из кабачка требовал немедленной оплаты счета и запер входную дверь, чтобы мы не улизнули. Выйти мы могли только одним путем – оставив в залог мой блистательный дипломатический паспорт.

Мы вышли, таща на закорках бездыханного миллионера. С огромным трудом дотащили его до такси, впихнули внутрь и доставили к пышному отелю. Затем передали его с рук на руки двум громадного роста швейцарам в красных ливреях, и те понесли его так, будто это был адмирал, павший на капитанском мостике флагманского корабля.

В такси нас ждала девочка из кабачка – та единственная, что не покинула нас в беде. Мы с Альваро пригласили ее в «Ле Аль» отведать на рассвете лукового супа. Купили ей на рынке цветы, целовали в знак признательности за ее поступок доброй самаритянки и нашли, что она довольно привлекательна. Она не была ни хорошенькой, ни безобразной, но зато у нее был вздернутый, как у истой парижанки, носик. И мы пригласили ее к себе, в нашу жалкую гостиницу. Не терзаясь излишне, она согласилась.

Они с Альваро ушли к нему в комнату. А я, сраженный усталостью, рухнул на постель. Скоро я почувствовал, что

кто-то тормозит меня изо всех сил. Это был Альваро. Меня удивило его лицо – как у помешанного.

– Есть что сообщить, – сказал он. – Женщина – из ряда вон, непостижимо, и в чем дело, не могу объяснить. Ты должен сам сейчас же испытать.

Через несколько минут незнакомка, сонная и снисходительная, была уже у меня в постели. И я убедился, что она и вправду обладала загадочным даром. Это было неопишимо – нечто рождалось в глубинах ее лона и возносило к истокам наслаждения, накатывало и увлекало в святая святых. Альваро был прав.

На следующий день за завтраком, улучив момент, Альваро предостерег меня по-испански:

– Если мы немедленно не оставим эту женщину, все наше путешествие пойдет к черту. Мы потонем с тобой не в море, а в бездонном таинстве ее лона.

Мы решили осыпать ее скромными, бывшими в нашем распоряжении дарами – цветами, шоколадом – и отдать половину оставшихся у нас франков. Она поведала нам, что вовсе не служит в кавказском кабачке: накануне вечером она пришла туда в первый раз. Потом мы все сели в такси. Когда машина оказалась в незнакомом месте, велели шоферу остановиться. Мы прощались с ней, долго и крепко целовали ее, а потом оставили на улице – сбитую с толку, но улыбающуюся.

Больше мы ее никогда не видели.

# Путешествие на Восток

Никогда не забыть мне поезда, который привез нас в Марсель; точно корзина с диковинными фруктами, он был набит до отказа пестрым людом – крестьянками и матросами, – аккордеонами и песнями, которые пели хором, всем вагоном. Мы ехали к Средиземному морю, к воротам света... Был 1927 год. Марсель покорила меня торговой романтикой и Старой Гаванью с крыльями парусов, в которых билось и кипело – у каждого свое – беспокойство.

Пароход компании «Messageries maritimes»,<sup>44</sup> на который мы взяли билеты до Сингапура, был кусочком Франции в открытом море, и на нем была своя *petite bourgeoisie*.<sup>45</sup> которая уезжала из Франции на службу в дальние колонии. Пока мы плыли, кое-кто из команды, заметив у нас пишущие машинки и необходимую в нашем ремесле бумагу, стал просить отстукивать им на машинке письма. И мы под диктовку печатали невероятные любовные послания всей команде для их подружек в Марсель, в Бордо, в деревню. Суть писем матросов не очень занимала, главное, что они были отпечатаны на машинке. Что же касается содержания, то они походили на стихи Тристана Корбьера<sup>46</sup> – грубоватые и в то

---

<sup>44</sup> «Морское пароходство» (франц.).

<sup>45</sup> Мелкая буржуазия (франц.).

<sup>46</sup> Тристан Корбьер (1845–1875) – французский поэт.

же время нежные. Все порты Средиземного моря со всеми их коврами, купцами и базарами были открыты нашему пароходу. В Красном море меня поразили порт Джибути. Выжженные пески, вдоль и поперек искоженные Артюром Рембо;<sup>47</sup> похожие на изваяния африканки с корзинами, полными фруктов; первобытные жилища и сутолока кафе, освещенных неправдоподобными, отвесными лучами... Здесь пили охлажденный чай с лимоном.

Самое главное начиналось в Шанхае ночью. Города с дурной репутацией притягивают так же, как дурные женщины. И для нас, двоих провинциалов, приехавших с другого конца света, пассажиров третьего класса, обремененных лишь жалкой горсткой монет и грустным любопытством, для нас Шанхай тоже разверз свою ночную пасть. Мы обходили одно за другим знаменитые кабаре. Была середина недели, и кабаре пустовали. Вымершие танцевальные площадки, такие огромные, что на них могла бы танцевать сразу сотня слонов, удручали. Из тусклых закоулков неожиданно выныривали тощие – кожа да кости – русские белоэмигрантки и, позевывая, просили угостить их шампанским. Так мы обежали шесть или семь злочных мест, и единственное, что сумели сгубить в этих пагубных местах, – наше время.

Возвращаться пешком на пароход было поздно – он остался где-то за путаницей припортовых улочек. И мы взяли каж-

---

<sup>47</sup> Артюром Рембо (1854–1891) – французский поэт.



дый но рикше. Нам был в диковину такой способ передвижения – человек вместо лошади. Тогдашние китайцы, китайцы 1928 года, бойко трусили и пробегали большие расстояния, впрягшись в повозку.

Начался дождь, он становился все сильнее, и наши рикши тихонько остановились. Очень аккуратно они накрыли повозки непромокаемой тканью, чтобы ни одна капля не замочила наши иностранные носы.

«Ну что за деликатный и старательный народ. Нет, не даром культура их насчитывает две тысячи лет» – так думали мы с Альваро, сидя каждый на своей катящейся вперед повозке.

Однако я почему-то начал беспокоиться. Закупоренный самым тщательным образом со всех сторон, я ничего не видел, но из-за прорезиненной ткани до меня доносился голос моего рикши, издававшего какие-то жужжащие звуки. Вскоре в лад с его босыми ногами рядом по мокрой мостовой зашлепали еще чьи-то ноги. Потом звуки стали глуше, а это означало, что мостовая кончилась. Было ясно: мы оказались на немощенной земле, за пределами города.

Неожиданно мой рикша остановился. Ловко снял ткань, которая защищала меня от дождя. Мы находились за городом, в пустынном месте, парохода нашего не было и в помине. Другой рикша остановился рядом, и Альваро растерянно спустился с сиденья.

– Money! Money!<sup>48</sup> – спокойно твердили семь или восемь стоявших вокруг нас китайцев.

Мой друг сделал движение, будто собирался вынуть из кармана оружие, и в тот же миг последовал удар по затылку. Я повалился назад, но меня подхватили на лету, чтобы я не разбил голову, и мягко опустили на мокрую землю. Они проворно потрошили мои карманы, перетрясли все – рубашку, шляпу, башмаки, носки и галстук, обнаружив при этом жонглерскую ловкость. Меня ощупали с ног до головы и отобрали все до последнего гроша, а это были все наши деньги. Надо отдать им должное, проделали они это с традиционной деликатностью шанхайских грабителей и с благоговейным почтением к нашим бумагам и паспортам.

Потом мы остались одни и побрели к едва видневшимся вдали огонькам. В конце концов мы добрались до сотен других китайцев, которые вели ночную, но честную жизнь. Никто из них не знал ни французского, ни английского, ни испанского, но все хотели помочь нам выйти из беды и все-таки довели до нашей земли обетованной, до нашего рая – нашей каюты третьего класса.

И вот наконец Япония. Мы надеялись, что деньги из Чили, на которые рассчитывали, уже ждут нас в консульстве. А пока, в Йокогаме, пришлось просить приюта в ночлежке для матросов. Спали на скверных матрацах. Окно было выбито,

---

<sup>48</sup> Деньги! Деньги! (англ.).

на улице шел снег, и холод пробирал до костей. Никто на нас не обращал внимания. Накануне, на рассвете, у японских берегов надвое расколосось нефтеналивное судно, и ночлежка наполнилась потерпевшими крушение. Среди них был матрос, баск, он не знал никаких языков, кроме испанского и родного баскского, и рассказал нам, что с ним приключилось: четыре дня и четыре ночи он продержался на воде, уцепившись за обломок судна, а вокруг бушевал огонь – горела нефть. Потерпевшим выдали одеяла и продукты, и баск – добрейшей души парень – взял над нами опеку.

Генеральный же консул Чили – его фамилия была не то Де ла Марина, не то Де ла Ривера – в отличие от того баска не снизошел до нас со своих высот и дал понять незавидность нашего положения – положения людей, оказавшихся на мели. У него совсем не было для нас времени. Вечером он должен был ужинать с графиней Юфу Сан. Императорский двор приглашал его на чай. Или же он был по уши занят изучением царствующей династии.

«Какой тонкий человек император», и тому подобное.

Нет. Телефона у него нет. Зачем ему телефон в Иокогаме? То и дело звонили бы, да еще по-японски. А что касается наших денег, то директор банка, его близкий друг, на этот счет ничего ему не сообщал. Он очень сожалеет, но должен попрощаться. Его ждут на одном торжественном приеме. До завтра.

И так – каждый день. Мы уходили из консульства, и хо-

лод пронизывал нас до костей, потому что после ограбления одежды у нас поубавилось, только и были что жалкие свитера потерпевших крушение.

А в последний день мы узнали, что деньги пришли в Иокогаму еще до нашего прибытия. Банк трижды посылал уведомления сеньору консулу, но этот напыщенный павлин в облике ответственного чиновника не дал себе труда вникнуть в такую малость, посчитав это ниже своего достоинства. (Когда мне случается в газетах прочитать о том, что какой-то консул был убит обезумевшими соотечественниками, я с запоздалым сожалением вспоминаю того высокопоставленного, увешанного наградами деятеля.)

В тот вечер мы отправились в лучшее столичное кафе «Куронко» на Гинзе. В Токио тогда умели поесть, а после недельного поста еда казалась еще вкуснее. В обществе прелестных японских девушек мы поднимали тосты за всех путешественников, которым не повезло и которых развращенные консулы, разбросанные по всему миру, не удостоили своим вниманием.

Сингапур. Мы полагали, что находимся совсем рядом с Рангуном. Какое разочарование! Расстояние, которое на карте укладывалось в несколько миллиметров, на деле превратилось для нас в ужасающую пропасть. Надо было плыть еще несколько дней, и в довершение – единственный пароход, ходивший по этому курсу, ушел в Рангун за день до на-

шего приезда. Нам нечем было платить за гостиницу и не на что было купить билеты. Деньги нас ждали теперь только в Рангуне.

Да! Но ведь для чего-то существует в Сингапуре чилийский консул, мой коллега. Сеньор Мансилья отозвался сразу же. Но постепенно улыбка его сникала, пока не исчезла совсем, уступив место гримасе раздражения.

– Ничем не могу помочь. Обратитесь в министерство!

Напрасно взывал я к чувству солидарности – консула с консулом. Лицо у него было непреклонное, как у тюремщика. Подхватив шляпу, он побежал к дверям, и вдруг меня осенила макиавеллевская идея:

– Сеньор Мансилья, я буду вынужден выступить с лекциями о нашей родине, с платными лекциями – чтобы собрать деньги на билеты. Прошу вас предоставить мне место, переводчика и помочь добиться необходимого разрешения.

Тот побелел:

– Лекции о Чили в Сингапуре? Не позволю. Это моя компетенция, здесь никто, кроме меня, о Чили говорить не может.

– Успокойтесь, сеньор Мансилья, – ответил я. – Чем больше нас будет рассказывать о нашей далекой родине, тем лучше. Не понимаю, почему это вас так раздражает?

Кончилось тем, что мы сторговались – эдакий шантаж на патриотической основе. Дрожа от бешенства, он заставил нас выдать расписки и протянул деньги. Пересчитывая ку-

пюры, мы обнаружили, что в расписках указана сумма, большая, чем та, которую он нам вручил.

– С процентами, – пояснил Мансилья.

(Через десять дней я вышлю ему долг из Рангуна, но, разумеется, без всяких процентов.)

Подплывая к Рангуну, еще с палубы я увидел гигантскую золотую воронку большой пагоды Шуэдагоун. На молу кишела толпа в странных, кричаще-ярких одеждах. Широкая и грязная река впадала тут в залив Мартабан. Название этой реки прекраснее всех на свете: Иравади.

У ее вод начиналась моя новая жизнь.

# Альваро

*...Ну что за человек, не человек, а дьявол этот Альваро... Теперь его зовут Альваро де Сильва... И живет он в Нью-Йорке... Почти всю жизнь провел в нью-йоркских джунглях... Представляю, как он там ест апельсины в самое неподходящее время, сжигает на спичке обертку от сигареты, направо и налево задает ехидные вопросы... Небрежный, рассеянный маэстро, человек блистательного ума, ума въедливого; он-то, наверное, и довел Альваро до Нью-Йорка. Был 1925 год... Как-то в промежутках между чтением Джойса и какой-нибудь незнакомкой, за которой он бросался, роняя на ходу фиалки и желая немедленно затащить в постель, не успев даже узнать, ни как ее зовут, ни откуда она, – он открылся мне и еще многим другим, обнаружив совершенно неожиданное видение мира: этот человек жил в огромном городе, но в своей пещере и вылезал из нее лишь затем, чтобы приобщиться к живописи, музыке, книгам, танцам... И все время он ел апельсины или чистил яблоко, вечно на диете – смотреть тошно – и удивительным образом ко всему причастен; не успели мы глазом моргнуть, а он уже – прямая противоположность нам, провинциалам, такой, какими мы сами мечтаем стать: его чемоданы не облеплены старомодными ярлыками, и он вхож повсюду, но – сам по себе, везде – свой, в любой стране и на любом континенте, в*

любом ночном кабаке и в любом университете, даже там, где на кровле – снег... Он сделал мою жизнь невыносимой... Я, приезжая на новое место, чувствую себя растением, пересаженным в новую почву, мне надо остановиться на одном месте, чтобы пустить корни, – это необходимо, чтобы думать, существовать... А его, Альваро, швыряло из одной затеи в другую. Вот его увлекла идея снимать фильм, и он тут же нарядил нас в мусульманские одежды, и мы должны были нестись на киностудию... Так появились мои фотографии, где я в бенгальском наряде (поскольку я молчал, в табачной лавке в Калькутте решили почему-то, что я из семьи Тагоров), – это мы ходили в студию «Дум-дум», надеясь заключить контракт... А потом мне пришлось срочно удирать, потому что мы не платили за квартиру... А какие медицинские сестры нас любили... И все время Альваро вязывался в потрясающие деловые операции... То он хотел продавать чай из Ассама, то ткани из Кашмира, то часы, то старинные драгоценности... И все это почему-то куда-то девалось... Образцы кашемира, пакетики с чаем он оставлял на столах, забывал на постелях... И, не успев сложить чемодан, оказывался уже в другом месте... В Мюнхене... В Нью-Йорке... Из всех многообещающих, плодовитых, безупречных писателей, каких я знал, этот был самый плодовитый, самый безупречный, самый многообещающий... Но странное дело – он почти никогда не печатался... Не понимаю почему... Утром, еще в постели, зацепив



за горбинку носа очки, он уже стучал на машинке, изводя горы бумаги – любой бумаги, какая попадалась под руку... И однако же эта его подвижность, этот критицизм, эти апельсины, эти его постоянные метания, его пещера в Нью-Йорке, его фиалки, его сложные интриги, которые всем были ясны, и его ясность, такая запутанная и сложная... Не выходило у него книги, которую так ждали... Может, ему было просто неохота... или он никак не мог ее написать... Он так всегда занят... И ему так нечем заняться... Но знает он все на свете и на все смотрит в масштабах континентов, на все взирает своими бесстрашными синими глазами, и до всего ему есть дело, во все он проникает, а вот время, время, – как песок уходит, уходит меж пальцев...

# Лучезарное одиночество

## Тетрадь 4

### Образы джунглей

Я совсем ушел в воспоминания и вдруг – спустился на землю. Меня разбудил шум моря. Я пишу это в Исла-Негра, на самом берегу, неподалеку от Вальпараисо. Едва лишь стих штормовой ветер, который бичом стегал побережье. Океан – не только я вижу его из окна, но и он смотрит на меня тысячами ценных глаз – еще держит в раскате своих волн страшный отголосок бури.

Как давно все это было! Я воскрешаю былое, и образы то нахлынут, словно рокот океанских волн, который убаюкивает, усыпляет, а то вдруг ворвутся, сверкнув клинком. Я подбираю образы былого, не соблюдая хронологии и порядка – так же, как накатывают и отступают океанские волны.

1929 год. Ночь. Я вижу толпу. Это мусульманский праздник. Посреди улицы вырыта длинная траншея, она заполнена раскаленными углями. Я подхожу ближе. Жар углей, прикрытых тончайшей пеленой пепла на алой ленте живого огня, опалает мне лицо. Неожиданно появляется странная фигура. Четверо мужчин в красных одеяниях несут на плечах

существо, у которого лицо размалевано красным и белым. Потом спускают его наземь, и существо идет по углям, при-топывает, выкрикивая:

– Аллах! Аллах!

Пораженный люд замирает, следя за сценой. А маг целым и невредимым проходит всю ленту углей. И тогда от толпы отделяется человек, сбрасывает сандалии и босиком проходит тот же путь. На смену ему один за другим выходят добровольцы. Некоторые останавливаются на середине канавы и с криком «Аллах! Аллах!» пятками топчут огонь, завывая, отчаянно жестикулируя и закатывая глаза к небу. Другие выходят с детишками на руках. И никто не обжигается, а может, и обжигается, только этого не узнаешь.

У священной реки подымается храм богини Кали,<sup>49</sup> олицетворяющей смерть. Мы входим в храм, смешавшись с толпой пилигримов, которые сотнями приходят сюда из глубинных индийских провинций, идут, надеясь завоевать расположение богини. Запуганные, в лохмотьях, они идут, понуждаемые браминами, которые на каждом шагу заставляют их платить. Брамины поднимают одну из семи завес ужасной богини, и в этот самый момент раздается удар гонга, такой оглушительный, будто рушится мир. Пилигримы падают на колени, сложив руки, приветствуют богиню, касаются лбом пола и идут дальше – к следующей завесе. Потом жрецы

---

<sup>49</sup> Кали – одно из имен почитаемой в индуизме «великой богини», воплощающей созидательные и разрушительные силы природы.

сгоняют их всех во двор, где ударом ножа обезглавливают жертвенных козлят, и снова берут с пилигримов подношения. Блеяние животных заглушает удары гонга. Грязные известковые стены до потолка забрызганы кровью. Сама богиня – статуя с темным лицом и белесыми глазами. Из рта спускается до полу алый двухметровый язык. В ушах и на шее – ожерелья из черепов и иных символов смерти. Здесь, прежде чем их вытолкнут на улицу, пилигримы расстаются с последними монетами.

Как отличались от этих покорных пилигримов поэты, которые окружали меня, желая пропеть свои стихи. Опустившись прямо на траву в своих длиннополых белых одеждах, сопровождая себя на тамбуринах, они выкрикивали хрипло и прерывисто слова песни, которую каждый из них складывал в форме и размере древних песнопений – как их сочиняли тысячи лет назад. Но смысл песен изменился. В этих песнях не было чувственности, они не воспевали радости жизни, это были песни протеста, песни голода, песни, написанные в тюрьмах. Многие из тех молодых поэтов, которых я встретил на просторах Индии и чьи сумрачные глаза никогда не забуду, многие из них только что вышли из тюрем и не сегодня-завтра могли снова оказаться за решеткой. Потому что они, эти поэты, восстали против нищеты и против богов. Уж в такое время нам выпало Жить. И это наше время – золотой век мировой поэзии. И вот: новые песни под запретом, они преследуются, а миллионы людей в окрестно-

стях Бомбея из ночи в ночь спят у дорог. У дорог они спят, рождаются и умирают. Нет жилья, нет хлеба, нет лекарств. В таком положении бросила свои колониальные владения цивилизованная, высокомерная Англия. Она не оставила своим древним подданным школ, фабрик, жилищ, больниц, а только тюрьмы да горы бутылок из-под виски.

Еще один светлый образ наплывает в волнах воспоминаний – орангутанг Ранго. В Медане, на Суматре, я, случалось, стучал в двери заброшенного ботанического сада. И каждый раз, к моему изумлению, дверь отпирал мне он. Взявшись за руки, мы шли по дорожке, садились за столик, и он барабанил руками и ногами. И тогда появлялся официант и приносил нам кувшин пива – не большой и не маленький, вполне достаточный для орангутанга и для поэта. В Сингапуре в зоологическом саду мы видели в клетке птицу лиру – она вся светилась и переливалась, сияла красотой, как и должна сиять птица, только что спустившаяся из Эдема. А чуть дальше прохаживалась по клетке черная пантера, от которой еще пахло джунглями, откуда она пришла. Это был кусок звездной ночи, магнитная лента, вся в непрерывном движении, черный упругий вулкан, которому хотелось стереть в порошок мир, сгусток чистой силы, ходившей ходуном; и два желтых глаза, точных, как кинжалы, вопрошали своим огненным блеском и не понимали заточения, не понимали людского рода.

Мы приехали в диковинный храм Змеи близ города Пинанг – раньше это был Индокитай.

Путешественники и журналисты много писали об этом храме. Я не знаю, существует ли он еще, после того как столько войн, разрушений, столько времени и дождей прокатилось по улицам Пинанга. Низкое почерневшее строение под черепичной крышей, изъеденное тропическими дождями, а вокруг – толща банановых листьев. Запах сырости. Аромат франжипани. Мы входим в храм, в полумраке ничего нельзя различить. Только сильный запах курений; и что-то шевелится в стороне. Это потягивается змея. Понемногу мы замечаем, что она не одна, есть и другие. Потом видим, что их десятки. И спустя какое-то время понимаем, что тут сотни, а то и тысячи змей. Есть маленькие, они обвилились вокруг светильников, есть темные, с металлическим отливом, тонкие; все они дремлют и, похоже, сыты. Действительно, повсюду, куда ни глянь, фарфоровые поилки, тарелки с молоком и яйцами. Змеи на нас не глядят. Мы идем узкими лабиринтами храма, задевая их, они у нас над головами, свисают с раззолоченных балок, дремлют на каменной кладке, обвивают алтари. Здесь и страшная змея Рассела: она заглатывает яйцо, а рядом – смертоносные коралловые змеи, пурпурные кольца на их теле оповещают, что яд таких змей действует мгновенно. Я заметил и *fer de lance* и несколько больших питонов, *coluber de rusi* и *coluber noya*. Зеленые, серые, синие, черные

змеи наполняли храм. И полная тишина. Иногда полутьму храма пересекал бонза в одежде шафранного цвета. И казалось, что это не бонза в яркой накидке, а еще одна змея лениво скользит к яйцу или молочной поилке.

Откуда привезли этих змей? Как удалось их приучить? На наши вопросы отвечают с улыбкой, отвечают, что они пришли сами и сами, когда им захочется, уйдут. И в самом деле: двери открыты, и нет ни решеток, ни стекол – ничего, что бы вынуждало их оставаться в храме.

Автобус шел из Пинанга через джунгли и селения Индокитая до Сайгона.<sup>50</sup> Никто тут не понимал моего языка, и я их языка тоже не понимал. На поворотах нескончаемой дороги мы останавливались посреди девственных джунглей, и пассажиры выходили – крестьяне в странных одеждах, с раскосыми глазами, державшиеся с молчаливым достоинством. Всего трое или четверо пассажиров осталось в стойкой колымаге, которая трещала, скрипела и грозила развалиться на куски под знойным ночным небом.

Меня вдруг охватил страх. Где я? Куда я еду? Как случилось, что в эту бесконечную ночь я оказался среди незнакомых людей? Мы ехали через Лаос и Камбоджу. Я вглядывался в непроницаемые лица последних моих спутников. Глаза их были широко раскрыты. И лица показались мне до крайности неприятными. Никаких сомнений: вокруг меня были

---

<sup>50</sup> Ныне – г. Хошимин.

разбойники из восточной сказки.

Они переглядывались между собой и исподтишка бросали на меня взгляды. И вдруг автобус заглох и остановился посреди джунглей. Я решил умереть на своем месте. Я не позволю, чтобы меня вытаскивали из автобуса и приносили в жертву под этими неизвестными мне деревьями, чья мрачная тень скрывает небо. Лучше я умру здесь, на сиденье поломанного автобуса, меж корзин с зеленью и курами в клетках – единственными родными существами в этот жуткий момент. Я оглянулся, намереваясь храбро встретить палачей, и увидел, что они исчезли.

Я долго ждал, один-одинешенек, и сердце у меня томилось от непроглядной темени чужеземной ночи. Вот я умру, и никто об этом не узнает. Умру так далеко от моей любимой крошечной родины! Вдали от всех, кто меня любит и кого люблю я, вдали от своих книг!

Вдруг показался факел, еще и еще. Вся дорога засветилась огнями. Послышался гул барабана, пронзительные звуки камбоджийской музыки. Флейты, тамбурины, факелы залили все вокруг светом и звуками. В автобус вошел человек и сказал по-английски:

– Автобус сломался. Ждать придется долго, может, до рассвета, а ночлега поблизости нет. Пассажиры отыскивали музыкантов и танцоров, чтобы вам не было скучно.

Несколько часов под сенью деревьев, которые уже не угрожали мне, я смотрел на чудесные ритуальные танцы, рож-



денные благородной и древней культурой, и, пока не взошло солнце, слушал изумительную музыку, разливавшуюся над дорогой.

Поэту нечего бояться народа. Я подумал, что сама жизнь подсказала мне, научила, раз и навсегда дала урок: урок скрытого достоинства, братства, которое нам неведомо, красоты, которая цветет во тьме.

# Конгресс в Индии

Сегодня замечательный день. Мы на сессии Индийского конгресса. Борьба народа за свободу в самом разгаре. Сотни делегатов заполняют галереи зала. Я знаком с Ганди. И с пандитом Мотилалом Неру, он, как и Ганди, – ветеран освободительного движения. Знаком я и с его сыном, элегантным юным Джавахарлалом, недавно приехавшим из Англии. Неру – за независимость, Ганди – за автономию, он считает, что это необходимый шаг. У Ганди тонкое лицо, пронизывающий взгляд, это человек дела, политик, напоминающий наших вожаков-креолов из старшего поколения, мастер по части заседаний во всяких комитетах, мудрый тактик, не знающий усталости. Меж тем как толпа нескончаемым потоком течет мимо и в глубочайшем почтении склоняется, чтобы притронуться к краю его белой туники, выкрикивая: «Ганди-джи! Ганди-джи!», он рассеянно приветствует ее и улыбается, не снимая очков. Он получает и прочитывает все послания, отвечает на телеграммы, и все это легко, без напряжения; это – святой, который не растрчивает себя. Неру – умен и образован, он – академик от революции.

Заметная фигура на этом конгрессе – Субхас Чандра Бос, пылкий оратор, яростный антиимпериалист, один из популярных политических деятелей Индии. Во время японского

нападения<sup>51</sup> он перешел на сторону японцев и выступил против Британской империи.

Много лет спустя здесь же, в Индии, кто-то из друзей рассказал, как пала крепость Сингапур:

– Наше оружие было обращено против осаждавших город японцев. И вдруг мы задали себе вопрос: а почему?... И повернули солдат, повернули оружие против английских войск. Все оказалось очень просто. Японцы были временными захватчиками. А англичане казались вечными.

Субхас Чандра Бос был арестован, его судил британский суд, действовавший в Индии, и приговорил к смерти за измену родине. Сторонники движения за независимость слали многочисленные протесты. В конце концов в результате долгой и упорной тяжбы его адвокат – а им был Неру – добился для Чандры амнистии. С этой минуты Чандра становится народным героем.

---

<sup>51</sup> Речь идет о второй мировой войне.

## Боги в движении

*...Повсюду статуи Будды, господина Будды... Строгие, вытянувшиеся вверх, изъеденные статуи, с позолотой, точно теплый отблеск на теле животного, кое-где потертые, словно они изнашиваются от воздуха... На щеках, в складках туник, на локтях, на пупках, на губах и в улыбках пробиваются, проступают пятнышки: грибы, ноздреватые наросты – следы и испарения джунглей. А бывает, боги возлежат: огромные сорокаметровые каменные статуи из крупнозернистого гранита, бледные фигуры растянулись меж шепчущейся листвы и внезапно возникают в самом неожиданном уголке джунглей – лишь было бы на что взобраться... Спящие и не дремлющие, так и застыли они. а годы идут: века, тысячелетия, тысячи тысячелетий... Вкрадчивые, двусмысленные позы – то ли они собираются уходить, то ли пришли, чтобы остаться... И эта их улыбка – слабая, каменная, эта их словно ничего не весящая величественность, изваянная, однако же, из твердого камня. Вечные и неизменные, кому они улыбаются, кому шлют улыбки над кровоточащей землей?... Чего только не повидали они на своем веку – беглых крестьян, пожары, переодетых солдат и священников, алчных туристов... Все было... А статуя осталась, где стояла, – огромный камень с коленями в складках каменной туники, и взгляд потерянный и все-таки*

существующий, взгляд абсолютно нечеловеческий и все-таки в чем-то человеческий, – может, оттого, что какое-то противоречие закралось в это изваянное по всем канонам изображение, – бог и не бог, камень и не камень застыл тут под тучею черных птиц, посреди шелеста и свиста птиц краснокрылых, в центре птичьего мира джунглей... Невольно на память приходит ужасный Христос испанцев, унаследованное нами изображение в язвах, шрамах и прочих наводящих ужас подробностях, и запах воска, сырости и затхлого, какой всегда бывает в церквах... Тот Христос колебался, выбирая между людьми и богами... И чтобы уподобить его человеку, чтобы приблизить к тем, кто страждет, к тем, кто рождает, к тем, кого обезглавливают, к калекам, к скупцам, к тем, кто в храмах, и к тем, кто толпится вокруг храмов, – чтобы сделать его человечным, статую покрыли вселяющими ужас язвами и, в конце концов, превратили все это в религию мученичества, в религию «грешишь – страдаешь», «не грешишь – тоже страдаешь», «живешь – страдаешь», и этого не минуешь, от этого не уйдешь, не избавишься... А здесь – не так, здесь мир и покой снизошли на камень... Статуи тут восстали против канонов страдания, и на лицах этих колоссальных Будд со скрещенными ногами, богов-великанов – каменная улыбка, улыбка по-человечески умиротворенная, улыбка без страдания... И пахнет от них не затхлостью, не ризницей и не паутиной, а цветущими просторами, вспышками молний, которые вдруг обру-

*шиваются ураганами, вихрями из перьев, листьев, пылицы  
не знающих края джунглей.*

# Незадачливое племя человеческое

Где-то в статьях, посвященных моим стихам, я прочитал, что длительное пребывание на Востоке в определенном смысле повлияло на мою поэзию, и особенно на «Местожиительство – Земля». И правда, последние стихи, написанные мною в то время, были «Местожиительство – Земля», однако же, хотя и не утверждаю этого категорически, относительно влияния, я думаю, все-таки ошибаются.

Весь философский эзотеризм восточных стран при столкновении с реальной жизнью оказывался производной беспокойства, невроза, растерянности и оппортунизма, присутствующих западным странам, другими словами, производной кризиса основ капитализма. В Индии в те годы мало оставалось мест, где можно было бы спокойно предаваться созерцанию собственного пупа. Грубые материальные потребности, условия колониального существования, замешенного на откровенных мерзостях – каждый день тысячами умирали люди от холеры, от оспы, от малярии, от голода, – феодальные институты, огромное население страны и индустриальная неразвитость – все это ожесточало жизнь, и отзвуки мистических умонастроений исчезали.

Почти всегда во главе теософических обществ стояли авантюристы из западных стран, бывало, и родом из Америки – Северной и Южной. Несомненно, среди них были и лю-

ди, искренне верящие, но большинство эксплуатировало дешевый рынок, где оптом продавались экзотические амулеты и фетиши в метафизической обертке. У этой публики с языка не сходили дхарма<sup>52</sup> и йога.<sup>53</sup> Они без ума были от этой религиозной гимнастической процедуры, настоянной на тщеславии и пустословии.

Вот почему Восток поразил меня, представ моим глазам огромным и невезучим людским родом, но в глубинах моего сознания не нашлось места ни для его ритуалов, ни для его богов. И не думаю, чтобы в моей поэзии того времени нашло отражение что-то, кроме одиночества чужака, пересаженного в диковинный и жестокий мир.

Помню одного туриста в оккультные науки, он был вегетарианец и проповедник. Среднего возраста, низенький, сияющий лысиной, с пронизательным и циничным взглядом ясных голубых глаз; фамилия его была Пауэрс. Он прибыл из Северной Америки, из Калифорнии, и исповедовал буддизм. Все свои сообщения на эту тему он неизменно заканчивал следующим диетическим напутствием: «Как говорил Рокфеллер, в пище следует довольствоваться одним апельсином в день».

Этот Пауэрс понравился мне своей веселой непринужденностью. Он говорил по-испански. После лекции мы шли с

---

<sup>52</sup> Дхарма – в древней и средневековой Индии философское понятие, обозначавшее закон, долг, справедливость.

<sup>53</sup> Йога – учение и метод управления психикой и психофизиологией человека.



ним и наедались до отвала жареной баранины (кебаб) с луком. Он был теолог-буддист (не знаю, с дипломом или без диплома), но прозорливость его была гораздо более естественной, чем все то, что он проповедовал.

Довольно скоро он влюбился в девушку-полукровку, которой вскружили голову его смокинг и его теории; это была анемичная девица со скорбью в глазах, она считала его богом, живым Буддой. Так начинаются все религии.

Эта любовь длилась несколько месяцев, и как-то он пришел звать меня в гости – он снова женился. На мотоцикле, который ему выдала торговая фирма, где он служил продавцом холодильников, мы мчались, оставляя позади леса, храмы, рисовые поля. Наконец мы добрались до маленького селения; постройки в селении были в китайском стиле, а сами жители – китайцы. Они встретили Пауэрса фейерверком и музыкой, а юная невеста с размалеванным белой краской лицом – точь-в-точь идол – не двинулась со стула, который стоял гораздо выше всех остальных. Мы пили под музыку разноцветные лимонады. И ни разу Пауэрс и его новая супруга не обменялись ни единым словом.

Потом мы вернулись в город. Пауэре мне объяснил, что это такой обычай – свадьба касается только невесты. Церемония продолжится, и ему вовсе не обязательно на ней присутствовать. А потом, позже, он может приехать сюда и жить с этой женщиной.

– А вы понимаете, что, по существу, это полигамия? –

спросил я его.

– Моя другая жена знает об этом и будет только рада, – ответил он.

В этом его утверждении было столько же правды, сколько в рассуждении об одном апельсине в день. Однажды, придя к нему домой, где жила его первая жена, мы застали страждущую метиску в предсмертной агонии – на ночном столике у постели были чашка с ядом и прощальное письмо. Ее смуглое тело, совершенно нагое, неподвижно вытянулось под москитной сеткой. Агония длилась несколько часов.

Я остался с Пауэрсом, несмотря на то что он становился мне противен, остался, потому что видел: он страдал. Похоже, циник, сидевший в нем, пошатнулся. Я пошел с ним и на погребение. На речном берегу мы сложили поленницу дров и поставили на нее дешевый гроб. Шепча ритуальные слова на санскрите, Пауэре стал спичками поджигать поленья.

Несколько музыкантов в оранжевых туниках то и дело отрывались от молитв и заунывно дудели в свои инструменты. Костер все время гас, не успев разгореться, и приходилось заново разжигать его. Река равнодушно текла мимо. Вечно синее небо Востока тоже было совершенно безразличным, его ничуть не трогали грустные и безлюдные похороны несчастной брошенной женщины.

Раз в три месяца мне приходилось выполнять официальные обязанности – когда из Калькутты приходил корабль с твердым парафином и огромными ящиками чая для Чили.

Я лихорадочно ставил печати и подписи на Документах. А потом снова наступали три месяца бездеятельности, я бродил в одиночестве, созерцая храмы и базары. Это была самая скорбная пора в моей поэзии.

Моей религией была улица. Бирманская улица, китайские поселения с их театрами под открытым небом, бумажными драконами и великолепными фонариками. Индусская улица гораздо беднее, и храмы на ней – источник дохода для касты жрецов, а за стенами храмов – бедный люд, павший ниц в грязь. И базары, где листья бетеля возвышаются пирамидами, точно малахитовые горы. В одних лавках продают птиц, в других – зверей. По извилистым улочкам шествуют стройные бирманки с сигарой во рту. Все это меня захватывало, и постепенно я с головой ушел в эту завораживающую жизнь.

Все население Индии разделено на касты, словно параллелепипед, сложенный из пластов, где наверху восседают боги. Англичане тоже придерживались кастовой иерархии, которая у них начиналась с приказчика в лавке, затем следовали специалисты и представители интеллигенции, потом шли те, кто занимался экспортом, и на вершине этой конструкции удобно расселись аристократы из Сивил сервис<sup>54</sup> и британские банкиры.

Эти два мира не соприкасались. Местные жители не имели доступа в заведения, предназначенные для англичан, а ан-

---

<sup>54</sup> Сивил сервис – Гражданская служба – институт британской колониальной власти в Индии.

гличане жили вне биения живой жизни страны. Из-за этого, случалось, я попадал в трудное положение. Мои британские друзья увидели меня однажды в экипаже, называвшемся *gharry*,<sup>55</sup> и очень любезно предупредили меня, что консул, каковым я являюсь, ни в коем случае не должен пользоваться этим средством передвижения, – экипаж этот использовался и для мимолетных любовных свиданий на ходу. Кроме того, они сообщили, что мне не следует бывать в персидском ресторанчике, а именно там жизнь была ключом, и нигде в мире нет такого замечательного чая, какой я пил там из крошечных прозрачных чашечек. Это были их последние уведомления. Потом они перестали здороваться со мной.

Бойкот... Я почувствовал себя счастливым. Эти европейские предрассудки не стоят и разговоров, и потом, я приехал на Восток не для того, чтобы уживаться с временными колонизаторами, но затем, чтобы быть вместе с этим огромным неудачливым людским племенем и понять древний дух этого мира. Я настолько вник в душу и жизнь народа, что даже влюбился в местную девушку. Она одевалась, как англичанка, и звали ее Джози Блисс. Но у себя дома – а очень скоро он стал своим и для меня – она сбрасывала это платье и это имя и носила ослепляющий саронг<sup>56</sup> и свое бирманское имя, которое хранила в тайне от всех.

---

<sup>55</sup> Повозка (англ.)

<sup>56</sup> Саронг – мужская и женская одежда индонезийцев и малайцев: кусок ткани, которым обертывают нижнюю половину тела.

## Танго вдовца

Моя личная жизнь осложнилась. Сладостная Джози Блисс стала замыкаться в себе и ревновать меня болезненно и бурно. Не будь этого, кто знает, может, я бы оставался с ней еще бесконечно долго. Я испытывал нежность к ее босым ногам и к белым цветам, которые сверкали в ее темных волосах. Но темперамент доводил ее до диких вспышек. Она ревновала, она ненавидела даже письма, которые приходили мне изда-лека; она прятала телеграммы, не вскрыв их, она ревновала даже к воздуху, которым я дышал.

Иногда я просыпался оттого, что на меня падал луч света, и я видел: за москитной сеткой двигался призрак. Это была она – вся в белом, ходила вокруг меня с длинным и острым ножом в руке. Ходила так часами около постели, не решаясь меня убить. «С твоей смертью, – говорила она, – кончатся все мои страхи». А на следующий день совершала таинственные обряды, которые должны были сохранить мою верность.

В конце концов она бы меня убила. Но тут, к счастью, я получил официальное извещение о переводе на Цейлон. Я готовился к отъезду тайком и в один прекрасный день, оставив все свои вещи и книги, вышел из дому, как обычно, сел на пароход, и тот увез меня за тридевять земель.

Я причинил Джози Блисс, этой бирманской пантере, величайшее горе. Едва пароход тронулся по волнам Бенгаль-

ского залива, я принялся писать поэму «Танго вдовца» – горестные стихи, посвященные женщине, которую я потерял и которая потеряла меня из-за того, что в ее крови без устали клочотал вулкан ярости. Как огромна ночь, как одинока земля!

## Опий

*...Целые улицы отведены опию... На низеньком настиле растянулись курильщики... В Индии – это целая религия... Тут нет никакой роскоши – ни ковров, ни шелковых подушек... Струганные некрашенные доски, бамбуковые трубки с чашечками из китайского фаянса... Обстановка строгая и даже суровая – не то что в храмах... Люди в забытии – ни шума, ни движения... Я курил такую трубку... Ничего особенного... Удушливый, жиденький, молочный дымок... Я выкурил четыре трубки, а потом пять дней чувствовал себя больным, меня мутило, тошнота накатывала то со спины, то сверху – от головы... И ненависть к солнцу, к самому существованию... Так наказывает опий... Но не может быть, чтобы только это – и ничего больше. Столько об этом говорено, столько написано, как старательно потрошат чемоданы и саквояжи на таможенных, ища этот яд, этот знаменитый священный яд... Надо было преодолеть отвращение... Я должен был узнать, что же это такое – опий, понять его и дать о нем свидетельские показания. Я выкурил много трубок, пока не понял... Нет прекрасных грез, нет чарующих образов, никаких пароксизмов... Просто расслабленность, какая-то певучая расслабленность – словно нежная, тихая нота звучит, не обрываясь, вокруг... И все плывет, а внутри тебя – будто пустота... Любое движение –*

локтем, головой, любой донесшийся издали звук – скрип повозки, гудок машины или просто крик с улицы становятся частью этого овладевшего тобой состояния: наслаждения-покоя... Я понял, почему сезонные рабочие с плантаций, поденщики, рикиши, которые день-деньской тянут ляжку, почему они приходят и остаются здесь, одурманенные, неподвижные... Опиум – вовсе не рай, который так расписывали мне любители экзотики, опиум – это бегство, это лазейка: уйти от жизни, где тебя эксплуатируют... Здесь, в курильне, все сплошь бедняки... Нет здесь вышитых подушек, нет богатства... Ничто здесь не блещет, не сверкает, не блестят даже полузакрытые глаза курильщиков... Спят они или просто отдыхают?... Этого я так и не узнал. Не слышно разговоров... Здесь никто никогда не разговаривает... Ни мебели, ни ковров – ничего... На стершихся нарах, гладко отшлифованных – столько людей их касалось, – маленькие деревянные изголовья... И ничего больше, только тишина, запах опиума, удивительно омерзительный и могущественный... Несомненно, тут начинается путь к гибели. Владельцами опиума были колонизаторы, угнетатели, а предназначался он угнетенным. На двери каждой курильни – утвержденный преискуронт, у каждой свой номер и патент. А внутри – великая мутная тишина, оцепенение, которое умертвляет беду и снимает усталость... Удушливая тишина, отстой стольких искалеченных мечтаний, которые осели тут на веки вечные... Вот они, эти люди, грезят,



*прикрыв глаза, погрузившись на час в толщу морских глубин, в неизбывную ночь на вершине холма, пусть всего на час, но им доступно хрупкое и сладостное наслаждение покоем...*

*Больше я никогда не ходил в курильни... Я уже знал... Я понял... Нащупал неуловимое... то, что испокон веков прячется в этом дыму...*

# Цейлон

Цейлон – самый прекрасный в мире огромный остров – до 1948 года был такой же колонией, как Бирма и Индия. Англичане, словно в крепости, замкнулись в своих кварталах и клубах, а вокруг бурлила жизнь: несметная толпа музыкантов, гончаров, ткачей, рабов с плантаций, монахов в желтых одеждах и великое множество богов, высеченных в скалах.

Я не нашел себе места ни среди англичан, каждый вечер надевавших смокинги, ни среди индусов – их было так невероятно много, что не разобраться, – и остался один; в моей жизни это была пора глухого одиночества. И в то же время это была пора озарения, как будто молния невиданного блеска задержалась у моего окна и разом осветила очертания и глубины моей судьбы.

Я жил в маленьком, недавно построенном бунгало, в предместье Велавата,<sup>57</sup> у самого моря. Это было безлюдное место. океанские волны бились о прибрежные рифы. Ночью музыка моря звучала громче.

Каждое утро я дивился чуду свежеумытой природы. Спо-заранку шел к рыбакам. Рыбачьи суденышки, окруженные продолговатыми поплавками, казалось, запутались в морской паутине. Рыбаки выбирали сети с яркой рыбой – разноцветной, как птицы безбрежных джунглей, темно-синей,

---

<sup>57</sup> Велавата – предместье Коломбо.

фосфоресцирующей, точно живой бархат, – или весь в колючках шар, который на глазах опадал и превращался в жалкий мешочек с шипами.

Я с ужасом наблюдал, как убивали эти сокровища моря. Бедный люд покупал рыбу кусками. Ударом ножа кромсали божественную материю морских глубин, обращая ее в кровавый товар.

Я брел по берегу и приходил туда, где купались слоны. Мой пес безошибочно приводил меня к месту. Над спокойной водой появлялся неподвижный серый гриб, который превращался в змею, а потом – в огромную голову и, наконец, в гору с бивнями.

Нет другой страны в мире, где бы столько слонов работало на строительстве дорог. Странно было видеть их не в цирке и не за оградой зоосада, а с грузом, с огромными бревнами, точно это были гигантские работающие поденщики.

Единственными моими товарищами в ту пору были пес и мангуста. Мангуста попала ко мне прямо из джунглей. Она росла у меня на глазах, спала со мной в одной постели и ела за одним столом. Невозможно даже представить себе, как пежна мангуста. Крошечный зверек знал каждый миг моего существования – она разгуливала по моим бумагам и с утра до ночи ходила за мной по пятам. В час послеобеденной снесты мангуста сворачивалась клубочком у меня на плече, у самой головы, и засыпала чутким, тревожным сном дикого зверя.

Моя прирученная мангуста прославилась на всю округу. О том, как храбро бьется мангуста с ужасными кобрами, ходят легенды. Я думаю – а мне но раз случилось видеть такие сражения, – мангусты побеждают только благодаря проворству и густой пушистой шерсти цвета соли с перцем, которая сбивает с толку ядовитое пресмыкающееся. На Цейлоне считают, что после такой битвы со смертельным врагом мангуста уходит искать травы-противоядия.

Во всяком случае, так велика была слава этой мангусты, всегда сопровождавшей меня в долгих прогулках по берегу, что однажды все окрестные ребятишки собрались у моего дома. На нашей улице появилась страшная змея, и они пришли требовать Кирию, мою мангусту, и уже предвкушали ее блистательную победу. Взяв мангусту на руки, я отправился во главе восторженной ватаги тамильских и сингальских ребятишек, одетых лишь в набедренные повязки.

Змея оказалась наводящей ужас черной поллонгой, или змеей Рассела, укус которой смертелен. Она грелась на солнышке в траве, раскинувшись на белой трубе – точно бич на снегу.

Мой кортеж замер в молчании. Я двинулся к трубе. Не дойдя до змеи двух метров, я выпустил мангусту. Кирия почуяла опасность и медленно направилась к змее. И я, и мои спутники затаили дыхание. Сейчас начнется великая битва. Змея свернулась в спираль, подняла голову, открыла зев и устремила свой гипнотизирующий взгляд на зверька.

Мангуста продолжала наступать. Оставалось всего несколько сантиметров до пасти чудовища, и вдруг мангуста поняла, что сейчас произойдет. Одним скачком она рванула назад и стремглав кинулась прочь – и от змеи, и от зрителей. Она мчалась без передышки до самой моей спальни.

Так тридцать лет назад в предместье Велавата я потерял свой авторитет.

Как-то сестра принесла тетрадь с моими старыми стихами, написанными в 1918 и 1919 годах. Читая их, я не мог не улыбнуться детской и юношеской скорби и несколько литературному чувству одиночества, которые характерны для моего творчества ранних лет. Молодой человек не может писать, если ему не знакомо пронзительное – пусть даже искусственное – ощущение одиночества, точно так же как зрелый писатель ничего не сможет сделать, если он не способен чувствовать людскую общность, если он не ощущает себя частью целого.

В Велавате в те дни я познал настоящее одиночество. Я спал на походной раскладной койке, как солдат, как путешественник. А всего и было у меня: стол, два стула, моя работа, мой пес, моя мангуста, и еще мое общество делил бой – мальчик, который мне прислуживал днем, а ночевать ходил к себе в селение. Собственно говоря, едва ли можно сказать, что этот мальчик делил со мной общество: положение восточного слуги обязывало его быть молчаливее тени. Звали

его – а может, и сейчас еще зовут – Брампи. Мне нечего было ему даже приказать, у него всегда все было готово: еда уже подана, одежда уже отутюжена, бутылка виски – уже на веранде. Можно было подумать, что у него нет языка. Он только и знал – улыбаться, обнажая огромные лошадиные зубы.

Мое тогдашнее одиночество было вовсе не литературной категорией – оно было жестоким и непреодолимым, как тюремная стена, и можно было биться о него головою, плакать и кричать, все равно никто бы не пришел на помощь.

Я понимал, что где-то там, за голубой завесой воздуха, за золотистыми песками, за первозданными джунглями с их змеями и слонами, где-то там были сотни и тысячи людей, и эти люди пели и трудились у моря, разводили огонь, обжигали посуду; были там и пылкие женщины, они спали нагими на тонких циновках при свете огромных звезд. Но как приблизиться к этому трепещущему миру, чтобы тебя не приняли за врага?

Понемногу я узнавал остров. Однажды вечером я пробирался по темным улицам Коломбо – меня пригласили на званый ужин. И вдруг из одного неосвещенного дома до меня донесся голос – пел не то ребенок, не то женщина. Я остановил рикшу. У самой двери меня обдало волной запахов, которых не спутаешь ни с чем: запахи жасмина, пота, кокосового масла, франжипани и магнолии смешались в один, особый цейлонский запах. Меня пригласили войти; темные лица людей сливались с теменью и ароматом ночи. Я тихо

опустился на циновку, а таинственный человеческий голос – не то женщины, не то ребенка, – который заставил меня свернуть с пути, дрожал и плакал в темноте, он то несказанно взвивался, то вдруг обрывался и падал, становясь темнее ночи, то, захватив пряный аромат франжипани, вскидывал вверх арабески и тут же обрушивался всем своим хрустальным весом, словно коснулся верхушкой прозрачной струи самого неба, и осыпался на цветущие заросли жасмина.

Я долго сидел так, застыв, замороженный перестуком барабанов и колдовством этого голоса, а потом поехал дальше, опьяненный таинством непонятого чувства и ритмом, загадка которого таилась в самой земле. В звонкой земле, обернутой в тени и запахах.

Англичане уже сидели за столом, все, как один, в черно-белом.

– Прошу меня простить. Задержался в дороге – слушал музыку, – извинился я.

Они, прожившие на Цейлоне по двадцать пять лет, изобразили приличествующее случаю изумление. Музыка? Разве у местного населения есть музыка? Они этого не знали. Первый раз слышали.

Эта чудовищная пропасть между английскими колонизаторами и широким миром азиатских народов так никогда и не исчезла. И всегда означала бесчеловечную изоляцию и полное незнание жизни этих людей и тех ценностей, которые есть у них.

Были и исключения, их я научился распознавать позднее. Например, один англичанин из «Клуб-Сервис» вдруг влюбился безумно в красавицу индуску. Его тут же выкинули с работы. Соотечественники чурались его как прокаженного. Было и такое: колонизаторы приказали сжечь хижину одного сингальского крестьянина, намереваясь согнать того с места, а землю присвоить. Англичанин, которому приказали спалить хижину, был скромным служащим. Звали его Леонард Вульф. Он отказался выполнить приказ и за это потерял работу. Возвратись в Англию, Вульф написал одну из лучших книг, какая когда-либо была написана о Востоке: «A Village in the Jungle»,<sup>58</sup> замечательную книгу о жизни, как она есть. И это настоящая литература. Книге этой несколько, а точнее, сильно помешала слава жены Вульфа, которая была не кем иным, как Вирджинией Вульф, писательницей-субъективисткой с мировым именем.

Понемногу непроницаемая оболочка разрывалась, и у меня появились друзья, не много, но хорошие. Я увидел, что дух колониализма заразил и молодежь, особенно в области культуры, и что у них с языка не сходят последние книги, вышедшие в Англии. Я познакомился с пианистом, фотографом, критиком и кинематографистом Лайонелем Вендтом, который был центром местной культурной жизни, пульсировавшей на фоне предсмертных хрипов империи и незрелых еще размышлений о самобытных ценностях цейлонской

---

<sup>58</sup> «Деревня в джунглях» (англ.).



культуры.

У этого Лайонеля Вендта была большая библиотека, и он получал из Англии все книжные новинки. Вендт завел экстравагантный и добрый обычай: раз в неделю посылать ко мне на дом – а я жил далеко от города – велосипедиста с мешком книг. Таким образом, я прочел километры английских романов, и среди них «Любовника леди Четтерлей»,<sup>59</sup> в первом, частном издании, выпущенном во Флоренции. Книги Лоуренса поразили меня своим поэтическим настроем и тем жизненным магнетизмом, каким окружены у него сокровенные отношения между людьми. Но очень скоро я понял, что, несмотря на свой гений, он потерпел поражение – как и очень многие большие английские писатели – из-за педагогического зуда, которым был одержим. Д.-Г. Лоуренс словно читал лекцию о сексуальном воспитании, а это не имеет ничего общего с нашим стихийным познанием жизни и любви. В конце концов он стал мне просто скучен, что, однако, ничуть не уменьшило моего восхищения его мученическими поисками в сфере мистико-сексуальных отношений, поисками, которые доставляли тем больше страданий, чем бесполезнее они были.

Среди воспоминаний о Цейлоне сохранилось еще одно – ловля слонов.

---

<sup>59</sup> «Любовник леди Четтерлей» – роман английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса (1887–1930).

В одной местности развелось множество слонов, они совершали разрушительные набеги на селения и плантации. Больше месяца крестьяне – факелами, кострами, звуками барабанов – гнали вдоль реки стада диких слонов в джунгли. Днем и ночью костры и барабаны не давали покоя огромным животным, и они широкой, точно река, лентой двигались в северо-восточную часть острова.

Там был сооружен загон. Часть леса огородили. Я видел, как по узкому коридору меж оград прошел первый слон и почуял, что он в ловушке. Но было поздно. Следом за ним по этому же коридору наступали сотни других, и обратно пути не было. Огромное стадо – голов в пятьсот – оказалось в загоне: дальше нельзя и отступить некуда.

Самые сильные самцы двинулись к изгороди, чтобы разломать ее, но изгородь ошетибилась бесчисленными копьями, и слоны остановились. Потом они отступили к середине загона, закрывая собою самок и детенышей. Забота и организованность слонов в защите потомства – трогательны. Слоны издавали тревожные крики, похожие на ржание и трубный глас одновременно, и в отчаянии с корнем вырывали молодые деревца.

Тут верхом на больших прирученных слонах в загон въехали укротители. Два прирученных слона действовали, как заправские полицейские. Они становились по обе стороны плененного животного и били хоботами, пока тот не замирал в неподвижности. Тогда охотники толстыми веревками при-

вязывали заднюю ногу слона к крепкому дереву. И так они покорили всех – одного за другим.

Слон, оказавшийся в неволе, много дней отказывается от пищи. Но охотники знают слабость слонов. Некоторое время они дают им попоститься, а потом приносят слонам их любимые почки и побеги, слоны на воле делают огромные переходы по джунглям в поисках этих растений. И слон сдается – ест. А значит, он укрощен. Теперь можно обучать его тяжелым работам.

# Жизнь в Коломбо

На первый взгляд в Коломбо не было и признака революционного брожения. Политический климат там был не тот, что в Индии. Казалось, все было гнетуще спокойно. Страна давала англичанам лучший в мире чай.

Вся страна была разделена на секторы, или районы. За англичанами, которые располагались на вершухе пирамиды и жили в огромных, окруженных садами резиденциях, шел средний класс, напоминавший средний класс южноамериканских стран. Они назывались burghers<sup>60</sup> и происходили от древних boers<sup>61</sup> – голландских поселенцев с юга Африки, которые появились на Цейлоне во время колониальных войн прошлого.

За ними шло многомиллионное население сингалов, исповедовавших буддизм и христианство. А в самом низу – и за работу им платили хуже всех – находились миллионы индусов, пришедших с юга Индии, говоривших на тамильском языке и исповедовавших индуизм.

В так называемом «обществе», жизнь которого разворачивалась в роскошных клубах Коломбо, первенство оспаривали два выдающихся сноба. Один – французский псевдодворянин граф Мони, и у него были свои адепты. Другой

---

<sup>60</sup> Бюргеры (*англ.*).

<sup>61</sup> Буров (*англ.*).

– элегантно-небрежный поляк, мой знакомый, Винзер, и в некоторых салонах он был вершителем мнений. Это был человек, несомненно, одаренный, довольно циничный и знавший все на свете. У него была любопытная должность – «хранитель культурных и археологических сокровищ», и когда я однажды поехал вместе с ним в одну из его служебных командировок, для меня это было настоящим откровением.

В результате раскопок на свет вновь появились два изумительных древних города, некогда поглощенных джунглями: Анурадапура и Поллонарува. Вновь сверкали под слепящим цейлонским солнцем колонны и галереи. Все, что поддавалось транспортировке, тщательно паковалось и отправлялось в Лондон, в Британский музей.

Мой приятель Винзер не делал ничего дурного. Он приезжал в отдаленные монастыри и с полного согласия буддийских монахов вывозил на казенном грузовике изумительные изваяния, насчитывавшие тысячи лет, которые затем держали путь в музеи Англии. Надо было видеть удовлетворенные лица монахов в шафрановых одеждах, когда Винзер в порядке возмещения за изъятую древность оставлял им размалеванные фигурки Будды из японского целлулоида. Они взирали на них с почтением и водружали на те самые алтари, где до того многие века улыбались статуи из яшмы и гранита.

Мой приятель Винзер был превосходным продуктом империи, его породившей, другими словами, элегантным мерзавцем!

Моя насыщенная солнцем жизнь осложнилась. Неожиданно приехала и обосновалась напротив моего дома моя бирманская любовь – порывистая Джози Блисс. Добралась до меня со своей далекой родины. Она приехала с мешком риса за плечами – поскольку думала, что рис есть только в Рангуне, – с нашими любимыми пластинками Поля Робсона и свернутым в трубу длинным ковром. Стоя в дверях своего дома, напротив моего, она следила, кто ко мне приходит, и осыпала оскорблениями, а иногда и нападала на этих людей. Бешеная ревность пожирала Джози Блисс. Джози угрожала поджечь мой дом и, помню, однажды набросилась с длинным ножом на прелестную девушку-европейку с примесью азиатской крови за то, что та пришла ко мне в гости.

Полиция сочла, что присутствие Джози, не поддававшейся никакому контролю, возмущает спокойствие нашей всегда прежде тихой улочки. И мне сказали, что выдворят ее из страны, если я не возьму Джози к себе. Я промучился несколько дней, разрываясь между нежностью, которую внушала мне ее незадачливая любовь, и ужасом, который внушала она сама. Я не мог впустить Джози к себе в дом. Эта террористка на любовной почве была способна на все. Наконец в один прекрасный день Джози решила уехать. Она умолила меня проводить ее на пароход. Когда пароход почти отчаливал и мне пора было уходить, Джози вырвалась из рук сопровождавших ее людей и в порыве горя и любви принялась осыпать меня поцелуями, заливая мне все лицо слезами.

Будто совершая обряд, она целовала мне руки и одежду, а потом вдруг опустилась к моим ногам, и я даже не успел помешать ей. Когда же Джози снова поднялась, лицо ее, точно мукой, было выпачкано мелом от моих белых туфель. Я не мог сказать ей, чтобы она не уезжала. Я не мог сказать ей: не уезжай, пойдем со мной, прочь с этого парохода, который увозит тебя навеки. Рассудок не позволил мне этого сделать, но на сердце остался шрам, который так никогда и не зажил. В моей памяти навсегда останется ее безудержное горе и слезы, которые в три ручья катились по перепачканному мелом лицу.

Я почти закончил первую книгу «Местоительство – Земля». Но работа продвигалась медленно. Я был отрезан от привычного мира и известий оттуда не получал, а в мир, который окружал меня, никак не мог по-настоящему войти.

Естественными эпизодами книги стало то, из чего складывалась моя, словно подвешенная в пустоте, жизнь: книга писалась «гораздо больше кровью, чем чернилами». Но стиль у меня оттачивался, и не умолкавшая, почти навязчивая грусть дала книге крылья. Правда жизни и манера письма (а именно из этой муки печется хлеб поэзии) наполнили горечью мою книгу, и эта горечь начинала разъедать и меня самого. Потому что стиль – то, как человек пишет – это не только он сам, но и то, что его окружает, и если эта атмосфера не войдет в стихи, то стихи останутся мертвыми, мертвыми потому, что воздух жизни не наполнит легкие поэзии.

Никогда в жизни я не читал так много и с таким удовольствием, как тогда, в окрестностях Коломбо, где я долго прожил в одиночестве. Время от времени я перечитывал Рембо, Кеведо, Пруста. Книга «По направлению к Свану» заставила меня снова пережить треволнения, любовь и ревность, какие я испытал подростком. И я понял, что музыкальная фраза из сонаты Вентейля, которую Пруст называл «воздушной и благоуханной», не только описана изысканнейшим образом, но в ней заключена отчаянная страсть.

Мне тогда в моем одиночестве надо было найти эту музыку и услышать ее. С помощью моего друга, музыканта и музыковеда, мы пустились в исследование и обнаружили, что Вентейль Пруста был составлен из Шуберта, Вагнера, Сен-Санса, Форе,<sup>62</sup> д'Энди<sup>63</sup> и Сезара Франка.<sup>64</sup> Мое музыкальное образование было позорно скверным, и я не знал почти никого из них. А то, что они создали, было для меня черным ящиком. Мое ухо воспринимало лишь ярко выраженную мелодию, да и то с трудом.

В конце концов, преуспев в изысканиях скорее литературного свойства, чем музыкального, я достал альбом из трех пластинок с сопатой для скрипки и фортепиано Сезара Франка. Без сомнения, там была фраза Вентейля. Там, нече-

---

<sup>62</sup> *Форе* Габриель Юрбен (1845–1924) – французский композитор.

<sup>63</sup> *д'Энди* Венсан (1851–1931) – французский композитор, дирижер, органист, педагог.

<sup>64</sup> *Сезар Франк* Огюст (1822–1890) – французский композитор и органист.



го и сомневаться.

Мой интерес был чисто литературным. Пруст, величайший поэт-реалист, в своей критической хронике агонизирующего общества, которое он любил и ненавидел, с огромным удовольствием говорит о различных произведениях искусства – о картинах и соборах, об актрисах и книгах. И хотя его пронизательность озаряет все, чего бы он ни коснулся, он особо отмечает очарование этой сонаты и ее все время возрождающейся темы, он пишет об этом так проникновенно, как ни о чем другом. Его слова заставили меня вспомнить собственную жизнь, прочувствовать ощущения, затерявшиеся во мне, вновь пережить то, чего, я считал, во мне уже нет. В этой музыкальной теме мне хотелось видеть магию литературного дарования Пруста, и я унесся или дал себя унести на крыльях музыки.

Тема начинается значительно, словно бы возникая из тени, а потом срывается на хрип, затягивая, осложняя собственную агонию. Она возводит свою тоску подобно готическому зданию, и волюты,<sup>65</sup> увлекаемые ритмом, бессчетно повторяют ее, вознося на одном дыхании, словно единую, пущенную вверх стрелу.

Рожденная в скорби фраза идет к триумфальному разрешению, но и взлетев вверх, она не отказывается от породившего ее, растревоженного тоскою начала. Она взвивается патетической спиралью, а хмурая партия рояля аккомпаниру-

---

<sup>65</sup> Волюта – здесь: движение по спирали

ет умиранию и новому возрождению темы. Мрачноватая камерность фортепьяно оттеняет рождающуюся змейку мелодии, пока любовь и скорбь не сольются в победе, равной агонии.

Я ничуть не сомневался, что это была та самая тема, та самая соната.

Темень резко, как удар кулака, падала на мой дом, затерявшийся под кокосовыми пальмами Велаваты, но каждую ночь со мною была соната, она вводила меня и обволакивала, делила со мной свою неизбежную тоску, свою всепобеждающую грусть.

Критики, вдоль и поперек переворошившие мои работы, по сей день не заметили этого скрытого влияния, в котором я сейчас сознаюсь, – именно в Велавате я написал большую часть «Местоительство – Земля». И хотя моя поэзия и не «благоуханная», и не «воздушная», а печально земная, мне сдается все-таки, что непрестанно повторяющиеся скорбные мотивы этих стихов внутренне связаны с поэтическим языком музыки, которая в те дни была неразлучна со мной.

Несколько лет спустя, возвратившись в Чили, я на одном из вечеров как-то встретил сразу трех самых крупных молодых представителей чилийской музыки. Это было, по-моему, в 1932 году, в доме Марты Брунет.

В стороне от всех Клаудио Аррау разговаривал с Доминго Санта-Крус и Армандо Карвахалем. Я подошел к ним, они едва взглянули на меня и невозмутимо продолжали беседо-

вать о музыке и музыкантах. Мне захотелось блеснуть перед ними, и я заговорил о той сонате – единственном, что я знал.

Они рассеянно посмотрели на меня и ответили свысока: – Сезар Франк? Почему именно Сезар Франк? Верди тебе надо знать, вот кого.

И опять занялись своим, похоронив меня под бременем невежества, откуда я и по сей день не выбрался.

# Сингапур

Одиночество мое в Коломбо было не просто тягостным, оно было подобно летаргическому сну. Друзей – раз-два и обчелся, и все они с той же улочки, где жил я. И подружки – всех цветов кожи, – которые побывали на моей раскладной кровати, не оставив по себе иной памяти, кроме мимолетной чувственной вспышки. Тело мое было словно одинокий костер, день и ночь не затухавший на тропическом побережье. Довольно часто приходила моя приятельница Пати со своими подружками, смуглыми, золотокожими девушками, в жилах которых текла кровь буров, англичан, дравидов. Они спали со мной между прочим, это для них было вроде спорта.

Одна из них поведала мне о том, что посещала *chummeery*.<sup>66</sup> Так назывались бунгало, в которых молодые англичане – мелкие служащие из контор и лавок – жили общежитием, чтобы сэкономить на квартирной плате и питании. Девушка рассказала, как о чем-то совершенно обычном – в этом не было ни тени цинизма, – что однажды она переспала сразу с четырнадцатью.

– Как же так? – спросил я ее.

– Была вечеринка, я оказалась там одна. Потом завели граммофон, и я танцевала со всеми по очереди – потанцуем

---

<sup>66</sup> Комната, занимаемая несколькими людьми (*англ.*).

немножко, а потом завернем в спальню. И все остались довольны.

Она не была проституткой. Просто типичным колониальным товаром, неискушенным и щедрым плодом этого миропорядка. Ее рассказ меня поразили, но у меня никогда не было к ней иного чувства, кроме симпатии.

Мое одинокое, стоявшее на отшибе бунгало было далеко от всякой городской цивилизации. Помню, когда я его снимал, я все старался понять, где там отхожее место. Оказалось, очень далеко от душа, в самой глубине строения.

Я с любопытством обследовал его. Деревянный ящик с дыркой посередине очень походил на то самодельное сооружение, которое запомнилось мне с детства. Но у нас в деревне такие ящики ставили над глубокой ямой или над ручьем. Здесь же под круглым отверстием стояло всего-навсего железное ведро.

Каждый день к утру ведро снова было чистым, и я не понимал, куда девалось его содержимое. Однажды утром я поднялся раньше обычного. И был поражен тем, что увидел.

В дом вошла женщина – мне показалось, будто ступает изящное темное изваяние, – женщина, красивее которой я до сих пор на Цейлоне не видел: она была тамилкой, из касты неприкасаемых. В красном с золотом сари из грубой ткани. На щиколотках босых ног – тяжелые браслеты. В крыльях носа сверкали красные камешки. Должно быть, это было обычное стекло, но на ней оно казалось рубинами.

Величавым шагом она направилась к уборной, даже не взглянув на меня. Так, словно меня вовсе не было, и, водрузив на голову омерзительный сосуд, пошла прочь поступью богини.

Она была так красива, что я, невзирая на ее занятие, почувствовал необычайное волнение. Словно дикий зверек из джунглей, она жила в совсем ином мире и совсем иной жизнью. Я позвал ее – никакого впечатления. Потом несколько раз клал на ее пути подарки – шелковый платок или фрукты. Она проходила мимо, не слыша меня и ни на что не глядя. Чернокожая красавица освятила унижительную церемонию, превратив ее в ритуал ко всему безразличной богини.

В одно прекрасное утро я, готовый на все, схватил ее за запястье и рванул к себе – лицом к лицу. Не было языка, на котором бы я мог с ней объясниться. Она дала себя увести, ни разу не улыбнувшись, и вот уже, обнаженная, была у меня в постели. Тонкая гибкая талия; крутые, округлые бедра; груди как переполненные чаши – точь-в-точь скульптурное изваяние тысячелетнего возраста, какие встречаются на юге Индии. И впечатление от близости осталось точно такое же – человек со статуей. Все время она оставалась бесстрастной, глаза широко открыты. И правильно делала, что презирала меня. Больше я подобных опытов не повторял.

Я с трудом разобрал каблограмму. Министерство иностранных дел сообщало мне о новом назначении. Я оставлял

консульскую должность в Коломбо и вступал в должность консула в Сингапуре и Батавии.<sup>67</sup> Таким образом, я покидал первый круг бедности и поднимался ступенью выше. В Коломбо я имел право удерживать для себя (если деньги поступали) 166 долларов и 76 центов. Теперь же, становясь консулом сразу в двух колониях, я имел право удержать два раза по 166 долларов и 76 центов, то есть 333 доллара и 52 цента (если они будут поступать). Это значило для начала, что я уже смогу не спать на раскладушке. Мои материальные запросы не были чрезмерными.

Но вот что делать с Кирией, моей мангустой? Подарить ее кому-нибудь из этих непочтительных уличных мальчишек, которые уже не верили в ее власть над змеями? И речи быть не может. Они не станут о ней заботиться как следует и не будут давать ей есть со стола, как она привыкла у меня. Выпустить в джунгли, чтобы мангуста вернулась к примитивному образу жизни? Ни за что на свете. Она, конечно, уже утратила защитные инстинкты, и хищные птицы сожрут ее без промедления. А в то же время – как везти мангусту с собой? Не примут на корабль такого необычного пассажира.

И тогда я решил взять с собой в путешествие Брампи, моего сингальского боя. Такой расход был, конечно, по карману только миллионеру, и вообще это было чистым безумием, потому что мы должны были ехать через Малайю, Индонезию, а Брампи тамошних языков не знал. Но мангусту мож-

---

<sup>67</sup> Батавия – прежнее, голландское название города Джакарты.

но было потихоньку провезти, заперев в плетеной корзинке с крышкой. И мангусту Брампи знал – как я. Оставалась таможня, но хитроумный Брампи взял бы на себя провести таможенников.

Итак, с грустью, радостью и мангустой мы покидали Цейлон и направлялись в неведомый мир.

Трудно понять, зачем у Чили было столько рассеянных по всему свету консульств. Не перестает удивлять, что такая крошечная республика, приютившаяся у самого Южного полюса, посылает и содержит своих официальных представителей на архипелагах, побережьях и рифах на другом краю земли.

По сути, так объясняю я себе, эти консульства – плод фантазии и *self-importance*,<sup>68</sup> которые свойственны нам, южноамериканцам. Но, с другой стороны, я уже говорил, что в этих заморских землях отгружают для Чили джут, твердый парафин для свечного производства и, конечно же, чай, огромное количество чая. Мы, чилийцы, пьем чай четыре раза в день. А у нас он не растет. Помнится, случилась даже забастовка рабочих на селитряных коях из-за перебоев с этим экзотическим продуктом – чаем. Англичане-экспортеры как-то допытывались у меня, предварительно угостив как следует виски, что мы, чилийцы, делаем с таким умопомрачительным количеством чая.

– Мы его пьем, – отвечал я.

---

<sup>68</sup> Самоомнение (*англ.*).



(Если они думали вытянуть из меня какую-нибудь промышленную тайну, я полагаю, они были разочарованы.)

Консульство в Сингапуре существовало уже десять лет. Итак, я сошел на берег в сопровождении неразлучных со мною Брампи и мангусты, вооруженный самоуверенностью, которую питали двадцать три прожитых на свете года. Мы прямым ходом направились в «Раффлз-отель». Там первым делом я отдал в стирку белье, которого оказалось не так уж мало, и уселся на веранде. Лениво растянувшись в easy chair,<sup>69</sup> я попросил ginpahit,<sup>70</sup> потом еще один и еще.

Все шло по Сомерсету Моэму<sup>71</sup> до тех пор, пока мне не пришлось в голову поискать в телефонном справочнике адрес консульства. Что за черт – его там не было! Тогда я спешно позвонил английским властям. И мне, предварительно проконсультировавшись, ответили, что чилийского консульства тут нет. Я спросил, как найти консула сеньора Масилью. Такого сеньора не знали.

Я призадумался. Моих средств едва хватало, чтобы уплатить за день в гостинице и за стирку белья. Я догадался, что призрачное консульство, должно быть, находится в Батавии, и решил плыть дальше на том же самом пароходе, который привез меня сюда и направлялся в Батавию, а пока еще стоял

---

<sup>69</sup> Кресло (англ.).

<sup>70</sup> Крепкий коктейль (англ.).

<sup>71</sup> Сомерсет Моэм Уильям (1874–1965) – английский писатель.



санта. Она выбрала последнего – молодого, но довольно спокойного человека.

Когда на следующий день мы сходили на берег, я разглядел роллс-ройс китайского магната, а внутри, за занавесками в цветочек, – профиль самого хозяина. Крузи затерялась среди толпы и чемоданов.

Я остановился в отеле «Дер Нидерлапден» и как раз собирался обедать, когда вошла Крузи. Давясь рыданиями, она бросилась мне на грудь.

– Меня выгнали. Завтра я должна уехать.

– Ради бога, кто тебя выгнал, почему?

Всхлипывая, она рассказала мне о неудаче, которая с ней приключилась. Крузи была уже у самого роллс-ройса, когда ее задержали агенты иммиграционной полиции и подвергли грубому допросу. Ей пришлось признаться. Голландские власти сочли бы ее преступницей, если бы она стала сожительствовать с китайцем. Но в конце концов Крузи отпустили, взяв с нее обещание не встречаться со своим кавалером и на следующий день тем же самым пароходом, каким она прибыла сюда, вернуться на Запад.

Больше всего Крузи переживала оттого, что доставила такое разочарование мужчине, который ее ждал, и, я уверен, немалую толику этому огорчению добавил внушительный вид роллс-ройса. В глубине души Крузи была девушкой ранимой. Слезы эти были вызваны не только крушением ее надежд, она чувствовала себя униженной и оскорбленной.

– Ты знаешь его адрес? Телефон знаешь? – спросил я.

– Знаю, – ответила она. – Но боюсь, меня арестуют. Они грозились посадить меня в тюрьму.

– Тебе терять нечего. Пойди к этому человеку, ведь он ждал тебя, еще тебя не зная. Ты должна хотя бы сказать ему что-то. Подумаешь, голландская полиция! Сходи к своему китайцу. Только поосторожнее, и обведешь полицию вокруг пальца. Увидишь, тебе сразу станет легче. А потом можешь и уезжать.

Поздним вечером того же дня моя приятельница вернулась. Она ходила к своему поклоннику, которого приобрела заочно, по переписке. И рассказала мне, как все было. Китаец оказался воспитанным во французском духе, образованным человеком. Совершенно свободно говорил по-французски. Был женат по всем правилам благородного китайского брака и смертельно скучал.

Желтолицый претендент приготовил для своей белокожей невесты с Запада бунгало с садом, противомоскитными сетками, мебелью в стиле Людовика XVI и огромной постелью, которая в ту же ночь и была опробована. С меланхолическим видом хозяин дома показывал ей изысканные вещи, припасенные специально для нее: столовое серебро (сам он ел только палочками), бар с европейскими напитками, забитый фруктами холодильник.

Потом он остановился перед огромным, наглухо запертым сундуком. Достал из кармана бр юк маленький ключик, от-

крыл крышку, и взгляду Крузи предстало сокровище, диковиннее не придумаешь: освященный терпким ароматом сандала сундук был набит сотнями или даже тысячами дамских трусиков. Здесь были собраны все виды шелков всех возможных оттенков. Цветовая гамма переливалась от фиолетового до желтого, от розового до потаенно-зеленого, от рдеюще-красного до сверкающе-черного, от небесно-голубого до непорочно-белого. Всю эту радугу мужского вождения любитель фетишей хранил, без сомнения, как полное собрание сочинений, чтобы убажывать собственное сластолюбие.

– Я просто ошалела, – сказала Крузи и опять зарыдала. – Взяла в горсть что попало – вот они.

Я был растроган – до чего загадочна человеческая натура. Наш китаец, серьезный коммерсант, импортер или экспортер, коллекционировал женские трусики, как коллекционируют бабочек. Кто бы мог подумать?

– Оставь одни мне, – сказал я приятельнице.

Она выбрала белые с зеленым и, разгладив их с нежностью, протянула мне.

– Пожалуйста, Крузи, сделай дарственную надпись. Она старательно расправила шелк и начертила наши имена, оросив все это слезами.

Я не видел, как она ушла на следующий день, и вообще никогда ее больше не видел. Воздушные трусики с дарственной надписью Крузи и ее слезами долго путешествовали со мной по миру, затерявшись меж белья и книг. И не знаю,

когда, каким образом и какая нахалка ушла из моего дома  
в них.

# Батавия

В те времена, когда на свете еще не было мотелей, отель «Дер Нидерланден» был единственным в своем роде. В большом главном здании помещался ресторан и служебные помещения, а у каждого постояльца было свое буи-гало, отделенное от других маленьким садиком с развесистыми деревьями. В их высоких купках жило бесчисленное множество птиц, там обитали белки-летуны, скакавшие с ветки на ветку, и насекомые, которые верещали, будто в сельве. Брампи, не щадя сил, ухаживал за мангустой, а та на новом месте становилась все более и более беспокойной.

Да, здесь было чилийское консульство. Во всяком случае, оно значилось в телефонном справочнике. На следующий день, отдохнув и одевшись как следует, я направился в консульство. На фасаде огромного здания висел консульский герб Чили. Но это была мореходная компания. Кто-то из ее многочисленного штата провел меня в кабинет директора, краснолицего, объемистого голландца. Видом он ничуть не походил на управляющего пароходством, скорее на портового грузчика.

– Я – новый консул Чили, – представился я ему. – Прежде всего благодарю вас за службу и прошу ввести меня в курс основных дел по консульству. Хочу приступить к обязанностям немедленно.

– Здесь один консул – я! – в бешенстве возразил он.

– Как так?

– Для начала пусть заплатят мне, что должны, – закричал он.

Возможно, этот человек и понимал в навигации, но что такое вежливость, не понимал ни на одном языке. Он выталкивал фразы изо рта, не переставая в ожесточении грызть чудовищную сигару, которая отравляла воздух комнаты.

Бесноватый тип не давал мне открыть рта. От ярости и сигары то и дело шумно заходился в кашле, а потом отхаркивался и сплевывал. Наконец мне удалось вставить фразу в свою защиту:

– Сеньор, лично я вам ничем не обязан и платить ничего не должен. Я понимаю, вы консул *ad honores*,<sup>72</sup> так сказать, почетный консул. А если это представляется вам спорным, не думаю, что дело можно уладить криком, во всяком случае, слушать вас я больше не намерен.

Позднее я понял, что у толстого голландца были некоторые основания для подобной реакции. Он оказался жертвой самого настоящего мошенничества, в котором, разумеется, не были повинны ни я, ни правительство Чили. Причиной гнева толстого голландца был ловкач Мансилья. Как оказалось, этот Мансилья никогда не выполнял обязанностей консула в Батавии; он жил в Париже, и уже давно. Мансилья уговорился с голландцем о том, чтобы тот нес его консульскую

---

<sup>72</sup> Ради почета, даром (*лат.*).



службу и ежемесячно пересылал ему все бумаги и денежные сборы. И пообещал платить ему за это каждый месяц определенную сумму, которую не платил. Вот почему на меня – как кирпич на голову – обрушилась ярость сухопутного голландца.

На следующий день я почувствовал себя совершенно больным. Лихорадка, грипп, одиночество и, кроме того, носом шла кровь. Меня бросало в жар, я потел. Кровь шла из носа совсем как в детстве, в Темуко, от темукских холодов.

Я собрал все силы, чтобы выжить, и направился к дворцу правительства. Он находился в Буитенсорге, посреди роскошного ботанического сада. Чиновники с трудом оторвали ясные голубые глаза от белых бумаг. Вытащили ручки и потеющими перьями начертали капельками пота мое имя.

Оттуда я вышел еще более больным. Прошел по аллее и сел под огромным деревом. Здесь все было свежим и здоровым, жизнь дышала спокойно и мощно. Пред моим взором гигантские деревья тянулись прямыми, гладкими, серебряными стволами – вверх на сотню метров. На эмалированной пластинке я прочитал их названия. Это были неизвестные мне разновидности эвкалипта. С огромной высоты до меня дошла прохладная волна аромата. Император деревьев сжался надо мной, и его душистое дыхание вернуло мне здоровье.

А может, просто зеленая торжественность ботанического

сада, бесконечное разнообразие листвы, переплетение лиан, орхидеи, точно морские звезды, вспыхивающие среди ветвей, океанские глубины лесных зарослей, крики попугаев, верещание обезьян – может, все это возвратило мне веру в мою судьбу и радость жизни, которая таяла, будто догорающая свеча.

Я приободренный вернулся в отель, сел на веранде и, положив на стол, где уже сидела мангуста, лист бумаги, решил составить телеграмму правительству Чили. Не хватало только чернил. Я позвал гостиничного боя и попросил по-английски: «Ink!» – чернила. Он никак не показал, что понял меня. А только позвал еще одного боя, как и он сам, с головы до ног в белом и тоже босого, чтобы тот помог истолковать мои загадочные желания. Нечего делать. Я произносил слово «ink», а карандаш будто обмакивал в воображаемую чернильницу, и семь или восемь боев, собравшихся на помощь первому, повторяли мои движения, вытащив карандаши из внутренних карманов, и, помирая со смеху, выкрикивали: «Ink, ink». Они, должно быть, решили, что обучаются новому ритуалу. Отчаявшись, я кинулся в бунгало напротив, а за мною следом – хвост одетых в белое слуг. С какого-то пустого стола я схватил чудом оказавшуюся там чернильницу и, потрясая ею перед их изумленными взглядами, закричал: «This! This!»<sup>73</sup>

И тогда они расплылись в улыбке и хором воскликнули:

---

<sup>73</sup> Вот это! Это! (англ.).

«Tinta! Tinta!»<sup>74</sup>

Так я узнал, что чернила по-малайски – тоже «tinta».

Настал момент возвратиться мне к своим консульским обязанностям. Имуществом, вызвавшим такие споры, были: изъеденная резиновая печать, чернильная подушечка и несколько папок с документацией, где значились полученные суммы и остатки. Остатки, должно быть, оседали в кармане пройдохи-консула, который управлял на расстоянии – из Парижа. А голландец, которого он надул, с холодной улыбкой вручил мне тощую пачку бумаг, не переставая грызть сигару с видом разочарованного мастодонта.

Время от времени я подписывал консульские счета и скреплял их рассыпающейся казенной печатью. Поступавшие доллары я обращал в гульдены, и этого едва-едва хватало, чтобы заплатить за квартиру, пропитаться самому, выплатить жалованье Брампи и накормить мангусту Кирию, которая здорово выросла и теперь съедала по три-четыре яйца в день. Кроме того, мне пришлось приобрести белый смокинг и фрак, за которые я должен был платить ежемесячно взнос. Иногда я заходил в людные кафе и садился, почти всегда один, под открытым небом, у широкого канала – выпить пива или ginrahit. Иными словами, жизнь моя опять наполнилась безотрадным покоем.

---

<sup>74</sup> Чернила! Чернила! (малайск. и исп.).

Rice-table<sup>75</sup> в ресторане отеля выглядел величественно. В зал входила процессия из десяти или пятнадцати слуг, они шли вереницей, один за другим, и каждый нес свое блюдо с полным достоинством, каждое блюдо было разделено на секции, каждая секция сверкала своим таинственным кушаньем. Основой блюда был обязательно рис, а на нем покоилось бесконечное разнообразие съестного. Я всегда был прожорлив, и поскольку долгое время жил впроголодь, то теперь брал еду с каждого блюда, у каждого из пятнадцати или восемнадцати слуг, пока моя тарелка не превращалась в маленькую гору, где были экзотические рыбы, не поддающиеся определению яйца, самая неожиданная зелень, невообразимые цыплята и диковинное мясо, точно зная, венчавшее мой обед. Китайцы говорят, что еда должна обладать тремя достоинствами: вкусом, запахом и цветом. Рисовый стол в отеле сочетал все эти достоинства плюс еще одно: он был обилён.

В те дни я потерял Кирию, мою мангусту. У нее была опасная привычка – ходить за мной по пятам: куда я, туда – быстро и юрко – она. Мангуста следовала за мной повсюду, а значит, выходила и на улицы, по которым шли легковые автомобили, грузовики, рикши, пешеходы – голландцы, китайцы, малайцы. Мир, слишком бурный для неискушенной мангусты, которая и знала-то на свете всего двух человек.

---

<sup>75</sup> Рисовый стол (англ.).

И случилось неизбежное. Как-то, вернувшись в отель, я посмотрел на Брампи и понял: произошла трагедия. Я ничего не стал спрашивать. Но когда сел на веранде, Кирия не прыгнула мне на колени, не скользнула пушистым хвостом по моей голове.

Я дал объявление в газетах: «Пропала мангуста. По кличке Кирия». Никто не отозвался. Соседи ее не видели. Быть может, она была уже мертва. Она исчезла навсегда.

Брампи, который был ей сторожем, пропадал от бесчестья, долгое время не показываясь мне на глаза. Такое впечатление, что за моей одеждой и обувью теперь ухаживал призрак. Иногда мне казалось в ночи, с дерева до меня доносится крик Кирии. Я зажигал свет, открывал двери и окна, вглядывался в пальмовые ветви. Нет, не она. Мир, который был знаком Кирии, наверное, обернулся для нее огромной ловушкой: в грозных городских джунглях ее, видимо, сгубила доверчивость. Грусть и тоска надолго овладели мною.

Брампи пропадал от стыда и решил вернуться к себе на родину. Мне было жаль, но, по правде говоря, единственное, что нас с ним связывало, была мангуста. И в один прекрасный день он пришел показаться мне в новом костюме, который купил специально, чтобы вернуться в родное селение на Цейлон прилично одетым. Брампи вошел весь с ног до головы в белом, застегнутый на все пуговицы – до подбородка. Но самым удивительным была огромная фуражка, которую он напялил на свою темную голову. Я не смог сдержаться и

расхохотался. Брампи не обиделся. Наоборот – он улыбнулся мне ласково улыбкой человека, сознающего всю глубину моего невежества.

Улица, на которой находился мой новый дом в Батавии, называлась Проболинго. В доме была гостиная, спальня, кухня и ванная комната. Автомобиля у меня не было, но зато был вечно пустовавший гараж. Места в этом маленьком домике было у меня с лихвой. Я нанял кухарку-яванку, это была старая крестьянка, страшная поборница равенства и очаровательная женщина. Бой – тоже яванец – прислуживал за столом и следил за одеждой. Там я закончил «Местожителство – Земля».

В Батавии я стал еще более одиноким. И решил жениться. Я был знаком с одной креолкой, вернее сказать, голландкой с примесью малайской крови, она мне очень нравилась. Это была высокая нежная женщина, совершенно далекая от мира искусства и литературы. (Несколько лет спустя мой биограф и приятельница Маргарита Агирре писала о моей женитьбе следующее: «Неруда вернулся в Чили в 1932 году. За два года до того он женился в Батавии на Марии Антоньете Ахенаар, молодой голландке, жившей на Яве. Она чрезвычайно горда тем, что стала супругой консула, и об Америке имеет довольно экзотическое представление. Испанского не знает, только начала учить. Однако нет сомнений, язык – это не единственное, чего она не знает. Но как бы то ни было, очень

привязана к Неруде, их всегда видят вместе. Марука – так ее называет Пабло – высока ростом, божественно величава».)

Я вел довольно незатейливую жизнь. Скоро познакомился с другими приятными людьми. Кубинский консул и его жена стали моими верными друзьями, к тому же нас соединил язык. Мой соотечественник, латиноамериканец Капабланка, говорил без умолку, как машина. Официально он был представителем Мачадо,<sup>76</sup> кубинского тирана. И тем не менее, он рассказывал мне, что, бывало, в брюхе акул, выловленных в бухте у Гаваны, находили одежду политических заключенных, часы, кольца, а иногда и золотые зубы.

Немецкий консул Герц обожал современное изобразительное искусство – голубых лошадей Франца Марка,<sup>77</sup> вытянутые фигуры Вильгельма Лембрука.<sup>78</sup> Он был человеком необычайно чувствительным и романтичным – еврей с вековым литературным наследием за плечами. Я спросил его однажды:

- Этот Гитлер, чье имя сейчас мелькает в газетах, этот антисемит, антикоммунист, не может ли он прийти к власти?
- Совершенно невозможно.
- Что значит невозможно, в истории случаются вещи самые абсурдные.
- Вы просто не знаете Германии, – ответил он назидатель-

---

<sup>76</sup> *Мачадо-и-Моралес* Херардо (1871–1939) – диктатор Кубы с 1925 по 1933 г.

<sup>77</sup> Франц *Марк* (1880–1916) – немецкий живописец.

<sup>78</sup> Вильгельм *Лембрук* (1881–1919) – немецкий скульптор.

но. – Совершенно невозможно, чтобы в Германии какой-нибудь сумасшедший демагог, вроде этого, пришел к власти и стал править даже в самой захудалой деревне.

Несчастный мой друг, бедняга консул Герц! Этот сумасшедший демагог чуть было не стал править миром. А наивный Герц, должно быть, кончил безвестной и чудовищной газовой камерой – при всей его культуре, при всем его благородном романтизме.



# Испания в сердце

## Тетрадь 5

### Каким был Федерико

В 1932 году после двухмесячного путешествия по морю я вернулся в Чили. Там я опубликовал «Восторженного прашника», который странствовал со мною, и «Местоительство – Земля», которое написал на Востоке. В 1933 году меня назначили чилийским консулом в Буэнос-Айресе, и в августе я приехал туда.

Почти в одно время со мной в этот город приехал Федерико Гарсиа Лорка – ставить там с труппой Лолы Мембривес свою трагедию «Кровавая свадьба». Мы познакомились в Буэнос-Айресе, потом писатели и друзья не раз устраивали там праздники в нашу честь. По правде сказать, случались и неприятности. У Федерико были противники. И у меня они всегда были, да и по сей день в них нет недостатка. Им, этим противникам, словно нейдет, они норовят погасить свет, чтобы тебя не было видно. Так случилось и в тот раз. Пенклуб решил устроить в нашу с Федерико честь в отеле «Пласа» банкет, и когда выяснилось, что многие захотели принять в нем участие, кто-то целый день названивал по всем теле-

фонам, оповещая, что торжество отменяется. Постарались на славу, обзвонили всех – даже директору отеля позвонили, даже телефонистке и шеф-повару, чтобы не принимали поздравлений и не готовили ужина. Но их затея провалилась, и мы все-таки встретились с Гарсиа Лоркой в кругу сотни аргентинских писателей.

Мы их удивили. Мы приготовили им речь *al alimón*. Вы, наверное, не знаете, что значит это слово, да и я не знал. Федерико, который был мастером на всякие выдумки и розыгрыши, объяснил:

«Есть такой прием, когда два тореро выступают против одного быка с одним плащом на двоих. Это опаснейший прием в тавромахии. И потому видеть его можно очень редко. Такое случается два или три раза в сто лет, и возможно это лишь в том случае, если два тореро – родные братья или у них одна кровь. Вот это и называется бой *al alimón*, И то же самое сегодня мы проделаем с речью».

И мы это проделали, но никто заранее ничего не знал. Когда пришел момент поблагодарить президента Пен-клуба за банкет, мы поднялись оба разом, как два тореро, чтобы сказать одну речь. Все сидели за отдельными столиками, Федерико – в одном конце зала, я – в другом, и когда мы оба встали, то сидевшие рядом со мной, думая, что вышла ошибка, стали дергать меня за пиджак, чтобы я сел, а те, кто сидел рядом с Федерико, дергали его. Мы стали говорить вместе, я начал: «Дамы...», он подхватил: «...и господа», и вступали

по очереди так, что получилась единая речь. Речь эта была посвящена Рубену Дарио, и мы с Гарсиа Лоркой – при том, что никто не мог заподозрить нас в модернизме – восславили Рубена Дарио как одного из великих создателей поэтической речи в испанском языке.

Вот текст этого выступления.

Неруда. Дамы...

Лорка...и господа! Есть в корриде прием, который называется *al alimfn*, когда два тореро увертываются от быка, прикрываясь одним плащом.

Неруда. Мы с Федерико, соединенные одним электрическим проводом, на этом ответственном приеме будем выступать в паре.

Лорка. Стало обычаем: на встречах, подобных сегодняшней, поэты обращаются с живым словом – у одних оно звенит серебром, у других – поет деревом, и каждый на свой лад приветствует товарищей и друзей.

Неруда. Но сегодня мы призовем к вам в сотрапезники того, кого нет в живых, того, кто скрыт мраком смерти, величайшей из всех смертей, мы призовем вдовца жизни, блистательным супругом которой он некогда был. И мы укроемся в его пылающей тени и станем повторять его имя до тех пор, покауда владычество его не вынырнет из забвения.

Лорка. И тогда мы – с пингвиньей нежностью прежде воздав должное изящному поэту Амадо Вильяру<sup>79</sup> – метнем это

---

<sup>79</sup> Амадо Вильяр (1899–1954) – аргентинский поэт и драматург.

великое имя на скатерть, и мы знаем: разлетятся вдребезги бокалы, и вилки подскочат на столе, и морской вал обрушится на эту скатерть. Мы назовем поэта Америки и Испании: Рубена...

Неруда. Дарио. Потому что, дамы...

Лорка...и господа...

Неруда. Где у вас в Буэнос-Айресе площадь Рубена Дарио?

Лорка. Где у вас памятник Рубену Дарио?

Неруда. Он любил парки. Где же парк Рубена Дарио?

Лорка. А где цветочный магазин имени Рубена Дарио?

Неруда. Где у вас яблони, где яблоки, носящие имя Рубена Дарио?

Лорка. Где слепок руки Рубена Дарио?

Неруда. Где масло, где смола, где лебедь, названный в честь Рубена Дарио?

Лорка. Рубен Дарио покоится в своем «родном Никарагуа», под ужасающим мраморным львом, вроде тех, какие богачи ставят у входа в свои дома.

Неруда. Магазиновый лев – ему, создателю львов, лев, незнакомый со звездами, – тому, в чьей власти было дарить звезды другим.

Лорка. Одним прилагательным он мог передать шум сельвы и, как фрай Луис де Гранада,<sup>80</sup> владыка языка, подымался к звездным высям и с лимонным цветением, и с поступью

---

<sup>80</sup> Луис де Гранада (1504–1588) – испанский поэт, философ, богослов.

оленя, и с моллюсками, исполненными страха и безграничности; он увел нас в море на фрегатах и тенях, таившихся в зрачках наших глаз, и соорудил гигантское шествие джина через самый серый из вечеров, какие только есть у неба; как поэт-романтик, он был накоротке с южными ветрами и, опершись на коринфскую капитель, дышал полной грудью, глядя на мир с грустно-ироническим сомнением, не умирающим во все эпохи.

Неруда. Его алое имя достойно всей и всяческой памяти, достойны памяти терзания его сердца, накал его сомнений, его странствия по всем кругам ада и его взлеты к дворцам славы, – все, что сопутствует большому поэту, ныне, присно и во веки веков.

Лорка. Он был испанским поэтом, он был в Испании учителем старых мастеров и совсем еще юных; он был наставником универсальным и щедрым, чего так не хватает нашим современным поэтам. Он был учителем Валье-Инклана<sup>81</sup> и Хуана Рамона Хименеса,<sup>82</sup> учителем братьев Мачадо;<sup>83</sup> его голос был водою и селитрой в борозде почтенного языка. Со времен Родриго Каро<sup>84</sup> и братьев Архенсола<sup>85</sup> или дона Хуана

---

<sup>81</sup> *Валье-Инклан* Рамон Мария дель (1869–1936) – испанский писатель.

<sup>82</sup> Хуан Рамон *Хименес* (1881–1958) – испанский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1956 г.).

<sup>83</sup> Братья *Мачадо* – Антонио *Мачадо-и-Пуис* (1875–1939) и Мануэль *Мачадо-и-Пуис* (1874–1947) – испанские поэты.

<sup>84</sup> Родриго *Каро* (1573–1647) – испанский поэт, филолог, историк культуры.

<sup>85</sup> Братья *Архенсола* – Бартоломе Леонардо де (1562–1631) и Луперсио Лео-

де Аргнхо<sup>86</sup> не было у испанцев такого пиришествия слов, тако-го столкновения согласных, такого сияния и такого праздне-ства формы, как у Рубена Дарио. Пейзаж Веласкеса, костер Гойи, грусть Кеведо<sup>87</sup> и румянец крестьянок Мальорки – все это он воспринял как свое и ступал по земле Испании как по родной земле.

Неруда. Морской прилив, жаркое море нашего севера вы-несли его на берег Чили и оставили на суровом, изрезанном скалами берегу, и океан бил в него и звенел своей пеной и своими колоколами, и черный ветер Вальпараисо наполнял его звонкой солью. Давайте же сегодня сотворим ему памят-ник из ветра, пронизанного дымом и голосом, из всего, что вокруг нас, из жизни, ибо его великолепная поэзия была про-низана мечтами и звуками.

Лорка. И на этот памятник из ветра я хочу возложить его кровь, словно ветку кораллов, пляшущую на волне, и пучки его нервов, словно пучки световых лучей, и его голо-ву минотавра, где гонгоровские снега разрисованы полетом колибри, и его подернутый туманом отсутствующий взгляд, взгляд сквозь миллионы слез, и еще – его недостатки. Ряды его книг, затянутых пышными соцветиями, паузы его сти-хов, поющие флейтой, бутылки с коньяком его драматическо-го опьянения, его полную очарования безвкусицу и эти бес-

---

нардо де (1559–1613) – испанские поэты и историки.

<sup>86</sup> Хуан де Аргнхо (1560–1623) – испанский поэт.

<sup>87</sup> Кеведо-и-Вильегас Франсиско де (1580–1645) – испанский поэт и прозаик.

стыдно-откровенные слова, которые делают толпы его стихов такими человеческими. И вот вне всяких канонов, вне всяких форм и школ продолжает жить плодородие его великой поэзии.

Неруда. Федерико Гарсиа Лорка, испанец, и я, чилиец, в кругу наших товарищей, склоняемся пред его великой тенью, тенью того, чья песня взвивалась выше нашей и чей небывалый голос приветствовал аргентинскую землю, на которой мы сегодня находимся.

Лорка. У Пабло Неруды, чилийца, и у меня, испанца, единый язык и един для нас огромный никарагуанский, аргентинский, чилийский и испанский поэт – великий Рубен Дарио.

Неруда и Лорка. Во славу и честь которого мы поднимаем наши бокалы.

Помню, однажды я неожиданно получил от Федерико поддержку в космическом любовном приключении. Как-то вечером мы с Федерико были в гостях у одного миллионера – из тех, каких производят лишь Аргентина да Соединенные Штаты. Хозяин был самоучкой, с характером, сам «выбился в люди», сколотив сказочное состояние на издании газеты, специализировавшейся на сенсациях. Дом его, окруженный огромным парком, наяву воплощал мечты неуемного нувориша. Сотни клеток с фазанами всех расцветок из всевозможных стран тянулись вдоль дорожек. Библиотека была за-

ставлена только самыми старинными книгами, которые хозяин покупал по телеграфу на случавшихся в Европе распродажах; к тому же она была огромной, книг в ней было великое множество. Но более всего впечатляло то, что пол в этом огромном читальном зале был весь – от края до края – затянут бесчисленными шкурами пантер, сшитыми в один гигантский ковер. Я узнал, что у хозяина были специальные агенты в Африке, Азии и на Амазонке, которые занимались только тем, что скупали шкуры леопардов, оцелотов, редких представителей семейства кошачьих, и вот их пятнистые шкуры теперь сверкали у меня под ногами в этой пышной библиотеке.

Таким был дом знаменитого Наталио Ботаны, могущественного капиталиста, укротителя общественного мнения Буэнос-Айреса. Мы с Федерико сидели за столом неподалеку от хозяина дома, а напротив нас сидела поэтесса, высокая, белокурая, воздушная, и за ужином ее зеленые глаза устремлялись на меня гораздо чаще, чем на Федерико. На ужин подали быка, зажаренного целиком, и внесли его прямо с пылу, с жару, еще в золе, на огромных носилках, которые тащили на плечах восемь или десять гаучо.<sup>88</sup> Ночь была неистово синяя и звездная. Запах мяса, зажаренного прямо в шкуре – последний изыск аргентинцев, – мешался с ветром из пампы, с ароматами клевера и мяты, с шепотом тысяч сверчков и головастика.

---

<sup>88</sup> Гаучо – аргентинский или уругвайский пастух-всадник, житель пампы.



После ужина мы поднялись из-за стола – я с поэтессой и Федерико, который веселился вовсю и не переставая смеялся. И пошли к светившемуся в стороне бассейну. Гарсиа Лорка шел впереди, все время смеялся и говорил. Он был счастлив. Уж таков был Лорка. Радость была его кожей.

Над освещенным бассейном тянулась ввысь высокая башня. Под ночными огнями она светилась известковой белизной.

Мы медленно поднялись на верхнюю площадку башни. И там наверху мы трое, поэты, разные по стилю и манере, почувствовали себя вдали от мира. Внизу сверкал синий глаз бассейна. А еще дальше слышались гитары и песни праздника. Ночь над нами была такая близкая и такая звездная, что казалось, вот-вот она захлестнет нас с головою и утопит в своих глубинах.

Я обнял высокую золотистую девушку и, целуя ее, понял, что она – женщина из плоти, и плоти довольно осязаемой. В присутствии изумленного Федерико мы опустились на пол, и я уже начал было раздевать ее, как вдруг увидел совсем рядом, над нами, безмерные глаза Федерико, который смотрел, не решаясь поверить в то, что происходит.

– Ступай отсюда! Иди, посторожи на лестнице, чтобы никто сюда не поднялся! – крикнул я ему.

И в то время, как на самой верхней площадке башни свершалось жертвоприношение звездному небу и ночной Афродите, Федерико весело помчался выполнять порученную ему

миссию – сводника и сторожа, но при этом так спешил, да еще ему так не повезло, что он свалился и пересчитал все ступеньки. Нам с моей подругой – как ни трудно это было – пришлось прийти ему на помощь. Потом он пятнадцать дней хромал.

# Мигель Эрнандес

В консульстве Буэнос-Айреса я пробыл недолго. В начале 1934 года меня перевели с тем же назначением в Барселону. Моим начальником, другими словами, генеральным консулом Чили в Испании, был дон Тулио Макейра. Наверняка это был самый добросовестный чиновник из всех, кого я знал в консульской службе Чили. У него была слава сурового и нелюдимого человека, но со мной он был необыкновенно добрым, понимающим и сердечным.

Дон Тулио Макейра очень быстро обнаружил, что я вычитаю и умножаю с величайшим трудом, а делить и вовсе не умею (так и не научился). И он сказал мне:

– Пабло, вам надо жить в Мадриде. Поэзия – там. Л тут, в Барселоне, эти жуткие умножения и деления, и они с вами не в ладу. Я управлюсь с ними один.

И я приехал в Мадрид, чудесным образом за одну ночь превратившись в чилийского консула в столице Испании, и там познакомился со всеми друзьями Гарсиа Лорки и Альберти. А их было много. С моим приездом испанских поэтов стало одним больше. Разумеется, мы – испанцы и латиноамериканцы – разные. Эту несхожесть одни подчеркивают из гордыни, а другие – по ошибке.

Испанцам моего поколения были в большей степени свойственны чувства братства и солидарности, чем моим сооте-

чественникам из Латинской Америки, и к тому же они были веселее. В то же время я заметил, что мы, латиноамериканцы, более ко всему восприимчивы, особенно в том, что касается других языков и культур. Среди испанцев же, наоборот, мало кто знал другой язык кроме родного, испанского. Когда в Мадрид приехали Деснос<sup>89</sup> и Кревель,<sup>90</sup> мне пришлось быть переводчиком и помогать им объясняться с испанскими писателями.

Среди друзей Федерико и Рафаэля был молодой поэт Мигель Эрнандес.<sup>91</sup> Я познакомился с ним, когда он в альпартатах<sup>92</sup> и вельветовых штанах, какие носили крестьяне, пришел из Ориуэлы, где пас стада коз. Я напечатал его стихи в своем журнале «Зеленый конь», меня волновал блеск и сияние его изобильной поэзии.

Он был крестьянином до мозга костей, и, казалось, само дыхание земли всегда сопутствовало ему. Лицо его походило на ком земли или на картофельный клубень, только-только отделенный от корней и хранящий еще свежесть подземных глубин. Он жил и писал стихи у меня в доме. Его поразила латиноамериканская поэзия, поэзия, у которой были иные горизонты и другие просторы, и сам он под влиянием этой поэзии менялся.

---

<sup>89</sup> Деснос Робер (1900–1945) – французский поэт.

<sup>90</sup> Кревель Роне (1900–1935) – французский поэт-сюрреалист.

<sup>91</sup> Мигель Эрнандес (1910–1942) – испанский поэт-коммунист.

<sup>92</sup> Альпартаты – крестьянская обувь типа сандалий на веревочной подошве.

Мигель Эрнандес рассказывал мне истории о животных и птицах, населяющих землю. Этот писатель, с его девственной дикостью, с бьющей через край необузданной жизненной силой, был плоть от плоти природы, будто нетронутый камень земли. Он рассказывал мне, как это здорово – прижаться ухом к животу спящей козы... И тогда услышишь, как прибывает молоко к вымени, – так слышны ему были те сокровенные шумы, которых не слышал никто, кроме него, поэта-пастуха.

А еще он рассказывал мне, как поют соловьи. Левант, откуда он был родом, славится своими апельсиновыми рощами и соловьями. У меня на родине нет соловьев, нет этого великолепного певца, и вот безумец Мигель захотел дать мне живое пластическое представление о власти его пения. Он взбирался на дерево, росшее на улице, и оттуда, с самых высоких его ветвей, свистел для меня, рассыпался трелями, как излюбленные птицы его земли.

Мигелю не на что было жить, и я стал искать ему работу. Найти в Испании работу для поэта необычайно тяжело. Наконец нашелся один виконт, занимавший высокий пост в министерстве иностранных дел, который проявил интерес к Мигелю Эрнандесу и сказал, что согласен ему помочь, что читал стихи Мигеля, в восторге от них, и пусть поэт сам скажет, какое хочет место, а он его на это место назначит. Я, ликуя, сказал:

– Ну, Мигель Эрнандес, наконец-то тебе повезло. Виконт

устроит тебя. Станешь важным чиновником. Скажи, чем ты хочешь заняться, и он распорядится, чтобы ты получил назначение.

Мигель задумался. Его лицо, изборожденное преждевременными морщинами, подернулось сомнением. Шли часы, и только под вечер он дал ответ. Мигель ответил, и глаза его сверкали от радости, что ему удалось решить проблему всей своей жизни:

– Не мог бы виконт выхлопотать мне стадо коз где-нибудь под Мадридом?

Память о Мигеле Эрнандесе не уходит из глубины моего сердца. Без пения левантских соловьев, без башен звуков, которые возносились над сумерками и апельсиновым цветением, он не мог бы жить, они были частью его крови, его поэзии, земной и дикой, в которой все избытки красок, запахов и голосов испанского юга соединялись с избытком и благоуханием его могущественной и мужественной юности.

Его лицо было лицом Испании. В нем, иссеченном солнцем, вспаханном, словно поле, морщинами, была цельность хлеба и земли. Обжигающие глаза на этой выжженной и обветренной тверди были подобны двум лучам, источающим силу и нежность.

В его словах вновь рождались на свет крупитцы вечной поэзии, преображенные новым величием и необузданным блеском, – чудо сродни тому, какое происходит со старой кровью в народившемся младенце. В моей жизни, жизни

бродячего поэта, я не видел явления под стать этому, мне не довелось больше встретить такого необоримого поэтического призвания, такой, подобной силе электрического разряда, мудрости слова.

## «Зеленый конь»

Мы каждый день встречались у кого-нибудь в доме или в кафе с Федерико и Альберти, который жил неподалеку от моего дома, в мансарде над рощей, над затерянной рощей, со скульптором Альберто,<sup>93</sup> пекарем из Толедо, который к тому времени уже был признанным мастером в абстрактной скульптуре, с Альтолагирре<sup>94</sup> и Бергамином,<sup>95</sup> с великим поэтом Луисом Сернудой<sup>96</sup> и с Висенте Александре, поэтом необозримого размаха, и архитектором Луисом Лакасой?<sup>97</sup> – с ними со всеми, по отдельности или вместе, потому что все они были одна компания.

С улицы Капельяны или из пивной у почтамта мы шли ко мне домой, в «дом цветов», в Аргуэльес. Шумной, гомонящей гурьбой мы ссыпались с верхнего этажа огромного двухэтажного автобуса – одного из тех, который мой соотечественник великий Котапос<sup>98</sup> называл «бомбардоном»<sup>99</sup> – и

---

<sup>93</sup> Альберто Санчес (1895–1962) – испанский скульптор и художник

<sup>94</sup> Альтолагирре Мануэль (1905–1959) – испанский поэт «поколения 1927 года».

<sup>95</sup> Бергамин Хосе (род. в 1895 г.) – испанский писатель и критик, представитель «поколения 1927 года».

<sup>96</sup> Луис Сернуда (1902–1963) – испанский поэт «поколения 1927 года».

<sup>97</sup> Луис Лакаса (1899–1966) – испанский архитектор.

<sup>98</sup> Котапос Акарио (1899–1969?) – чилийский композитор.

<sup>99</sup> Бомбардон – медный духовой инструмент низкого тона.



принимались есть, пить, петь. Помню среди молодых моих товарищей по поэзии и по веселью поэта Артуро Серрано Плаху<sup>100</sup> и Хосе Кабальеро, художника, ослепительно талантливом и остроумном; Антонио Апарисио,<sup>101</sup> который попал ко мне в дом прямо из Андалусии, и еще многих и многих, которые теперь уже не те или которых уже нет вообще и чьей близости и братства мне не хватает так остро, как будто у меня отняли часть моего собственного тела или я утратил частицу души.

А какой это был Мадрид! Мы ходили с Марухой Мальо, художницей-галисийкой, по бедным кварталам, отыскивая дома, где продавали дрок и циновки, разыскивая улицы, где изготовлялись бочки и канаты, – словом, все то, что в Испании высушивается, а потом сплетается и крепко-накрепко скручивает ее сердце. Испания – сухая и каменистая, отвесные лучи солнца хлещут ее, высекая искры из долин и строя воздушные замки из облаков пыли. Единственно истинные реки Испании – ее поэты: Кеведо с его глубокими зелеными водами и черной пеной; Кальдерон,<sup>102</sup> слог которого поют; хрустальные братья Архенсола и Гонгора<sup>103</sup> – река рубинов.

---

<sup>100</sup> Артуро Серрано Плаха (род. в 1909 г.) – испанский поэт.

<sup>101</sup> Антонио Апарисио (род. в 1917 г.) – испанский поэт.

<sup>102</sup> Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681) – испанский драматург.

<sup>103</sup> Гонгора-и-Арготе Луис де (1561–1627) – испанский поэт, Реформатор испанской лирики.

Валье-Инклана я видел всего один раз. Худой, с белой, бесконечно длинной бородою, мне показалось, он вышел из собственных книг и именно там, зажатый страницами, пожелтел, как сами страницы.

С Районом Гомесом де ла Серной<sup>104</sup> я познакомился в Помбо и потом виделся с ним у него дома. Никогда не забуду зычного голоса Рамона, как он, сидя за столиком в кафе, словно дирижировал разговором, мыслями, сигаретным дымом, смехом всего зала. Рамон Гомес де ла Серна, на мой взгляд, один из самых больших писателей в нашем языке, в его даровании есть что-то от многоцветного величия Кеведо и Пикассо. Каждая страница Рамона Гомеса де ла Серны – исследование, попытка заглянуть в самую глубь физического и метафизического, рассмотреть суть и спектр явления, и то, что знает и написал об Испании он, никто, кроме него, не сказал. Он как бы вобрал и сосредоточил в себе всеобщую и всеобъемлющую тайну. Своими руками Гомес де ла Серна изменил синтаксис языка, и отпечатки, которые он оставил, никто уже с языка не сотрет.

Дона Антонио Мачадо я видел несколько раз – он сидел в кафе за столиком, молчаливый и скромный, в черном костюме, какой носят нотариусы, суровый и нежный – исконное древо Испании. Злоязычный Хуан Рамон Хименес, древнее дьявольское отродье поэзии, говорил, что он, дон Антонио, вечно усыпанный пеплом, наверное, в карманах носит окур-

---

<sup>104</sup> Рамон Гомес де ла Серна (1888–1963) – испанский писатель.

ки.

Хуану Рамону Хименесу, блистательному поэту, я обязан тем, что познал легендарную испанскую зависть. Этому поэту не надо было завидовать никому – его поэзия подобна великому сиянию, засветившемуся в потемках, окутавших век; он жил, маскируясь под отшельника, и из своего укрытия метал стрелы в тех, кто, как ему казалось, затенял его славу.

Молодых – Гарсиа Лорку, Альберти, а с ними и Хорхе Гильена,<sup>105</sup> и Педро Салинаса<sup>106</sup> – Хуан Рамон преследовал без устали, и каждый день этот бородастый дьявол нападал то на одного, то на другого. Против меня он – из воскресенья в воскресенье – выступал с витиеватыми статьями в газете «Эль Соль». Но я предпочел жить сам и дать жить ему. И не ответил Хуану Рамону, как никогда не отвечаю – вообще не отвечаю – на литературные выпады против меня.

Однажды ко мне домой пришел поэт Мануэль Альтолагирре, у которого была типография – сам он по призванию был типографом, – и сказал, что собирается издавать прекрасный поэтический журнал, где будет представлено лучшее, что есть в испанской поэзии.

– Я знаю только одного человека, который мог бы руководить этим журналом, – сказал он. – Это – ты.

У меня была слава изобретателя журналов, которые я от-

---

<sup>105</sup> Хорхе Гильен (род. в 1893 г.) – испанский поэт.

<sup>106</sup> Педро Салинас (1892–1951) – испанский поэт «поколения 1927 года».

крывал, а потом вдруг бросал или же они меня бросали. В 1925 году я основал журнал «Конь Бастоса». Это было время, когда мы писали без знаков препинания, а Дублин открывали по улицам Джойса. Умберто Диас Касануэва<sup>107</sup> носил тогда свитер с глухим воротом – большая смелость для поэта тех времен. Поэзия его была непорочна и прекрасна; такой она и осталась. Росамель дель Валье<sup>108</sup> одевался во все черное, с ног до головы, как и подобает одеваться поэтам. Этих двух замечательных товарищей, прекрасно работавших в журнале, я помню. Других забыл. Но наш конь проскакал по времени и встряхнул его.

– Хорошо, Манолито. Я берусь руководить журналом.

Мануэль Альтолагирре набирал мои книги, и набирал замечательно, украшая набор изумительным шрифтом «бодони».<sup>109</sup> Манолито оказывал честь поэзии и своими стихами и трудом рук своих – рук архангела-труженика. Он перевел и поразительно, неповторимо набрал «Адонаиса» Шелли – элегию на смерть Джона Китса. Он набирал и «Сказку о реке Хениль» Педро де Эспиносы.<sup>110</sup> Благородный и величественный рисунок стихотворных строф сверкал золотом и глазурью, и каждое слово, казалось, было наново отлито и закале-

---

<sup>107</sup> Умберто Диас Касануэва (род. в 1906 г.) – чилийский поэт.

<sup>108</sup> Росамель дель Валье (род. в 1901 г.) – чилийский поэт.

<sup>109</sup> «Бодони» – шрифт, названный по имени его создателя – Джамбаттисты Бодони (1740–1813).

<sup>110</sup> Педро де Эспиноса (1578–1650) – испанский поэт.

но в огненном горниле.

Мы выпустили пять превосходно изданных номеров «Зеленого коня». Мне нравилось смотреть, как Манолито, улыбаясь и посмеиваясь, раскладывал литеры по кассам и нажимал педаль маленького печатного станка. Иногда он возил оттиски в детской коляске своей дочери Паломы. Прохожие умилялись:

– Какой отец! Вышел с ребенком, не побоялся бешеного уличного движения!

А его ребенком была Поэзия, отправлявшаяся в путь на Зеленом Коне. Журнал напечатал первые стихи Мигеля Эрнандеса ну и, конечно, Федерико, Сернуды, Алейсандре, Гильена (испанского). Хуан Рамон, нервный, весь принадлежавший девяностым годам прошлого века, не уставал забрасывать меня воскресными дротиками. Рафаэлю Альберта не понравилось название журнала.

– Почему конь зеленый? Красный – это я понимаю.

Но я коня не перекрасил. И мы с Рафаэлем из-за этого не поссорились. Мы вообще с ним никогда не ссорились. На свете довольно места для всех цветов радуги, довольно места и для коней, и для поэтов.

Шестой номер «Зеленого коня» так и остался на улице Вириато не сверстанным и не переплетенным. Номер был посвящен Хулио Эррера-и-Рейссигу<sup>111</sup> – второму Лотреамону

---

<sup>111</sup> Хулио Эррера-и-Рейссиг (1875–1910) – уругвайский поэт, представитель испано-американского модернизма. *Лотреамон* (граф до Лотреамон) – псевдоним

из Монтевидео, и то, что было написано в его честь испанскими поэтами, оцепенело и не увидело света, не исполнило своего назначения. Журнал должен был выйти 18 июля 1936 года, но в тот день улицы наполнились запахом пороха. Безвестный генерал по имени Франсиско Франко со своим гарнизоном в Африке поднял мятеж против республики.

---

французского писателя Изидора *Дюкаса* (1846–1870), родившегося и выросшего в Уругвае.

# Преступление было в Гранаде

Как раз теперь, когда я пишу эти строки, официальная Испания празднует годовщину – уже которую! – того мятежа. В этот момент в Мадриде каудильо, разодетый в синее с золотом, в окружении личной гвардии из марокканцев, вместе с американским, английским и другими послами делает смотр своим войскам. Войскам, состоящим в большинстве из мальчишек, не знавших той войны.

А я ее знал. Миллион испанцев – в земле! Миллион – в изгнании! Казалось, никогда из сознания человечества не уйдет эта кровавая заноза. И, однако ж, парни, которые сейчас проходят парадом перед марокканской гвардией, по-видимому, не знают этой страшной правды.

Для меня все началось ночью 19 июля 1936 года. Один симпатичный чилиец, искатель приключений, по имени Бобби Делане был устройтеlem представления борьбы кэтчистов в большом мадридском цирке «Принсе». Как-то я очень сдержанно отозвался об этом «спорте», и он упросил меня прийти в цирк вместе с Гарсиа Лоркой и самому убедиться в том, что зрелище стоящее. Я уговорил Федерико, и мы с ним условились встретиться там в назначенный час. Посмотреть своими глазами на зверства «троглодита в маске», «абиссинского душителя» и «злобного орангутанга».

Но Федерико в назначенный час не пришел. Он уже сту-

пил на дорогу смерти. Больше мы с ним не виделись. Впереди у него было свидание с иными душителями. Итак, война в Испании, изменившая мою поэзию, началась для меня тем, что сгинул поэт.

И какой поэт! Я не встречал больше ни в ком такого сочетания блистательного остроумия и таланта, крылатого сердца и блеска под стать хрустальному водопаду. Федерико Гарсиа Лорка был подобен щедрому, расточающему добро духу, он впитывал и дарил людям радость мира, был планетою счастья, жизнелюбия. Простодушный и артистичный, одинаково не чуждый космическому и провинциальному, необыкновенно музыкальный, великолепный мим, робкий и суеверный, лучащийся и веселый, он словно вобрал в себя все возрасты Испании, весь цвет народного таланта, все то, что дала арабско-андалусская культура; он освещал и дарил благоуханием, точно цветущий жасминовый куст, всю панораму той Испании, какой – боже мой! – теперь уже нет.

Я был пленен властью метафор Гарсиа Лорки, мне было интересно все, что он писал. И он тоже иногда просил меня почитать последние стихи и, случалось, прерывал на середине: «Не надо, хватит, а то я начинаю подпадать под твое влияние!»

В театре и в тишине, среди толпы и в самый торжественный момент Гарсиа Лорка умел множить красоту. Я никогда больше не встречал человека, руки которого умели бы так творить волшебство, никогда у меня не было брата, ве-



селее Федерико. Он смеялся, пел, музицировал, прыгал, что-то придумывал – весь искрился. Все на свете дарования, все таланты были у него, а он – как золотых дел мастер, как трудовая пчела на пасеке великой поэзии – Щедро, не скупясь, отдавал свой гений.

– Слушай, – говорил Федерико, беря меня за руку, – видишь окно? Правда же, оно распрославное?

– А что такое распрославное?

– Я и сам не знаю, надо просто понять, что распрославное, а что – нет. А не то пропадешь. Вот смотри – собака, до чего распрославная!

А то рассказывал, как однажды в Гранаде его пригласили в школу для детей младшего возраста на праздник, посвященный «Дон Кихоту», и когда он вошел в зал, детишки под управлением директрисы запели:

Этот труд про Дон Кихота  
в целом мире в навечно  
славу гордую снискал,  
потому что самолично  
дон Родригес<sup>112</sup> достославный  
предисловье в нем писал.

Однажды, через несколько лет после смерти Гарсиа Лорки, я читал о нем лекцию, и кто-то из публики спросил меня:

---

<sup>112</sup> *Родригес Марин*, Франсиско (1855–1943) – испанский поэт, биограф и фольклорист, специалист по творчеству Сервантеса.

– Почему в «Оде Федерико...» вы говорите, что теперь из-за него «стены больниц красят в голубой цвет»?

– Дружище, – ответил я, – задавать такой вопрос поэту – все равно что спрашивать женщину, сколько ей лет. Поэзия не есть нечто застывшее, поэзия струится и, бывает, выскальзывает из рук того, кто ее создает. Сырье, из которого делается поэзия, состоит из элементов; эти элементы есть и в то же время их как бы нет, они одновременно существуют и не существуют. Во всяком случае, постараюсь ответить вам начистоту. По-моему, голубой цвет – самый красивый. Он подразумевает простор и размах, доступный человеческому воображению, – небесный свод и даже свободу или радость. Талант Федерико, обаяние его личности были таковы, что, куда бы он ни приходил, приносил с собою радость. Может, этими стихами мне хотелось сказать, что даже больницы, со всей их больничной тоской, под чарами Федерико, под его счастливым влиянием могут преобразиться и стать прекрасными голубыми зданиями.

У Федерико было предчувствие близкой смерти. Как-то раз, возвратившись из гастролей, он рассказал мне очень странный случай, который приключился с ним. Вместе с артистами театра «Ла Баррака» они оказались в глухом кастильском селении и стали лагерем за околицей. Федерико, уставшему от дорожных забот, не спалось. Едва стало светать, он поднялся и отправился побродить один по окрестностям. Было холодно, этот холод – будто ножом режет – Ка-

стилия специально приберегает для путников, для чужаков. Туман висел белыми хлопьями, и все приобрело фантасмагорические очертания.

Высокая проржавевшая железная ограда. В опавшей листве – разбитые статуи, рухнувшие колонны. Перед воротами Федерико остановился. Они вели в огромный парк старого феодального поместья. В этот ранний час заброшенный парк выглядел пронзительно одиноким. Неожиданно Федерико охватило тяжелое предчувствие: что-то должно было случиться этим ранним утром, что-то неизвестное должно было произойти. Он сел на капитель упавшей колонны.

Меж развалин вдруг появился ягненок, совсем крохотный, он щипал траву, словно маленький ангел явился из тумана и сразу внес нотку жизни в одиночество парка, будто лепесток нежности затрепетал в безлюдной пустоте. И поэт почувствовал, что теперь он не одинок.

И тут же откуда ни возьмись появилось стадо свиней. Четыре или пять мрачных животных, черных, полуодичавших свиней, озверевших от голода, с каменными копытами.

И на глазах у Федерико разыгралась страшная сцена. Свиньи набросились на ягненка и, к ужасу поэта, разорвали его в клочья и сожрали.

Эта кровавая сцена и щемящее чувство одиночества так подействовали на Федерико, что он велел своему странствующему театру тотчас же отправляться в путь.

Федерико рассказал мне эту жуткую историю за три месяца.

ца до гражданской войны, все еще не придя в себя от пережитого ужаса.

И со временем мне становилось все яснее, что тот случай был как бы до срока разыгранным спектаклем о его собственной смерти, предвестием невероятной трагедии.

Федерико Гарсиа Лорку не расстреляли: Федерико Гарсиа Лорку убили. Само собою, никто и подумать такого не мог, что Гарсиа Лорку убьют. Он был самым любимым поэтом в Испании, его любили, как никого другого, а это чудесное умение радоваться делало Лорку похожим на ребенка. Кто бы поверил, что на земле, на *его земле*, сыщутся чудовища, способные на такое необъяснимое преступление?

За всю ту долгую борьбу это преступление было для меня самым горестным. Испания всегда была полем битвы гладиаторов; на ее земле всегда лилась кровь. Бой быков с его жертвоприношениями и жестокой элегантностью, обряженный в блестящий ритуал, повторяет древнюю битву на смерть между тенью и светом.

Инквизиция бросает в тюрьму фрая Луиса де Леон;<sup>113</sup> в тюремном застенке томится Кеведо; в кандалах бредет Колумб. И великое зрелище – захоронение в Эскориале.<sup>114</sup> А теперь – Долина Павших, с огромным крестом, воздвигнутым

---

<sup>113</sup> Луис де Леон (1527–1591) – испанский поэт и богослов.

<sup>114</sup> Эскориал – дворец-монастырь, воздвигнутый в 1563–1584 гг. близ Мадрида.

над миллионом мертвых и несчетным множеством мрачных  
заточений.

# Моя книга об Испании

Время шло. Надвигалось поражение. Поэты были вместе с испанским народом в его борьбе. Уже был убит в Гранаде Федерико. Мигель Эрнандес, некогда пасший стада коз, шел в бой, сражаясь словом. В солдатской форме, он читал свои стихи на передовой. Мануэль Альтолагирре по-прежнему работал в типографии. Одну типографию он организовал прямо на Восточном фронте, неподалеку от Хероны, в старом монастыре. Именно там он удивительно издал мою «Испанию в сердце». Думаю, мало найдется книг, имеющих такую удивительную историю создания и такую судьбу.

Солдаты научились набирать текст. Но не было бумаги. Потом нашли старую мельницу и решили там изготовить бумагу. Под бомбами, в разгар боя, получилась довольно странная смесь. Чего только не попало туда – от неприятельского знамени до окровавленного бурнуса марокканского солдата. И несмотря на то, что сырье было довольно необычным, а занявшиеся этим делом люди не имели никакого опыта, бумага вышла вполне приличная. Немногие сохранившиеся экземпляры книги поражают искусностью полиграфии и качеством бумаги – вот чего удалось добиться в таком диковинном бумагоделательном производстве.

Много лет спустя я увидел экземпляр того издания в Вашингтоне, в библиотеке конгресса, в витрине, где были вы-

ставлены самые необычные книги нашего времени.

Книгу напечатали. Это совпало с поражением республики. Сотни тысяч беженцев в битком набитых повозках покидали Испанию. То был массовый исход, самое горестное событие во всей испанской истории.

Вместе с теми, кто уходил в изгнание, шли оставшиеся в живых бойцы Восточной армии и с ними – Мануэль Альтолагирре и те, кто делал бумагу и печатал «Испанию в сердце».

Эти люди гордились моей книгой, они печатали мои стихи так, будто бросали вызов смерти. Позже я узнал, что многие предпочли тюки с только что отпечатанной книгой мешкам с личными вещами и провизией.

И так, с тюком за плечами, начали они свой долгий путь к Франции.

Эту нескончаемую колонну, двигавшуюся на чужбину, сотни раз бомбили. Падали бойцы, и книги рассыпались по шоссе. А оставшиеся в живых шли и шли. Там, за границей, которую переходили отправлявшиеся в изгнание испанцы, с ними обращались безжалостно. В костры были брошены последние экземпляры этой проникнутой горячим чувством книги; книга умирала, как и родилась, – в бою.

Мигель Эрнандес хотел укрыться в чилийском посольстве, которое во время войны дало приют очень многим – четырем тысячам – фалангистов. Тогдашний посол, Карлос Морла Линч, отказал в убежище великому поэту, хотя ко-

гда-то назывался его другом. Через несколько дней Мигеля Эрнандеса арестовали и бросили в тюрьму. Он умер в тюремной камере от туберкулеза три года спустя. Соловей не вынос заточения.

Моей консульской службе пришел конец. За участие в защите Испанской Республики правительство Чили решило снять меня с этого поста.



# Война и Париж

Мы приехали в Париж. Вместе с Рафаэлем Альберти и Марией Тересой Леон, его женой, мы сняли квартиру на набережной Орлож, в спокойном, чудесном районе. Прямо перед нами виднелся Новый мост, памятник Генриху IV и рыболовы, облепившие все берега Сены. За спиной у нас была площадь Дофина, где аромат листвы смешивался с ресторанными запахами. Там жил писатель Алехо Карпентьер,<sup>115</sup> тогда он был одним из самых нейтральных людей, которых я знал, он никогда ни против кого не выступал.

Нацисты, точно стая голодных волков, уже наседали на Париж.

С балкона, если посмотреть вправо, чуть перегнувшись через перила, можно было различить черные башни Консьержери. Огромные золоченые часы Консьержери были для меня пограничным столбом нашего района.

К счастью, во Франции моими лучшими друзьями долгие годы были два лучших французских писателя – Поль Элюар и Арагон. Оба – изумительное воплощение непосредственности, жизненной силы, и потому их голоса – самые звонкие в щедром литературном лесу Франции. И в то же время они убежденные и естественные участники формирования ее исторической морали. Трудно найти двух таких непохожих лю-

---

<sup>115</sup> Алехо Карпентьер (род. в 1904 г.) – кубинский прозаик, поэт, музыковед.

дей. Я не раз испытывал чисто поэтическое наслаждение, теряя время с Полем Элюаром. Если бы поэты отвечали в анкетах правду, они бы выдали этот секрет: нет на свете ничего прекраснее, чем терять время. Каждый на свой лад предаётся этой древней страсти. С Полем я не замечал ни дня, ни ночи и никогда не знал, важно или нет то, о чем мы говорим. Арагон похож на электронную машину – и речь и мысль его четки и стремительны. Из дома Элюара я всегда уходил, улыбаясь сам не зная чему. После нескольких часов, проведенных с Арагоном, я чувствовал себя как выжатый лимон, потому что этот дьявольский человек принуждал все время думать. Оба они были моими самыми верными друзьями, против них я не мог устоять, и, может быть, больше всего мне как раз нравится их антагонистическое величие.

# Нэнси Кунард

Мы с Нэнси Кунард решили выпустить поэтический сборник под заглавием: «Поэты мира защищают испанский народ».

У Нэнси в загородном доме, в провинции, была маленькая типография. Я уже не помню, как называлось это место, но было оно довольно далеко от Парижа. Когда мы приехали к ней, была уже ночь, лунная ночь. Снег и лунный свет словно дрожащим занавесом огораживали дом. Я был взволнован и вышел прогуляться. Когда повернул обратно к дому, снежные хлопья с ледяным ожесточением вихрились вокруг моей головы. Я сбился с пути и полчаса плутал наугад в белизне ночи.

Нэнси имела опыт в типографском деле. Когда она была подругой Арагона, она напечатала перевод «Hunting of the Snark»,<sup>116</sup> который они сделали вместе. По правде говоря, эта поэма Льюиса Кэрролла непереводаима, и, пожалуй, лишь у Гонгоры мы находим такой стиль – подобный сумасшедшей мозаике.

Я в первый раз взялся за литеры, и, наверное, мир не видел худшего наборщика. Из-за моей абсолютной неспособности к этому делу все буквы я поставил наоборот и вместо р везде вышло d. В одной строке два раза встречалось сло-

---

<sup>116</sup> «Охота Ворчуна» (англ.).

во «*pwpados*», которое у меня превратилось в «*dardapos*». И потом еще много лет Нэнси в наказание меня так и называла. «*My dear Dardapo*»<sup>117</sup> – начинались ее лондонские письма ко мне. Но в конце концов все-таки вышло очень красиво, и мы отпечатали шесть или семь тиражей. Кроме поэтов-борцов, вроде Гонсалеса Туньона<sup>118</sup> или Альберти и некоторых французских поэтов, мы напечатали страстные стихи Одена,<sup>119</sup> Спендера<sup>120</sup> и других. Эти английские кабальеро так никогда и не узнают, каких мук мне стоило набрать их стихи.

Время от времени из Англии приезжали поэты-денди, друзья Нэнси, с белым цветком в петлице, – они тоже писали антифранкистские стихи.

Во всей истории трудно, пожалуй, найти такой богатый источник вдохновения, каким стала для поэтов испанская война. Испанская кровь словно источала некий магнетизм, от которого трепетала поэзия целой эпохи.

Не знаю, имел наш сборник успех или нет, потому что как раз в тот момент трагически закончилась война в Испании и началась новая война – мировая. Она, несмотря на всю грандиозность, несмотря на всю ее непомерную жестокость, несмотря на героизм, который породила, почему-то все-таки не ударила так, как испанская война, во всеобщее сердце

---

<sup>117</sup> Мой дорогой Дардапо (*англ.*).

<sup>118</sup> *Гонсалес Туньон* Рауль (1905–1974) – аргентинский поэт-коммунист.

<sup>119</sup> *Оден Уистен Хью* (род. в 1907 г.) – английский поэт.

<sup>120</sup> *Спендер* Стивен (род. в 1909 г.) – английский поэт и литературный критик.

поэзии.

Немного спустя я вернулся из Европы на родину. Нэнси тоже вскорости приехала в Чили, и ее сопровождал тореро, который потом, в Сантьяго, бросил и быков, и Нэнси Кунард и занялся продажей сосисок и прочих колбасных изделий. Но мой дорогой друг, эта снобка высшей марки, была непобедима. В Чили она взяла себе в любовники одного чилийского поэта, бродягу и неряху, баска по происхождению, не без таланта, но – увы! – без зубов. Кроме того, новый избранник Нэнси был беспробудным пьяницей и, случалось, ночью поколачивал английскую аристократку, из-за чего ей частенько приходилось в обществе появляться в огромных темных очках.

По сути, она была одним из самых интересных людей, каких я знал, – человеком с душой Дон Кихота, человеком последовательным, отважным и возвышенным. Она была единственной наследницей компании «Кунард лайн», дочерью леди Кунард; в 1930 году Нэнси возмутила и шокировала Лондон, сбежав из дому с чернокожим музыкантом, игравшим в одном из первых джаз-оркестров, импортированных в Лондон отелем «Савой».

Когда леди Кунард обнаружила опустевшее ложе дочери и письмо, в котором та с гордостью сообщала о своей теперь «чернокожей» судьбе, благородная дама не медля отправилась к адвокату, с тем чтобы лишить дочь наследства. Итак, та бродившая по миру Нэнси, с которой я познакомился, бы-

ла навсегда отлучена от британского величия. А на званых вечерах в доме ее матери бывали Джордж Мур,<sup>121</sup> который, как шептались, и был настоящим отцом Нэнси, сэр Томас Бихем,<sup>122</sup> юный Олдос Хаксли<sup>123</sup> и тот, кто потом стал герцогом Виндзорским,<sup>124</sup> а в те времена еще был принцем Уэльским.

Нэнси Кунард ответила ударом на удар. В декабре того самого года, когда она была отлучена матерью, вся английская аристократия получила в подарок к Новому году брошюрку в красной обложке, озаглавленную: «Чернокожий мужчина и белая леди». Я не видел ничего более ядовитого. Были места, где по острословию она подымалась вровень со Свифтом.

Аргументы, которые она выставляла в защиту негров, были для леди Кунард и английского общества как дубинкой по голове. Помню, там говорилось, – я цитирую по памяти, а текст был еще острее:

«Вот бы вас, белая госпожа, или ваших родных также противозаконно похитило, избивало бы, заковало бы в цепи какое-нибудь более сильное племя, а потом увезло далеко от Англии и продало в рабство, да еще выставляло бы на посмешище – вот, мол, какие уроды бывают, и заставляло ра-

---

<sup>121</sup> Джордж Мур (1852–1933) – английский писатель.

<sup>122</sup> Томас Бихем (1879–1961) – английский музыкант, дирижер, оперный и балетный импресарио.

<sup>123</sup> Олдос Леонард Хаксли (1894–1963) – английский писатель.

<sup>124</sup> Речь идет об английском короле Эдуарде VIII. После отречения от престола в пользу своего брата принял титул герцога Виндзорского.

ботать под кнутом, и держало впроголодь. Что бы тогда стало с вашей расой? Негры вынесли во много раз больше насилия и жестокости. И после веков таких мук они, тем не менее, самые лучшие и самые элегантные атлеты и, кроме того, создали новую музыку, универсальную, как никакая другая. А вы, белые, могли бы выйти с победой из столь неравной борьбы? Ну, кто чего стоит?»

И так далее, на тридцати страницах.

Нэнси не могла вернуться в Англию, и с этого момента делила судьбу с людьми преследуемой черной расы. Во время нападения на Эфиопию<sup>125</sup> она уехала в Аддис-Абебу. Потом – в Соединенные Штаты, из солидарности с чернокожими парнями из Скоттсборо, обвинявшимися в гнусностях, которых они не совершали. Молодые негры были осуждены американским расистским правосудием, а демократическая американская полиция выдворила Нэнси из страны.

В 1969 году мой друг Нэнси Кунард умерла в Париже. В предсмертной агонии она, полуодетая, спустилась в гостиничном лифте. И там, внизу, упала, и навсегда закрылись ее прекрасные, светившиеся небом глаза.

Когда Нэнси умерла, она весила тридцать пять килограммов. Совсем скелет. Она растратила себя в долгой борьбе против несправедливостей мира. А в награду – при жизни становилась все более одинокой и умерла, всеми покинутая.

---

<sup>125</sup> Имеется в виду нападение на Эфиопию фашистской Италии осенью 1935 г.

# Конгресс в Мадриде

Дела в Испании шли все хуже, но испанский народ заразил весь мир духом сопротивления. В Испании сражались интернациональные бригады добровольцев. Я видел, как в 1936 году они прибывали в Мадрид, уже одетые в форму. Их было много, люди разных возрастов, цвета кожи и оттенков волос.

Шел 1937 год, мы находились в Париже, и наша главная задача была организовать конгресс писателей-антифашистов всего мира. Конгресс писателей в Мадриде. Тогда-то я и познакомился с Арагоном. С самого начала меня поразила его невероятная работоспособность и организаторский талант. Он сам диктовал все письма, сам правил и помнил их все. От его внимания не ускользало ни мельчайшей детали. Долгими часами без перерыва работал Арагон в нашей маленькой конторе. И после этого, как известно, писал толстые книги прозы, а его поэзия – самое прекрасное, что есть на французском языке. Я видел, как он правил корректуру своих переводов с русского и английского, видел, как, случалось, переделывал все заново прямо тут же, в корректуре. Человек он необычный, и я это понял еще тогда.

Потеряв консульскую службу, я остался без работы, а следовательно, и без гроша. За четыреста старых франков в месяц я устроился в общество защиты культуры, которым ру-



ководил Арагон. Делию дель Карриль, которая была тогда и еще много лет потом моей женой, считали богатой землевладелицей, но на самом деле она была еще беднее, чем я. Мы жили в гостинице сомнительного пошиба, где весь первый этаж был отведен для случайных парочек, которые заходили ненадолго. Несколько месяцев мы жили впроголодь. Но дело с конгрессом писателей-антифашистов шло на лад. Мы получали ответы от достойных людей. Один – от Йитса, национального поэта Ирландии. Другой – от Сельмы Лагерлёф, замечательной шведской писательницы. Оба были слишком стары, чтобы ехать в осажденный, подвергавшийся бомбардировкам город, каким стал Мадрид, но они примкнули к делу защиты Испанской Республики.

Я всегда считал, что мало стою, особенно в практических делах или если речь идет о выполнении важной миссии. И я совершенно растерялся, когда на мое имя пришел банковский чек. Чек был от испанского правительства. И на довольно большую сумму, которая покрывала основные расходы по конгрессу, включая проезд делегатов с других континентов. Десятки писателей стали прибывать в Париж.

Я ломал голову, как поступить с деньгами? И положил их на банковский счет организации, готовившей конгресс.

– Этих денег я в глаза не видел и понятия не имею, как ими распорядиться, – сказал я Рафаэлю Альберти, который как раз в это время был в Париже.

– Ну ты дурак, – ответил он. – Ты потерял консульское место, выступая в защиту Испании, и теперь ходишь в рваных башмаках. Разве ты не можешь выделить себе несколько тысяч франков, которые тебе полагаются за работу, на элементарные нужды?

Я посмотрел на свои ботинки и увидел, что они действительно рваные. Альберти подарил мне пару новых.

Несколько часов оставалось до отъезда в Мадрид – отправлялись все делегаты сразу. И Делиа, и Рауль Гонсалес Туньон, и я сам замучились и ошалели от бумаг, которые приходилось выправлять писателям, прибывавшим со всех концов света. Масса сложностей была с французскими выездными визами. В конце концов мы просто завладели парижским полицейским ведомством, где выдавали эти разрешения, которые смешно назывались по-французски *recépissou*.<sup>126</sup> Иногда мы и сами даже ставили на паспорт печать с помощью важного инструмента под названием *tampon*.<sup>127</sup>

Вместе с норвежцами, итальянцами, аргентинцами прибыл из Мексики поэт Октавио Пас,<sup>128</sup> пережив по дороге тысячу приключений. Я гордился тем, что удалось его привезти. У него к тому времени была только одна книга, я получил ее незадолго до этого, и мне показалось, что в ней есть

---

<sup>126</sup> Квитанция, расписка (искаж. от *франц.* *recépissé*).

<sup>127</sup> Печатка (*франц.*).

<sup>128</sup> Октавио Пас (род. в 1914 г.) – мексиканский поэт.

драгоценное зерно. Но тогда этого поэта еще никто не знал.

Зашел ко мне мой старый друг Сесар Вальехо, он был мрачнее тучи. Его злило, что не дали билета его жене, которую все мы терпеть не могли. Мы дали Вальехо билет для нее, но он ушел таким же мрачным, как и пришел. Видно, что-то случилось с ним, но что именно, я узнал только несколько месяцев спустя.

А собака вот где была зарыта: в Париж для участия в конгрессе приехал и мой соотечественник Висенте Уидобро. Мы с Уидобро были в раздоре и не здоровались. Он же был тогда очень дружен с Вальехо и воспользовался этими днями в Париже, чтобы наговорить моему наивному другу на меня бог знает что. Все это вышло наружу только потом, в драматическом объяснении, которое состоялось у меня с Вальехо.

Никогда из Парижа не отходил поезд, так набитый писателями. Встречаясь в вагонных коридорах, мы узнавали друг друга или, наоборот, делали вид, что друг друга не знаем. Одни шли спать, другие без перерыва курили. Для многих Испания была загадкой или откровением той эпохи и даже истории.

Где-то здесь ехали и Вальехо с Уидобро. Андре Мальро<sup>129</sup> на минуту остановился поговорить со мной – лицо подергивается в нервном тике, на плечи накинут плащ. На этот

---

<sup>129</sup> Андре *Мальро* (1901–1976) – французский писатель, искусствовед, политический деятель.

раз он ехал один. Прежде я всегда встречал его с летчиком Кортон-Молиньером, главным исполнителем его замыслов в небе Испании, над городами, переходившими из рук в руки; он сыграл большую роль в доставке самолетов для Республики.

Помню, на границе поезд долго стоял. И надо же было так случиться – у Уидобро потерялся чемодан. Все были заняты или обеспокоены задержкой поезда, и никому не было дела до его чемодана. В эту недобрую минуту чилийскому поэту в поисках чемодана вздумалось выйти на перрон, где стоял Мальро, глава всей нашей экспедиции, который по натуре был нервным, а тут еще столько хлопот, – словом, чаша переполнилась. А может, он не знал Уидобро ни по имени, ни в лицо. Когда Уидобро подошел к Мальро, чтобы заявить ему о пропаже чемодана, тот потерял остатки терпения. Я слышал, как он кричал: «Долго вы будете ко всем приставать? Убирайтесь! Je vous emmerde!»<sup>130</sup>

К несчастью, я оказался очевидцем происшествия, так ударившего по тщеславию чилийского поэта. Я бы предпочел тогда очутиться за тысячу километров от того места. Но жизнь чего только не выкидывает. Я один во всем поезде был противен Уидобро. И надо же было мне, вдобавок чилийцу, как и он сам, а не кому-нибудь еще из ста ехавших с нами писателей, надо же было именно мне оказаться единственным свидетелем этого случая.

---

<sup>130</sup> «Катитесь отсюда!» (франц.)

Когда тронулись в путь, наступила ночь и мы уже катили по испанской земле, я вспомнил об Уидобро, о его чемодане и о тех неприятных минутах, которые он пережил. И я сказал молодым писателям из одной латиноамериканской республики, которые зашли ко мне в купе:

– Сходите к Уидобро, он, наверное, один и расстроен.

Через двадцать минут они вернулись, на их лицах было ликование. Уидобро сказал им: «Довольно о чемодане, это чепуха. Хуже другое: университеты Чикаго, Берлина, Копенгагена, Праги – все присвоили мне почетные звания, а вот маленький университет вашей маленькой страны – единственный, кто продолжает меня игнорировать. Даже никогда не пригласите прочитать лекцию о креасьонизме».

Решительно, моего соотечественника, большого поэта, ничто не могло изменить.

Наконец, мы приехали в Мадрид. Пока встречали и размещали прибывших писателей, я решил навестить в свой дом, в котором почти год назад оставил все, как было. Оставил книги, вещи. Квартира находилась в здании, носившем название «дом цветов», у самого въезда в университетский городок. Именно до этого места дошли наступавшие войска Франко. И дом переходил несколько раз из рук в руки.

Мигель Эрнандес, в форме милисиано и с винтовкой, раздобыл тележку, чтобы вывезти книги и то, что мне захочется взять из вещей.

Мы поднялись на пятый этаж и не без волнения открыли

двери квартиры. Пулеметной очередью были выбиты стекла и отбита штукатурка на стенах. Книги выброшены с полок. Невозможно было разобраться в этой груде мусора и обломков. И все-таки я неловко искал что-то. Интересно, что исчезли как раз вещи самые бесполезные, изысканные, должно быть, их унесли солдаты, бравшие дом, или его защищавшие. А вот кастрюли, швейная машинка, тарелки, хотя и были разбросаны в беспорядке, все же уцелели, в отличие от моего консульского фрака, масок из Полинезии и ножей с Востока, от которых не осталось и следа.

– Война причудлива, как сны, Мигель.

Где-то среди разбросанных бумаг Мигель нашел какие-то мои рукописи. Этот беспорядок и разруха словно захлопнули дверь за моей прошлой жизнью. Я сказал Мигелю:

– Ничего не хочу брать с собой.

– Ничего? Даже книги?

– Даже книги, – ответил я.

И мы ушли с пустой тележкой.

## Маски и война

*... Мой дом остался меж двумя зонами... С одной стороны наступали марокканцы и итальянцы... С другой – наступали, отступали, ненадолго задерживались защитники Мадрида... По стенам прошла артиллерия... Стекла разлетелись вдребезги... На полу меж книг я нашел кусочки свинца... А маски ушли... Маски, которые я собрал в Таиланде, на Бали, на Суматре, на Малайском архипелаге, в Бандунге... Позолоченные, цвета пепла или томатов, с бровями посеребренными, синими, злобно сведенными, насупленными, эти маски были единственной памятью о том, первом Востоке, куда я приехал таким одиноким, и он встретил меня ароматом чая, навоза, опиума, пота, приторным запахом жасмина, франжипани, гниющих на улицах фруктов... Эти маски – память о целомудренных танцах, о плясках перед храмом... Капли древесины, расцвеченные мифами, останки пышной мифологии, способной начертать в воздухе мечты, обычаи, злых духов и таинства, которые моя латиноамериканская натура была не в силах постигнуть...*

*И вот... Может, между выстрелами милисиано выглядывали из окон моего дома, надев на лица маски, и напугали марокканцев... Многие, разбитые в щепки и окровавленные, так и остались на месте... А другие, вырванные выстрелом, скатились с пятого этажа... И перед ними остано-*

вились наступавшие войска Франко... У них на глазах улюлюкала невежественная орда наемников... Тридцать масок азиатских богов поднялись из моего дома в последнюю пляску, в пляску смерти... Мгновение затишья... И вдруг все изменилось... Я присел, разглядывая обломки, пятна крови на циновке... И через новые окна, через выбоины от пуль... я взглянул дальше за черту университетского городка, туда, на равнины, на древние замки... И мне привиделось: Испания опустела... Мне почудилось: мои последние гости ушли навсегда... В масках и без масок... А с ними – выстрелы, и песни войны, и безумное веселье, и невероятная оборона – не на жизнь, а на смерть, – все это кончилось для меня... Наступила последняя тишина, тишина после фиесты... Последней фиесты... Так, с масками, которые ушли, с масками, которые пали, с солдатами, которых я не приглашал, уходила от меня Испания...



# Я вышел искать павших

## Тетрадь 6

### Путь выбран

Хотя членский билет я получил гораздо позднее, в Чили, когда официально вступил в партию, думаю, что коммунистом стал – в своих собственных глазах – во время войны в Испании. Моей глубокой убежденности способствовало многое.

Мой товарищ, вечно споривший со мной, поэт-нищеец Леон Фелипе<sup>131</sup> был обаятельным человеком. Более всего привлекала в нем анархическая недисциплинированность и насмешливая мятежность. В разгар гражданской войны он довольно легко дал увлечь себя броской пропаганде ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Фелипе часто бывал в отрядах анархистов, излагал им свои мысли и читал иконоборческие стихи. В этих стихах нашла отражение его идеология – смутно анархическая, антиклерикальная, насыщенная призывами и проклятьями. Слова Фелипе пленяли анархистов, которые день ото дня объединялись во все более живописные группы, в то время как население уходило на фронт,

---

<sup>131</sup> Леон *Фелипе* (1884–1968) – испанский поэт.

с каждым днем приближавшийся к Мадриду. Анархисты разрисовывали трамваи и автобусы наполовину в красный, наполовину в желтый цвет. Патлатые и бородатые, в ожерельях и браслетах из пуль, точь-в-точь ряженные на этом карнавале-агонии, предсмертной агонии Испании. На некоторых из них я видел и башмаки-эмблемы – полукрасные-получерные, вот, наверное, хлопот с ними было сапожникам. И не думаю, что это ограничивалось безобидным шутовством. У каждого имелся нож. огромных размеров пистолеты, винтовки и карабины. Обычно анархисты устраивались группами у входа в какой-нибудь дом, курили, сплевывали, выставляли напоказ оружие. Главным их занятием были поборы с жильцов, которых они запугали до смерти. А то заставляли их «добровольно» отказываться от своих драгоценностей – колец, часов.

Как-то Леон Фелипе возвращался с одного из своих анархистских собраний – дело было ночью, – мы встретились с ним в кафе на углу, около моего дома. На поэте был испанский плащ, и он очень шел к его бородке назарянина. Выходя из кафе, Фелипе чуть задел элегантными складками романтического одеяния кого-то из своих чересчур обидчивых единомышленников. Не знаю, может, этого «героя тыла» уязвил сам вид Леона Фелипе, походившего на почтенного идадьго, но только не прошли мы и нескольких шагов, как нас остановила группа анархистов во главе с обиженным из кафе. Они потребовали наши документы и, просмотрев

их, повели Леона Фелипе, этого льва среди поэтов, под вооруженным конвоем.

Пока они вели, чтобы расстрелять его тут же, неподалеку, у самого моего дома, – а такие выстрелы я слышал частенько, и они не давали мне спать по ночам, – я заметил на улице двух милисиано. Я объяснил им, кто такой Леон Фелипе, какой провинностью он навлек на себя гнев, и благодаря им удалось выручить друга из беды.

Эта обстановка идеологической неразберихи и безнаказанного насилия заставила меня многое передумать. Я узнал о «подвигах» одного анархиста-австрийца, старого и близорукого, с длинными седыми космами, который специализировался на «прогулках» и сколотил отряд под названием «Заря», потому что действовал он на рассвете.

– У вас не бывает головных болей? – спрашивал этот анархист жертву.

– Да, конечно, случаются.

– Так вот я дам вам прекрасное обезболивающее, – говорил анархист-австриец и, приставив ко лбу встречного револьвер, стрелял.

В слепой мадридской ночи, кишмя кишевшей подобными бандитами, коммунисты были единственной организованной силой, и именно они посылали войска сражаться с итальянцами, немцами, марокканцами и фалангистами. И они же были той моральной силой, которая поддерживала сопротивление и антифашистскую борьбу.

Короче говоря: надо было выбирать путь. И именно это сделал я в те дни и никогда потом не раскаивался в решении, которое принял в ту, полную тьмы и надежд, трагическую пору.

# Рафаэль Альберти

Поэзия всегда – мир. Поэт творится из мира, как хлеб рождается из муки.

Поджигатели, зачинщики войн, волки первым делом ищут поэта, чтобы сжечь его, убить, загрызть. Задира-дуэлянт смертельно ранит Пушкина в мрачном тенистом парке, в бешеной скачке топчут конями безжизненное тело Петёфи.<sup>132</sup> Сражаясь против войны, умирает в Греции Байрон. Испанские фашисты начинают войну в Испании тем, что убивают ее лучшего поэта.

Рафаэль Альберти как будто выжил. Ему была уготована тысяча смертей. Одна – тоже в Гранаде. Другая поджидала его в Бадахосе. В солнечной Севилье, в Кадисе и в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, на его родине, искали Рафаэля Альберти, чтобы зарезать, чтобы повесить, чтобы убить его, а с ним – еще раз поэзию.

Но поэзия не умерла, у нее, как у кошки, семь жизней. Ее пинают, ее волокут по улицам, ее оплевывают, над ней насмеются, ее хватают за глотку и душат, ее высылают, бросают за решетку, ее расстреливают в упор, и из всех этих переделок она выходит, сияя улыбкой и чистотою.

Я познакомился с Рафаэлем Альберти на мадридских улицах; помню его там – в синей рубашке и ярком галстуке. Я

---

<sup>132</sup> *Петёфи* Шандор (1823–1849) – венгерский поэт.

знал Альберти, когда он боролся вместе с народом и когда мало кто из поэтов разделил с пародом его трудную долю. Тогда еще не звонили колокола по Испании, но он уже знал, что таилось в ее грядущем дне. Альберти – южанин, родился у звонкого моря, близ подвальчиков с желтым, как топаз, вином. И сердце его сотворилось из огня, виноградной лозы и шума прибоя. Он всегда был поэтом, хотя в первые годы жизни не знал этого. Потом об этом узнали все испанцы, а позже – весь мир.

Для нас, кому выпало счастье говорить на языке Кастилии, Рафаэль Альберти означает весь блеск поэзии испанского языка. Он не просто поэт от рождения, он великий знаток формы. В его поэзии, точно в алой розе, чудесным образом расцветшей среди января, – снеговая хрупкость Гонгоры, корень Хорхе Манрике,<sup>133</sup> лепесток Гарсиласо,<sup>134</sup> скорбный аромат Густаво Адольфо Беккера.<sup>135</sup> Другими словами, в его хрустальной чаше слились воедино все изначальные песни Испании.

Эта алая роза осветила путь тем, кто восстал в Испании, чтобы преградить дорогу фашизму. Мир знает эту героическую и трагическую историю. Альберти не только писал эпические сонеты, не только читал их в казармах и на фронте, –

---

<sup>133</sup> Хорхе Манрике (1440–1479) – испанский поэт.

<sup>134</sup> Гарсиласо де ла Вега (1503–1536) – испанский поэт, дипломат.

<sup>135</sup> Густаво Адольфо Беккер (1836–1870) – испанский писатель, представитель позднего испанского романтизма.

он изобрел партизанскую войну поэзии, он научил поэзию сражаться против войны. Он придумал песни, у которых под взрывами снарядов вырастали крылья, песни, которые потом облетели всю землю.

Такой чистейший поэт в критический момент существования человечества показал всему миру общественную значимость поэзии. Этим он похож на Маяковского. Общественная значимость поэзии зиждется на силе; на нежности, на радости и на истинной сути. А без этого поэзия звучит, но не поет. Альберти поет всегда.

## Нацисты в Чили

Снова я возвращался на родину в вагоне третьего класса. Хотя в Латинской Америке и не было таких случаев, чтобы известные писатели, подобно Селину,<sup>136</sup> Дрие ла Рошелю<sup>137</sup> и Эзре Паунду,<sup>138</sup> превратились в предателей, прислужников фашизма, тем не менее в ней было довольно сильно прогитлеровское течение, которое возникло или само по себе, или же было финансировано. Повсюду появлялись группы людей, которые вскидывали руку в фашистском приветствии и щеголяли в форме штурмовиков. И не просто группы. Старые феодальные олигархии на континенте симпатизировали (и симпатизируют) всякому проявлению антикоммунизма, не важно, идет ли оно из Германии или от местных ультралевых. И потом, не надо забывать, что в некоторых районах Чили, Бразилии и Мексики огромная часть населения – выходцы из Германии. Вот эти слои и были увлечены стремительным взлетом Гитлера и древней сказкой о германском величии.

В ту пору, в пору шумных побед Гитлера, мне не раз слу-

---

<sup>136</sup> *Селин* – настоящее имя Луи Фердинанд *Детуш* (1894–1961) – французский писатель, апологет нацизма.

<sup>137</sup> *Дрие ла Рошель* Пьер (1893–1945) – французский писатель; в период оккупации Франции нацистами возглавлял коллаборационистский журнал.

<sup>138</sup> Эзра Лумис *Паунд* (род. в 1885 г.) – американский поэт и критик; был сторонником итальянского фашизма.



чалось в каком-нибудь селении или городке на юге Чили переходить улицу под настоящим лесом знамен, украшенных свастикой. Однажды в маленькой южной деревушке мне пришлось воспользоваться единственным имевшимся там телефоном, и я оказался вынужденным невольно воздать почесть фюреру. Владелец этого телефона-автомата, немец, изловчился так повесить аппарат, что тому, кто им пользовался, приходилось стоять, вытянув руку кверху, под портретом Гитлера, на котором тот был изображен тоже со вскинутой вверх рукой.

Я был редактором журнала «Аурора де Чили». Весь свой заряд (а иных снарядов у меня и не было) мы направляли по нацистам, которые проглатывали страну за страной. Гитлеровский посол в Чили подарил Национальной библиотеке книги по так называемой неонемецкой культуре. В ответ мы попросили наших читателей прислать нам книги подлинной, настоящей Германии, запрещенные Гитлером. Мы пошли на рискованный опыт. Я получал письма, в которых мне грозили смертью. Пришло много посылок, где вместе с книгами тщательным образом были упакованы нечистоты. Получили мы и подборку «Штюрмера» – порнографической газеты садистского и антисемитского характера, во главе которой стоял Юлиус Штрейхер, несколькими годами позже справедливо приговоренный к повешению в Нюрнберге. Однако со временем робко, но все же начали приходить книги на немецком Генриха Гейне, Томаса Манна, Анны Зегерс,

Эйнштейна, Арнольда Цвейга. Когда у нас набралось около пятисот томов, мы пошли отдать их в Национальную библиотеку.

Ну и сюрприз! Двери Национальной библиотеки оказались запертыми на висячий замок.

Тогда мы с книгами и портретами пастора Нимёллера<sup>139</sup> и Карла фон Осецкого<sup>140</sup> парадным строем вошли в актальный зал университета. Не помню, по какому поводу, но как раз в тот момент в зале шло собрание под председательством дона Мигеля Кручаги Токорналя, министра иностранных дел. Мы аккуратно выложили книги и портреты на сцену, перед председательским столом. Битва была выиграна: книги принесли.

---

<sup>139</sup> *Нимёллер* Мартин (род. в 1892 г.) – протестантский священник, антифашист, узник гитлеровских концлагерей, активный борец за мир.

<sup>140</sup> Карл фон *Осецкий* (1889–1938) – немецкий публицист, борец против фашизма, лауреат Нобелевской премии мира (1936 г.)

# Исла-Негра

Я решил с еще большим рвением и упорством заняться литературным трудом. Виденное в Испании закалило меня, я стал более зрелым. Горьким часам моей поэзии пора было кончиться. Глубоко личная грусть «Двадцати стихотворений о любви...» и скорбная патетика книги «Местожителство – Земля» подошли к своему логическому концу. У меня было такое ощущение, что я разрабатывал жилу, найденную не в земле, а меж книжных страниц. Может ли поэзия служить нам подобным? Может ли она вместе с человеком идти в бой? Достаточно я блуждал по просторам иррационального и замыкался на отрицательном. Пора остановиться и искать путь, который был бы ближе человеку, путь, забытый современной литературой, путь, корпи которого уходили бы в глубины помыслов и чаяний человеческого существа.

Я начал работать над «Всеобщей песнью».

Но для работы мне нужен был дом. Я нашел каменный дом у самого океана, в месте, которого никто на свете не знал – в Исла-Негра. Владелец дома, старый испанец, социалист, морской капитан дон Эладио Собрино, строил дом для своей семьи, однако потом решил продать мне. Но как его купить? Я предложил издательству «Эрсилья», которое до того издавало мои книги, заявку на «Всеобщую песнь». Но издательство ее не приняло. Тогда с помощью других издателей,

которые стали выплачивать мои гонорары непосредственно владельцу дома, я в 1939 году смог наконец купить в Исла-Негра дом для работы.

Идея написать большую поэму, которая объяла бы исторические события и природу континента, жизнь и борьбу наших народов, – эта идея стала для меня первостепенной и неотложной. Дикое побережье Исла-Негра и неумолчное волнение океана помогли мне: я со всей страстью отдался новой затее – своей новой песне.

## «Привезите мне испанцев»

Но жизнь поспешила вытащить меня оттуда.

До Чили доходили страшные вести об эмиграции испанцев. Более пятисот тысяч человек, принимавших участие в войне и гражданских лиц, перешли французскую границу. Во Франции правительство Леона Блюма под давлением реакционных сил заключило их в концентрационные лагеря, разбросало по крепостям и тюрьмам или загнало в Африку, в районы близ Сахары.

В Чили сменилось правительство. Борьба испанского народа укрепила дух и силу чилийского народа, и теперь у нас было прогрессивное правительство.

Чилийское правительство Народного фронта решило направить меня во Францию с миссией самой благородной, какую только мне случалось выполнять в жизни: вызволить из заключения испанцев и отправить их ко мне на родину. Поэзия моя теперь могла бы стать светом, исходящим от Америки, для тех людей, которые, как никто на земле, знают, что такое страдания и героизм. Итак, поэзия моя теперь – вместе с той материальной помощью, которую оказывала Америка, принимая испанцев, – платила свой давний долг.

В гипсе – мне только что оперировали ногу, – физически чуть ли не инвалид, я покинул свое уединение и предстал перед президентом республики. Дон Педро Агирре Серда при-

нял меня тепло.

– Вот так, привезите мне тысячи испанцев. У нас есть работа для всех. Привезите мне рыбаков; привезите басков, кастильцев, эстремадурцев.

И через несколько дней, все еще в гипсе, я отправился, во Францию за испанцами для Чили.

У меня было конкретное задание. Я стал консулом по вопросам испанской иммиграции – так говорилось в назначении. При всех чинах и регалиях я явился в чилийское посольство в Париже.

Правительство и политическая ситуация у меня на родине изменились. Посольство в Париже не изменилось ничуть. Известие о том, что испанцев собираются переправлять в Чили, привело в бешенство расфранченных дипломатов. Мне выделили кабинет рядом с кухней, меня третировали как могли, даже писчей бумаги не давали. Но к посольским дверям уже хлынула волна «нежелательных»: раненые бойцы, юристы и писатели, врачи, лишившиеся клиник, рабочие всех специальностей.

Вопреки всем препятствиям они находили дорогу к моему кабинету, по поскольку кабинет помещался на четвертом этаже, посольские придумали дьявольскую мерзость: остановили лифт. Сердце разрывалось глядеть, как ко мне на четвертый этаж взбирались испанцы, многие из которых были ранены на войне или едва выжили в африканских концлагерях, а жестокие чиновники, видя их мучения, радовались.

## Дьявольский тип

Дабы усложнить жизнь мне еще более, чилийское правительство Народного фронта сообщило мне о прибытии нового чиновника – поверенного в делах. Я несказанно обрадовался, думая, что новый сотрудник сможет обойти все препятствия, которые чинили мне старые посольские работники в связи с испанской эмиграцией. На вокзале Сен-Лазар с поезда сошел сухопарый паренек в очках без правы – пенсне, которые делали его похожим на канцелярскую крысу. Чиновнику было года двадцать четыре – двадцать пять. Высоким женоподобным голосом, прерывающимся от волнения, он сообщил, что считает меня своим начальником и приехал сюда лишь затем, чтобы помочь мне великом деле отправки в Чили «славных пораженцев войны». И хотя радость моя по поводу прибытия подкрепления еще не угасла, сам тип не очень меня обрадовал, похвалах и восторгах, которые он расточал, мне показалось, я уловил фальшь. Позднее я узнал, что с победой народного фронта в Чили ему пришлось не по доброй воле перейти из иезуитской организации «Рыцари Колумба» в ряды коммунистической молодежи. Дело было в разгар формирования движения, и его вожаков очаровали интеллектуальные достоинства этого молодца. Арельяно Марин писал комедии и статьи, был эрудит, до предела словоохотлив и знал, похоже, все на свете.

Надвигалась мировая война. Париж каждую ночь ждал немецких бомбежек, и все были проинструктированы, как укрываться во время воздушных налетов. С наступлением вечера я шел в Вилье-сюр-Сен, в маленький домик у реки, а утром с тяжелым чувством возвращался в посольство.

Не прошло и нескольких дней, как только что приехавший Арельяно Марин сделался таким важным, каким мне из удалось стать никогда. Я представил его Негрину,<sup>141</sup> Альваресу дель Вайо<sup>142</sup> в некоторым руководителям испанских партий. А неделю спустя новый чиновник был с ними чуть ли не на ты. К Марину входили и от него выходили испанские руководители, которых я не знал. Их долгие разговоры были для меня тайной. Время от времени он звал меня, чтобы показать бриллиант или изумруд, купленный им для матери, или чтобы доверительно рассказать об одной блондинке, невозможной кокетке, которая невероятно выставила его в парижских кабаре. С Арагоном и особенно с Эльзой<sup>143</sup> – мы укрывали их в посольстве во время репрессий против коммунистов – Арельяно Марин тотчас же завязал приятельские отношения, окружил заботой, засыпал подарками. Должно быть, его психология заинтересовала Эльзу Триоле, потому

---

<sup>141</sup> *Негрин Лопес* Хуан (1894–1956) – испанский политический деятель; с 1937 до 1939 г. – премьер-министр Республиканского правительства Испании; с 1939 по 1945 г. возглавлял республиканское правительство в изгнании.

<sup>142</sup> *Альварес дель Вайо* Хулио (род. в 1891 г.) – испанский политический деятель, публицист, дипломат.

<sup>143</sup> *Эльза Триоле* (1896–1970) – французская писательница.



что потом он появляется у нее в одном или двух романах.

Жадность Марина к роскоши и деньгам росла день ото дня, это становилось ясно даже мне, хотя я никогда особенно не обращал внимания на такие вещи. С необычайной легкостью он менял марки автомобилей, снимал все более пышные апартаменты, и белокурая кокетка, похоже, с каждым днем все больше донимала его своими требованиями.

Для решения одной чрезвычайно драматической проблемы, связанной с эмигрантами, мне пришлось на время перебраться в Брюссель. Однажды, выходя из в высшей степени скромной гостиницы, в которой остановился, я лицом к лицу столкнулся со своим сотрудником, элегантным Арельяно Мариной. Он бросился ко мне с радостным дружеским восклицанием и пригласил пообедать с ним в тот же день.

Мы встретились в самом дорогом брюссельском отеле. На столе стояли орхидеи. Разумеется, Марин заказал икру и шампанское. Пока он излагал пышные планы путешествий, которые собирался вскорости совершить, и покупок драгоценностей, которые намеревался произвести, я предусмотрительно помалкивал. Мне казалось, я слушаю нувориша с явными симптомами безумия, а от его цепкого взгляда и категоричности меня подташнивало. Решив рубануть под корень и честно, напрямик высказать свои опасения, я попросил его пойти пить кофе к нему в номер – хочу поговорить кое о чем.

У огромной лестницы, по которой мы должны были под-

няться, чтобы попасть в номер, к нам подошли двое мужчин, мне незнакомых. Марин по-испански попросил их подождать – через несколько минут он спустится.

Мы вошли, я отодвинул кофе. Диалог был напряженный:

– Мне кажется, – сказал я, – что ты пошел дурной дорожкой. Так ты просто помешаешься на деньгах. Может, ты еще слишком молод и потому не понимаешь, что политические задачи у нас очень серьезные. В наших руках – судьбы тысяч эмигрантов, такими вещами не шутят. Я ничего не хочу знать о твоих делах, но предупреждаю тебя. Бывает, люди неудачно проживут жизнь, а потом говорят: «Некому было дать совет, никто меня не предупредил». С тобой такого не случится. Я тебя предупредил. А теперь ухожу.

Собираясь попрощаться, я взглянул на Марину. Слезы текли у него из глаз – к самому рту. Я почувствовал раскаяние. Не слишком ли далеко зашел? Я тронул его за плечо.

– Не плачь!

– Я плачу от злости, – ответил он.

Ни слова больше не сказав, я ушел. Потом вернулся в Париж и никогда больше не видел этого человека. А когда я спустился по лестнице – в Брюсселе, – те двое, что его ожидали, быстро поднялись к нему в комнату.

Развязку этой истории я узнал гораздо позднее, в Мексике, где в то время был консулом Чили. Однажды меня пригласили обедать испанские беженцы, жившие там, и двое из них узнали меня.

– Откуда вы меня знаете? – спросил я.

– Мы те самые, что в Брюсселе зашли к вашему соотечественнику, Арельяно Марину, когда вы вышли из его номера.

– И что же было потом? Я так и не узнал, а мне очень интересно, что там произошло, – сказал я.

И испанцы рассказали потрясающую историю. Они нашли Марина в слезах, он был взволнован до глубины души. Рыдая, Марин сказал: «Сейчас я пережил самый жуткий момент в жизни. Только что отсюда вышел Неруда, он пошел донести на вас в гестапо, пошел выдать вас как опасных испанских коммунистов. Мне удалось уговорить его хотя бы подождать несколько часов. У вас считанные минуты – бегите. Оставьте вещи, я переправлю их вам позже».

– Вот кретин! – сказал я. – Но как бы то ни было, вам удалось спастись от немцев.

– Да, но в чемоданах было девяносто тысяч долларов, принадлежавших испанским рабочим профсоюзам, и этих долларов мы больше не увидели и не увидим.

А еще позже я узнал, что этот дьявольский тип совершил долгое и увлекательное путешествие по Ближнему Востоку в обществе своей парижской привязанности. Как выяснилось, кокетливая блондинка, такая взыскательная, оказалась белокурым студентом из Сорбонны.

Через некоторое время в чилийских газетах появилось его заявление о выходе из компартии. «Глубокие расхождения

идеологического характера вынуждают меня принять это решение», – так говорилось в его открытом письме газетам.

# Генерал и поэт

Каждый человек, переживший поражение или вернувшийся из плена, – целый роман со многими главами, где есть место слезам и смеху, одиночеству и увлечениям. Некоторые рассказы меня потрясли.

Я знал одного генерала авиации, высокого, аскетического вида мужчину, он кончил военную академию, и каких только титулов и наград у него не было. Он ходил по улицам Парижа, старый и прямой, точно черный кастильский тополь, – темень Дон Кихота с испанской земли.

Когда франкистские войска расчленили республиканскую зону надвое, этот генерал Эррера должен был патрулировать в полной темноте – проверять оборонительные укрепления, отдавать приказы по одну и по другую сторону зоны. И вот в ночи – темень хоть глаз выколи – он летал на своем самолете над вражеской территорией. Пули франкистов то и дело задевали самолет. Но было темно, и генерал скучал. Тогда он изучил метод Брайля. Он научился читать, как читают слепые, и, летая на опасные задания, читал пальцами, меж тем как внизу бушевали огонь и боль гражданской войны. Генерал рассказывал мне, что он прочитал таким образом «Графа Монте-Кристо» и уже начал «Трех мушкетеров», но тут ночные чтения по методу слепых были прерваны поражением, а потом – изгнанием.

С волнением я вспоминаю и другую историю, рассказанную мне андалусским поэтом Педро Гарфиасом.<sup>144</sup> В изгнании он жил в замке одного лорда, в Шотландии. В замке никогда никто не бывал, и Гарфиас, беспокойный по характеру, как все андалусцы, каждый день ходил в таверну неподалеку и пил там пиво, молча, в одиночестве, потому что английского он не знал, да и испанский едва-едва, а говорил на том языке испанских цыган, который я сам понимаю с трудом. Этот немой завсегда привлек внимание хозяина таверны. Однажды ночью, когда все любители пива уже разошлись по домам, хозяин таверны попросил его остаться, и они еще долго в молчании пили, сидя у огня камина, который сыпал искрами и разговаривал за двоих.

Это стало традицией. Каждый вечер Гарфиас был гостем хозяина таверны, одинокого, как и он, – ни жены, ни семьи. Постепенно у них развязались языки. Гарфиас рассказал ему всю испанскую войну, пересыпая рассказ междометиями, клятвами и типичными андалусскими проклятиями. Хозяин таверны слушал его в религиозном молчании, не понимая, разумеется, ни слова.

А потом шотландец стал рассказывать о своих злоключениях, наверное, о жене, которая его бросила, а может быть, о подвигах своих сыновей, – их портреты, на которых все они были в военной форме, украшали камин.

Я говорю «может быть» потому, что за все те долгие ме-

---

<sup>144</sup> Педро *Гарфиас* (1901–1967) – испанский поэт.

сяцы, на протяжении которых они разговаривали, Гарфиас тоже не понял ни слова.

Однако дружба двух одиноких мужчин, которые с пылом говорили каждый о своем и каждый на своем языке, непонятном другому, крепла, и постепенно это стало для обоих необходимостью – встречаться каждый вечер и разговаривать до утра.

Когда Гарфиас должен был уезжать в Мексику, они попрощались – пили, разговаривали, обнимались, плакали. Их соединяло одно чувство – две одинокие жизни разлучались.

– Педро, – много раз спрашивал я поэта, – как ты думаешь, что он тебе рассказывал?

– Я пи понимал ни единого слова, Пабло, но когда я слушал его, у меня было такое чувство, я был совершенно уверен, что я его понимаю. А когда говорил я, уверен, он понимал меня.

## «Виннипег»

Однажды утром, когда я пришел в посольство, служащие вручили мне длинную телеграмму. Они улыбались. Странно было видеть их улыбки, потому что они уже давно со мной не здоровались. Верно, послание заключало что-то для них чрезвычайно приятное.

Телеграмма была из Чили. Подписанная не кем иным, как президентом, доном Педро Агирре Серда, тем самым, что давал мне разящее указание привезти в Чили оказавшихся в изгнании испанцев.

Не веря своим глазам, я прочитал, что дон Педро, наш добрый президент, с удивлением узнал сегодня поутру, что я готовлю приезд в Чили испанских эмигрантов. И он просил меня немедленно опровергнуть это необычайное известие.

Для меня же необычайной была сама телеграмма президента. Совершенно один, без чьей-либо поддержки, я занимался с начала и до конца этим трудным делом – организовывал, рассматривал все дела и отбирал людей. К счастью, испанское правительство, находившееся в изгнании, понимало важность моей миссии и все равно каждый день возникали новые и неожиданные препятствия. А между тем из концлагерей Франции и Африки, где скопились тысячи беженцев, прибывали или готовились отправиться в Чили сотни людей.



Республиканскому правительству, находившемуся в изгнании, удалось раздобыть пароход «Виннипег». Он был переоборудован с тем, чтобы на нем поместилось больше пассажиров, и теперь пароход ждал у причала в порту Тромплу, близ Бордо.

Что делать? Этот огромный и драматический труд, которым я занялся в самом начале второй мировой войны, представлялся мне кульминацией моего существования. Моя рука, протянутая бойцам, которых подвергали преследованиям, означала для них спасение и выражала суть, существо моей родины, борющейся маленькой страны, готовой принять их. Телеграмма президента рушила все эти мечты.

Я решил посоветоваться с Негрином. Мне выпало счастье свести дружбу с премьер-министром Хуаном Негрином, министром Альваресом дель Вайо и еще некоторым! республиканскими руководителями. Негрин был самым интересным из них. Большая испанская политика всегда казалась мне немного местнической или провинциальной, ей не хватало горизонтов. Негрин был человеком универсальным или, во всяком случае, мыслящим, он учился в Лейпциге, был широко образован. Но в Париже, при всем достоинстве, которое он сохранял, у него был вид бесплотной тени, какой всегда бывает у правителей в изгнании.

Я поговорил с ним. Рассказал, каково положение, рассказал и о телеграмме президента, по сути, ставившей меня в положение самозванца, шарлатана, предложившего изгнан-

ному народу убежище, которого, оказывается, не существовало. Было три выхода. Первый, ненавистный мне, – просто объявить, что эмиграция в Чили отменяется. Второй, драматический, – публично заявить о моем несогласии, счесть свою миссию оконченной и пустить себе пулю в лоб. Третий, рискованный, как открытый вызов, – посадить эмигрантов на пароход, отплыть вместе с ними, без всякого разрешения явиться в Вальпараисо и посмотреть, что из этого выйдет.

Негрин, куря огромную гаванскую сигару, откинулся в кресле. Потом грустно улыбнулся и спросил:

– А вы не можете воспользоваться телефоном?

В ту пору позвонить из Европы в Америку было невероятно трудно – связи надо было ждать часами. Сквозь оглушительный шум и треск я наконец расслышал далекий голос министра иностранных дел. После того, как нас без конца прерывали и мы должны были по двадцать раз повторять одно и то же, не зная, понимаем ли мы друг друга, крича истошным голосом в трубку, а в ответ выслушивая океанский прилив телефонных шумов, мне показалось, насколько я уловил, что министр Ортега советовал мне не принимать во внимание президентской телеграммы, отменяющей первоначальный приказ. Мне показалось также, что он просил меня подождать до следующего дня.

Естественно, в своей маленькой парижской гостинице я провел очень беспокойную ночь. А на следующий день я узнал, что министр иностранных дел накануне утром подал

в отставку. Он поступил так из протеста против моей дискредитации. Кабинет лихорадило, и наш добрый президент, временно сбитый с толку различными давлениями, которые на него оказывались, восстановил свой авторитет. И я получил новую телеграмму, в которой мне было велено продолжать заниматься испанской эмиграцией.

В конце концов мы погрузили эмигрантов на «Виннипег». Здесь после долгой разлуки снова встретились жены с мужьями, отцы с детьми, добравшиеся до парохода с разных концов Европы и Африки. К каждому прибывшему поезду спешила толпа ожидавших. В слезах, крича на ходу, они бежали за вагонами и в гроздьях человеческих лиц, выглядывавших в окошки, различали родное. А потом они шли на пароход. Тут были рыбаки, крестьяне, рабочие, интеллигенты, каждый из них – образец духовной силы, героизма, труда. Моя поэзия в борьбе и в действии помогала им обрести родину. Я был счастлив.

Я купил газету. Я проходил по улице в Варен-сюр-Сен мимо старого замка; над красноватыми от выющихся растений развалинами возвышались черепичные крыши башенок. Этот старый замок, где в древние времена собирались Ронсар<sup>145</sup> и поэты «Плеяды»,<sup>146</sup> хранил для меня тайное волшебство камня и мрамора, десятистопного стиха, выписанного

---

<sup>145</sup> Ронсар Пьер де (1524–1585) – французский поэт.

<sup>146</sup> «Плеяда» – французская поэтическая школа эпохи Возрождения, в которую входили Пьер де Ронсар, Жоашен дю Белле и другие.

золотыми буквами. Я раскрыл газету. В тот день разразилась вторая мировая война. Так вещали огромные, напечатанные грязной черной краской буквы, и газета выпала у меня из рук на землю старого, сгнувшего селения.

Весь мир ждал ее. Гитлер глотал страны одну за другой, а английские и французские государственные деятели бежали со своими зонтиками ему навстречу, предлагая города, королевства, людей.

Сумятица и неразбериха царили в умах. В Париже мои окна выходили на площадь Инвалидов, и я видел первых новобранцев: мальчишки, не знавшие, что такое военная форма, уходили прямо в гигантскую пасть смерти.

Их уход был грустным, и ничто не могло этого скрыть. Трудно определить это чувство, но ощущение было такое, будто они уходили на войну, которая уже проиграна. По улицам сновали шовинисты, разыскивая прогрессивных интеллигентов. Они видели врага не в последователях Гитлера и не в сторонниках Лавая, а в тех, кто был цветом французской мысли. В посольстве, которое к тому времени очень изменилось, мы укрыли большого поэта – Луи Арагона. Он провел там четыре дня и все время – днем и ночью – писал, меж тем как орды шовинистов искали его, чтобы уничтожить. Там, в посольстве Чили, он закончил свой роман «Пассажиры империала». На пятый день в военной форме он отправился на фронт. Это была его вторая война с немцами.

В те сумеречные дни я привык к ощущению зыбкости, характерной для Европы, которая не страдает от постоянных революций и землетрясений, но воздух и хлеб ее пропитаны смертоносным ядом войны. Боясь бомбежек, великая столица каждую ночь затемнялась, и эти потемки, где сбились вместе семь миллионов живых существ, этот непроглядный мрак, в котором приходилось пробираться по Городу Света, – все это крепко осело у меня в памяти.

\* \* \*

*В конце той поры – словно весь долгий путь оказался напрасным – я снова остался один на землях, едва мною открытых. Будто в критический миг рождения, будто в тревожный момент начала, взбудораженного метафизическим ужасом, из которого вырывается родник моих первых стихов, будто в новый закатный час, что явился делом моих рук, вступил я, в агонию, в пору своего второго одиночества. Куда направить путь? К чему возвращаться, в какую сторону брести, зачем молчать или осязать? Я окинул взором все, что было открыто свету и что скрывалось во тьме, и не нашел ничего – одна лишь пустота, сотворенная с роковым тщанием моими собственными руками.*

*А то, что было мне ближе всего, то, что было основой основ, то, чего не охватить взглядом и чему нет числа, – это до тех пор еще не появлялось на моем пути. Я думал обо*

всем на свете, но только не о человеке. Я с жестокостью и холодной тоской разведывал человеческое сердце; не думая о человеке, я рассматривал города, и города были пусты для меня; я видел трагический облик заводов, но я не разглядел страданий под их крышами, не заметил на улицах мук, которые длились во все времена, во всех городах и весях.

И когда первые пули ударили в гитары Испании, и гитары брызнули не звуками, а кровью, поэзия моя замерла, точно призрак, окаменев пред лицом человеческой скорби, и в ней начали прорастать корни и заструилась кровь. С тех пор мой путь – вместе со всеми. И ныне я вижу: я шел от Южного полюса моего одиночества к путеводной звезде – к моему народу, кому моя скромная поэзия хотела бы служить верой и правдой, отирать ему пот в минуты великих страданий и быть орудием в борьбе за хлеб насущный.

А раз так – мир становится огромным, он обретает глубину и постоянство. И мы твердо стоим на земле. И тогда хочется войти в безграничные владения всего сущего. Мы не ищем большие тайн, мы сами – тайна. И моя поэзия становится материальной частицей необозримо огромного космического пространства, морских и подземных глубин, она входит под сень необычайной растительности и среди бела дня вступает в разговор с солнечными видениями, она исследует пустоты минералов, скрытые в тайниках земли, и разгадывает забытые мотивы осени и отношения между людьми. Вокруг смеркается, но время от времени темноту

прорезывает свет молнии или вспышка ужаса; и вырисовывается новая конструкция, не укладывающаяся в привычные, стершиеся слова; и новый континент поднимается из потаенной материи моей поэзии. Чтобы населить эти земли, наречь именем эти владения, тронуть все тайные берега, унять их пену, охватить весь животный мир и все географические пространства, – для этого я прожил те далекие, мрачные, полные одиночества годы.

# Мексика в цветах и терниях

## Тетрадь 7

### Мексика в цветах и терниях

Правительство послало меня в Мексику. Страдая от мук, которые я видел в мире, я терзаясь разбродом в собственной душе, я приехал в Мексику в 1940 году и вздохнул полной грудью на плоскогорье Анауак, которое Альфонсо Рейес<sup>147</sup> превозносил за самый прозрачный на свете воздух.

Мексика с ее кактусами и змеями; Мексика в цветах и терниях; Мексика с ее засухами и ураганами, с резкими очертаниями и кричащими красками, знающая яростные извержения и процесс сотворения, – эта Мексика полонила меня своими чарами, своим дивным светом.

Я ходил по ней из края в край – год за годом, базар за базаром. Потому что Мексика – это базары. Гортанные песни в фильмах, фальшиво-залихватские усы и пистолеты – еще не Мексика. Мексика – это земля, где шали карминного цвета, а бирюза фосфоресцирует. Мексика – это страна глиняной посуды и кувшинов, земля, где не успеешь разломить плод, как его облепит туча насекомых. Мексика – это бескрайние

---

<sup>147</sup> Альфонсо Рейес (1889–1959) – мексиканский поэт, литературовед.



просторы, поросшие голубовато-стальными агавами, Мексика – это венец из ярко-желтых терниев.

И все это есть на базарах, самых красивых на свете базарах. Плоды и шерсть, глина и ткацкие станки показывают, на какие чудеса способны вечные и умелые руки мексиканцев.

Я бродил по Мексике, я обошел все ее побережья, ее высокие обрывистые берега, вечно горящие в непрерывных, фосфоресцирующих вспышках молний. От Тополо-бамбо в Синалоа я спустился вниз, обойдя все эти места со сферическими названиями, суровыми названиями, которые боги оставили в наследство Мексике, когда на ее земли пришли владычествовать люди, не такие жестокие, как боги. Я обошел все эти названия, я прошел по каждому слогу, полному тайны и блеска, по каждому звуку, подобному рассвету. Сонора и Юкатан; Анауак, что возвышается точно остывшая жаровня; сюда доходят все еле уловимые запахи от Найярита до Мичоакана, здесь можно учуять дымок с крошечного островка Ханитсио, и запах маиса из Халиско, и сернистый дух нового вулкана Парикутин, который смешивается с влажным благоуханием рыбы с озера Патскуаро. Мексика, последняя магическая страна; магии и тайны полны ее древность и ее история, магии и тайны полны ее музыка и ее природа. Бродягой я прошел по размытым нетленной кровью камням Мексики, перевязанным широкой лентой крови и мха, и почувствовал себя огромным и древним, достойным ходить по этому краю, сотворенному в незапамятные времена. Обрывистые доли-

ны, пересеченные гигантскими каменными стенами; кое-где поднимаются холмы с вершинами, будто срезанными ножом; бескрайняя тропическая сельва, кишашая змеями, растениями, птицами и легендами. На этих широких просторах, где от края до края и во все времена боролся человек, на этой великой земле я понял, что мы, Чили и Мексика, в нашей Америке страны-антиподы. Во мне никогда не находила отзвука условная общая фраза, что японец найдет свое в чилийских вишнях, а англичанин – в наших туманах на побережье, а аргентинец или немец – в наших снегах, что, мол, мы похожи, очень похожи на все страны. Мне больше по душе то, что все мы на земле – разные и что на разных широтах и в разных краях земля дает свои, непохожие на другие плоды. И говоря, что возлюбленная мною Мексика дальше всех отстоит от нашей хлебной, омытой океаном страны, я ничуть не умаляю ее, но выделяю, подчеркиваю ее отличия, чтобы наша Америка предстала еще более яркой и разнообразной, явилась бы миру во всем своем величии и глубине. И нет в Америке, а может, и на всей планете такой человеческой страны, как Мексика, и таких человеческих людей, как мексиканцы. И ее блистательные достижения, и ее гигантские ошибки – звенья одной и той же цепи: грандиозной щедрости, глубочайшей жизненной силы, богатейшей истории, неисчерпаемой плодотворности.

Пройдя рыбацкие селения, где плетут такие прозрачные сети, что кажется, будто это большая бабочка снова и сно-

ва садится на воду подобрать серебристую пыльцу, которой ей недостает; обойдя шахтерские поселки, где металл, едва показавшись на поверхности земли, превращается в жесткие отливки блистательно правильной формы; истоптав тропы, на которых вдруг вырастают католические монастыри, плотные и ощетинившиеся, будто гигантские кактусы-колоссы: исходив рынки, где зелень и плоды подобны цветам, а богатство красок и вкусовых ощущений доходит до пароксизма, – в один прекрасный день мы вдруг сбиваемся с этих дорог и отклоняемся от этих путей, пересекаем Мексику и попадаем на Юкатан – затопленную колыбель самого старого в мире племени – племени идолопоклонников майя. Земля здесь знала встряску истории и семени. В зарослях агав и по сей день сохранились развалины, которым знакомы мудрость и самопожертвование.

И когда последние дороги сходятся в одну, мы оказываемся на просторах, где древние мексиканцы запрятали в сельве свою шитую узорами историю. Даже вода здесь совсем иная – самая загадочная из всех земных вод. Это не море, не ручей и не река, – такой воды мы не знаем. На Юкатане вода есть только под землей, в местах, где земля вдруг разверзается, образуются огромные природные колодцы; края колодцев поросли тропической растительностью, а глубоко на дне, в зените земных недр, зеленеет вода. Майя нашли эти разверстые недра, назвали их «сепоте» и своими странными обрядами наделили божественным смыслом. Как во всех ре-

лигиях, священным началом стало то, в чем более всего тут нуждались и что было источником плодородия; так на этой земле сухость была побеждена благодаря скрытым водам, и во имя них расступалась земля.

Тысячи лет местные религии и религии, пришедшие извне, раздували тайну загадочных вод. На краях этих колодцев юных невинных девушек – и таких было сотни – украшали цветами, золотом и после брачной церемонии их, увешанных тяжелыми драгоценностями, сталкивали вниз, в стремительные бездонные воды. Из глубин всплывали только цветы и венки, а девственницы под тяжестью золотых цепей шли на дно, и илистые глубины засасывали их.

Тысячи лет спустя малую часть тех драгоценностей извлекли на свет и выставили в музеях Мексики и Соединенных Штатов. Но когда я попадаю на эти пустынные земли, я ищу не золото – я ловлю крики юных утопленниц. И в странном карканье птиц мне чудятся хриплые предсмертные вопли дев, а в стремительном птичьем полете над угрюмой и древней бездной вод мнутся желтые руки покойниц.

Однажды я видел, как на статую, простиравшую каменную руку в вечном воздухе над вечной водой, сел голубь. Не знаю, может, за ним гнался орел. Только не место ему было тут, в сельве, которую облюбовали и завоевали для разбоя и пышных торжеств птица заика атахакамипос, кетсаль со сказочным оперением, бирюзовые колибри и хищные птицы. Голубь уселся на руку статуи, белый, как снежная капля на

тропических камнях. Я смотрел на него: он пришел из другого мира, из мира спокойного и гармоничного, с какой-нибудь коринфской колонны, откуда-нибудь из Средиземноморья. Он остановился на краю мрака и, заметив мое молчание – а я ведь и сам принадлежал этому миру – Америке, кровавой и древней, – снялся с места и у меня на глазах пропал в небе.

# Мексиканские художники

В интеллектуальной жизни Мексики владычествовали художники.

Эти художники разрисовали весь город Мехико сюжетами из истории и географии, изображениями на гражданственные темы, в которых звучал металл полемики. Клементе Ороско,<sup>148</sup> тощий однорукий титан, что-то вроде Гойи, в своей фантазмагорической стране был непререкаемым авторитетом. Я с ним много разговаривал. Казалось, в нем самом не было той жестокой силы, какая была в его работах. Пожалуй, в нем даже была мягкость, он походил на гончара, которому отхватило руку станком, и он чувствовал себя обязанным единственной оставшейся рукой и дальше создавать миры. Его солдаты и маркитанки, его крестьяне, расстрелянные надсмотрщиками, его саркофаги с ужасными распятиями – бессмертны и останутся в американской живописи вечным свидетельством нашей жестокости.

Диего Ривера,<sup>149</sup> этот художник-гигант, успел к тому времени столько сделать и со столькими сразиться, что превратился почти в сказочный персонаж. Так что я даже удивлял-

---

<sup>148</sup> Клементе *Ороско* Хосе (1883–1949) – мексиканский живописец, один из основателей школы монументальной живописи.

<sup>149</sup> Диего *Ривера* (1886–1957) – мексиканский живописец, один из основателей школы монументальной живописи.

ся, глядя на него, что у него нет чешуйчатого хвоста, а на ногах – копыта.

Диего Ривера был страшным выдумщиком. После первой мировой войны Илья Эренбург в Париже издал книгу о его похождениях и проделках «Необычайные похождения Хулио Хуренито».

Тридцать лет спустя Диего Ривера все еще был великим мастером в живописи и вымысле. Он, например, советовал в качестве очистительной диеты, достойной любого изысканного гурмана, блюда из человечины. И даже сочинял рецепты блюд из мяса людей разных возрастов. А то вдруг принимался теоретизировать по поводу лесбийской любви, уверяя, что это единственно нормальные отношения, доказательством чему якобы служат древнейшие исторические свидетельства, найденные во время раскопок, которыми он сам руководил.

Я разговаривал с ним часами, и иногда он давал мне понять, вращая глазами с набрякшими веками, глазами индейца, что по происхождению он еврей. А в другой раз, позабыв о том, что говорил раньше, клялся, что он – отец генерала Роммеля, но что это должно храниться в строжайшей тайне, не то могут быть серьезные международные осложнения.

Он говорил необычайно убедительным тоном и совершенно спокойно сообщал самые неожиданные и самые деликатные подробности своих вымыслов, и нам, кто его знал, в жизни не забыть этого чудодея выдумки и розыгрыша.

Давид Альфаро Сикейрос<sup>150</sup> в то время был в тюрьме. Его обвинили в том, что он участвовал в вооруженном нападении на дом Троцкого. Я познакомился с ним, когда он был в тюрьме, но на самом деле – вне тюрьмы, потому что вместе с комендантом этого заведения Пересом Рульфо мы ходили пропустить по рюмочке куда-нибудь, где бы не очень бросались в глаза. А поздно ночью возвращались, и я на прощанье обнимал Давида перед тем, как он снова окажется за решеткой.

Однажды, возвращаясь вот так с Сикейросом, на улице близ тюрьмы я познакомился с его братом, необычайным человеком, по имени Хесус Сикейрос. Самое верное было бы назвать его конспиратором, но в хорошем смысле слова. Он скользил вдоль стен бесшумно и ни за что не задевая. И вдруг оказывался у тебя за спиной или рядом. Говорил он мало, а когда говорил, то еле слышным шепотом. Однако это не мешало ему в маленьком чемодане, который всегда был с ним, тоже молчком таскать полсотни пистолетов. Как-то мне случилось по рассеянности открыть этот чемоданчик, и я остолбенел, обнаружив в нем целый склад оружия – с черными, перламутровыми и серебряными рукоятками.

Он носил их просто так, потому что Хесус Сикейрос был таким же миролюбивым, как и его брат Давид. Хесус Сикейрос тоже был талантлив, артистичен и обладал необычайно

---

<sup>150</sup> Давид Альфаро Сикейрос (1898–1974) – мексиканский живописец и график, один из основателей школы монументальной живописи.



выразительным лицом. Не проронив ни звука, без единого жеста, одной только мимикой он мог изобразить – словно менял одну за другой маски – страх, грусть, радость, нежность. Так и блуждал он с этим бледным лицом призрака по лабиринту жизни, возникая то тут, то там со своей ношей – пистолетами, которые никогда не пускал в ход.

К этим, подобным вулканам, художникам всегда было приковано всеобщее внимание. Иногда они затевали страшные споры. Однажды во время такой дискуссии, когда все доводы были исчерпаны, Диего Ривера и Сикейрос выхватили огромные пистолеты и почти одновременно выстрелили – но не друг в друга, а по крыльям гипсовых ангелов на потолке театра. Когда же тяжелые гипсовые перья посыпались на головы зрителям, тех двоих уже и след простыл, и горячая дискуссия закончилась резким запахом пороха в опустевшем зале.

Руфино Тамайо<sup>151</sup> тогда в Мексике не жил. Из Нью-Йорка по всему миру расходились его картины – сложные и страстные, так же точно выражающие Мексику, как фрукты или ткани мексиканских базаров.

Живопись Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса нельзя сравнивать. Диего строгий классик, большой мастер, его рисунок округл, линии волнисты, это нечто вроде исторической каллиграфии, накрепко связанной с историей Мексики, он как бы рисует контуры событий, обычаев и тра-

---

<sup>151</sup> Руфино *Тамайо* (род. в 1900 г.) – мексиканский живописец.

гедий. Сикейрос – это взрыв вулканического темперамента, он сочетает поразительную технику письма с долгим и упорным поиском.

Так во время тайных вылазок Сикейроса из тюрьмы и разговоров обо всем сущем мы с ним условились добыть ему полную свободу. С визой, которую я лично поставил ему в паспорт, Сикейрос и его жена Анхелика Ареналес отправились в Чили.

В городе Чильян, разрушенном землетрясением, Мексика построила школу, и в этой «Школе Мексики» Сикейрос сделал одну из своих необыкновенных стеновых росписей. Правительство Чили заплатило мне за этот вклад в национальную культуру тем, что отстранило меня на два месяца от должности консула.

## Наполеон Убико

Я решил поехать в Гватемалу. Мы отправились туда на автомобиле. Проехали перешеек Теуантепек, золотистый край Мексики, где женщины одеты словно яркие разноцветные бабочки, а в воздухе стоит аромат меда и сахара. Потом мы въехали в великую сельву Чиapas. На ночь мы остановили машину – нас пугали шумы ночного телеграфа сельвы. Тысячи цикад трещали невообразимо громко, казалось, на весь мир. Таинственная Мексика накинута зеленую тень на древние постройки, на дошедшие из давних времен рисунки, драгоценности и монументы, на исполинские головы, на животных из камня. Все это на протяжении тысячелетий лежало в сельве, в этой невообразимой, неслыханной Мексике. Потом мы миновали границу и на высотах Центральной Америки выехали на узкую Гватемальскую дорогу, где меня ошарашили переплетенье лиан и огромные древесные кроны; и еще – безмятежные озера наверху, будто очи, некогда позабытые тут богами, – такая уж причуда, и еще – сосновые роци и широкие первозданные реки, где из воды, точно человеческие существа, выныривали стаи морских коров.

Целую неделю мы провели с Мигелем Анхелем Астуриасом,<sup>152</sup> который тогда еще не проявил себя в романах, позд-

---

<sup>152</sup> Мигель Анхель *Астуриас* (1899–1974) – гватемальский писатель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

нее покоривших читателей. Мы поняли, что рождены братьями, и ни одного дня не разлучались. А вечерами строили планы, как мы поедem далеко-далеко в горы, окутанные туманом, или в тропические порты «Юнайтед фрут».

Гватемальцы в ту пору лишены были права разговаривать, и ни один гватемалец в присутствии другого не говорил о политике. Тут даже стены имели уши и доносили. Случалось, поднявшись на плоскогорье, мы останавливали машину и там, уверившись, что за деревьями никто не прячется, жадно обсуждали положение вещей.

Каудильо звали Убико,<sup>153</sup> и он правил уже много лет. Тучный человек с холодным взглядом, последовательно жестокий. Он сам диктовал законы, и все, что делалось в Гватемале, делалось с его ведома. Я знал одного из его секретарей, теперь он мой друг, революционер. Как-то за то, что он осмелелся перечить по какому-то пустячному поводу, его привязали тут же к одной из колонн президентского кабинета, и президент собственноручно безжалостно высек его.

Молодые поэты уговорили меня устроить вечер и почитать свои стихи. Разрешение на это они попросили у Убико телеграммой. Мои друзья и студенческая молодежь заполнили зал. Я с удовольствием читал стихи – мне казалось, будто и этой обширной тюрьме приоткрылось окно. В первом ряду восседал начальник полиции. Потом я узнал, что на меня и

---

ми» (1966 г.) и Нобелевской премии по литературе (1067 г.).

<sup>153</sup> Убико Хорхе (1878–1946) – диктатор Гватемалы с 1931 по 1944 г.

на публику было направлено четыре пулемета и что они стали бы стрелять, если бы начальник полиции на виду у всех поднялся из кресла и прервал вечер.

Но ничего такого не произошло, он просидел до конца, слушая стихи.

Меня даже хотели представить диктатору, человеку, обуюнному наполеонеманией. Он начесывал на лоб прядь волос и любил сниматься в позе Бонапарта. Мне сказали, что от такого предложения отказываться опасно, но я предпочел не жать руки Убико и поспешил вернуться в Мексику.

## АНТОЛОГИЯ ПИСТОЛЕТОВ

В Мексике в те времена скорее царил культ самого пистолета, нежели того дела, для которого он предназначен. Настоящий культ револьвера с фетишизацией кольта сорок пятого калибра. На каждом шагу – пистолеты. Кандидаты в парламентарии и журналисты не раз начинали кампании против «пистолетизации», но потом поняли, что у мексиканца легче вырвать зуб, чем обожаемое огнестрельное оружие.

Однажды поэты устроили в мою честь праздник, мы плыли на большой, украшенной цветами лодке. Пятнадцать или двадцать бардов собрались на озере Хочимилко и повезли меня по нему среди цветов, по каналам, водоворотам и заводям – по пути, издревле, со времен ацтеков, предназначенному для таких украшенных цветами прогулок. Лодка, со всех сторон убранная цветами и резными фигурками, полыхала яркими красками. Руки мексиканцев, как и руки китайцев, не способны создать что-нибудь некрасивое, из чего бы они ни творили – из камня, из серебра, из глины или из гвоздик.

Во время нашего путешествия один из поэтов, перебрав спиртного, все время просил меня оказать ему честь и пострелять в небо из его прекрасного пистолета, рукоятка которого была украшена золотом и серебром. И тут его коллега, оказавшийся к нам ближе других, выхватил из кобуры свой пистолет и в порыве энтузиазма оттолкнул руку первого и

предложил мне выстрелить из оружия, принадлежащего ему. В спор вступили остальные барды, и все до одного решительно вытащили свои пистолеты и подняли их над моей головой, чтобы я выбрал именно его, а никакой другой. Балдахин из пистолетов сотрясался у меня над головой, пистолетами размахивали перед моим носом, их совали мне под мышки, и тут я догадался: взял огромное, типично мексиканское сомбреро и собрал в него все пистолеты, уговорив этот батальон поэтов вручить мне свое оружие во имя поэзии и мира. Они согласились, и конфискованное оружие несколько дней хранилось у меня дома. Полагаю, я был единственный поэт, в чью честь была составлена такая антология пистолетов.

# Почему Неруда

Весь цвет мира съехался в Мексику. Писатели, изгнанные из разных стран, собрались под сенью мексиканской свободы, а война меж тем все шла, и гитлеровские войска, одерживая победу за победой, уже оккупировали Францию и Италию. Среди писателей была Анна Зегерс и чешский сатирик Эгон Эрвин Киш, которого теперь уже нет. Киш оставил несколько чарующих книг, и я всегда восхищался его огромным талантом, его умением развлекаться, словно ребенок, и удивительно показывать фокусы. Не успев войти в дом, он доставал из уха яйцо или принимался одну за другой заглатывать семь монет – довольно ощутимая сумма для бедного писателя, живущего в изгнании. Мы были знакомы с Испанией, и он не уставая допытывался, почему я все-таки зовусь Нерудой, хотя и не родился с этим именем, а я в шутку отвечал:

– Великий Киш, ты открыл тайну полковника Редля (знаменитый в истории шпионажа случай, приключившийся в Австрии в 1914 году), но тебе никогда не проникнуть в тайну имени Неруды.

Так оно и случилось. Должно быть, он умер в Праге, познав все почести, которые воздала ему освобожденная родина, но, верно, так и не разведал этот сыщик-любитель, почему же все-таки Неруду зовут Нерудой.



Ответ слишком прост, в нем нет ничего удивительного, потому я так старательно и помалкивал. Когда мне было четырнадцать лет, отец ополчился на мои литературные опыты. Он ни за что не хотел иметь сына-поэта. И чтобы отец не узнал, что стихи мои печатаются, я искал имя, которое бы окончательно сбило его со следа. И нашел в одном журнале чешское имя, не подозревая, что это писатель, почитаемый своим народом, автор прекрасных баллад и романсов, и что на Малой Стране в Праге ему поставлен памятник. Только много лет спустя, попав в Чехословакию, я сразу же отправился к этому памятнику и положил цветы к ногам бородача.

# Канун Пирл-Харбора

У меня к доме бывали испанцы Венсеслао Росес из Саламанки и Констанция де ла Мора, республиканка, родственница герцога Мауры, чья книга «Вместо роскоши» была бестселлером в Соединенных Штатах; еще Леон Фелипе, Хуан Рехано, Морено Вилья, Эррера Петере – поэты; художники Мигель Прието и Родригес Луна; это все – испанцы. Приезжали и итальянцы: Витторио Видали, знаменитый команданте Карлос из Пятого полка, и Марио Монтаньяна, итальянцы, жившие в изгнании; они приезжали переполненные воспоминаниями, рассказывали удивительные истории – живые носители никогда не застывающей на месте культуры. Были и Жак Сустель и Жильбер Медиони. Эти двое были деголлевскими руководителями, представителями Свободной Франции. В те времена в Мексике жило множество добровольных или вынужденных изгнанников из стран Центральной Америки – гватемальцев, сальвадорцев, гондурасцев. В те дни Мексика была средоточием многонациональных интересов, и порою в моем доме, на старой вилле в квартале Сан-Анхель, казалось, билось и трепетало сердце мира.

С этим Сустелем, который был тогда левым социалистом, а много позже доставил столько хлопот де Голлю, став политическим руководителем алжирских путчистов, у меня произошёл случай, о котором я должен тут рассказать.

Шел 1941 год. Нацисты осадили Ленинград и продвигались по советской земле. Хитрые японские милитаристы, вошедшие в ось Берлин – Рим – Токио, рисковали тем, что Германия выиграет войну, а им добычи не перепадет. Ходили самые разные слухи. Называли даже час, когда мощная военная машина Японии сорвется с цепи на Дальнем Востоке. А между тем японская делегация, прибывшая в Вашингтон с миссией мира, церемонно раскланивалась перед американским правительством. Никто не сомневался, что японцы нападут внезапно и решительно – «блицкриг» стал кровавой модой времени.

Должен сказать, чтобы история моя стала понятной, что Японию с Чили связывала издавна действовавшая пароходная линия. Я не раз плавал на этих пароходах и знал их превосходно. Они останавливались в наших портах, и капитаны шли покупать старинные металлические изделия или фотографировать. Пароходы ходили вдоль всего чилийского, перуанского и эквадорского побережья до мексиканского порта Мансанильо, а там брали курс на Йокогаму через Тихий океан.

Так вот однажды – я еще был генеральным консулом Чили в Мексике – ко мне явились семеро японцев с просьбой срочно выдать им визу в Чили. Они прибыли с побережья Соединенных Штатов, из Сан-Франциско, из Лос-Анджелеса и других портов. На их лицах явно читалась озабоченность. Они были хорошо одеты, и все документы у них были

в порядке. Эти японцы походили на инженеров, на специалистов, работающих в промышленности.

Я, естественно, спросил их, почему они, не успев приехать, хотят отправиться в Чили первым же самолетом. Японцы ответили, что собираются сесть на японское судно в чилийском порту Токопилья – этот порт находится на севере Чили, в районе селитряных разработок. Я сказал им, что во все не обязательно ехать в Чили, на другой конец континента, потому что эти самые японские пароходы приходят в мексиканский порт Мансанильо, а туда они, если хотят, могут отправиться хоть пешком и успеют к сроку.

Японцы переглядывались и смущенно улыбались. Потом поговорили между собой на своем языке. Посоветовались с секретарем японского посольства, который их сопровождал.

Тот решил быть со мной откровенным и сказал:

– Видите ли, коллега, дело в том, что это судно изменило свой маршрут и не зайдет в Мансанильо. Таким образом, наши уважаемые специалисты могут сесть на пароход только в чилийском порту.

У меня тут же мелькнула мысль, что я имею дело с чем-то необыкновенно важным. Я попросил у них паспорта, фотографии, сведения об их работе в Соединенных Штатах и тому подобное и сказал, чтобы они приходили на следующий день.

Японцы запротестовали. Виза им нужна была немедленно, и они готовы были заплатить за это любые деньги.

Но мне необходимо было время, и потому я заявил, что не волен выдать им визу немедленно и что мы вернемся к нашему разговору завтра.

Я остался один.

Мало-помалу загадка для меня прояснялась. К чему так спешно бежать из Соединенных Штатов и просить срочную визу? А японский пароход, первый раз за тридцать лет изменивший свой курс? Что все это значит?

Меня осенило. Разумеется, это очень важные и хорошо информированные сотрудники, и вне всякого сомнения, они занимались шпионажем в пользу Японии, а теперь бегут из Соединенных Штатов, потому что должно произойти 15 Пабло Неруда что-то серьезное. А это серьезное, конечно же, вступление в войну Японии, и ничто другое. Японцам, с которыми я столкнулся, наверняка известен секрет.

Вывод, к которому я пришел, поверг меня в крайнее волнение. Что я мог сделать?

Здесь, в Мексике, я не знал никого из представителей союзников – ни англичан, ни американцев. Непосредственно я был связан с официально аккредитованными представителями генерала де Голля, которые были вхожи в мексиканское правительство.

Я тут же связался с ними. Объяснил положение вещей. У нас были имена этих японцев и сведения о них. Решись французы вмешаться, японцы оказались бы у нас в руках. Я, волнуясь, выложил свои доводы и с нетерпением ждал,

но деголлевские представители остались совершенно равнодушны.

– Юные дипломаты, – сказал я им, – вы покроете себя славой, если проникните в тайну этих японских агентов. Что касается меня, я не дам им визы. Но вы должны принять решение немедленно.

Волынка тянулась еще два дня. Сустьель не заинтересовался делом. Французы ничего не захотели сделать. А я, скромный чилийский консул, не мог идти дальше этого. Не получив от меня визы, японцы тут же обзавелись дипломатическими паспортами, с ними явились в посольство Чили и поспешили в Токопилью к пароходу.

Через неделю мир был разбужен сообщением о бомбардировке Пирл-Харбора.

## Я – малаколог

Несколько лет назад в одной чилийской газете написали, что когда мой друг, знаменитый профессор Джулиан Хаксли, прибыл в Сантьяго, в аэропорту он сразу же спросил обо мне.

– Поэт Неруда? – переспросили журналисты.

– Нет. Никакого поэта Неруду я не знаю. Я хочу увидаться с малакологом Нерудой.

Это греческое слово означает – специалист по моллюскам.

История, рассказанная, чтобы досадить мне, доставила мне удовольствие, к тому же едва ли это было правдой, потому что мы знакомы с Хаксли много лет, это остроумнейший человек, гораздо более живой и естественный, чем его знаменитый брат Олдос.

В Мексике я бродил по берегу, заходил в прозрачную и теплую воду и собирал чудесные морские раковины. А потом на Кубе и в других местах я выменивал раковины и покупал новые, получал в подарок и крал (честных коллекционеров не бывает), и мои морские сокровища приумножались и заполнили целые комнаты у меня в доме.

Тут были самые редкие разновидности из морей Китая, Филиппин, Японии, из Балтийского моря; были раковины антарктические и кубинские полимиты, раковины-художники, разодетые в красное и шафрановое, синее и коричневое, точно карибские танцовщицы. По правде говоря, мне не хва-

тало лишь немногих видов и среди них – раковины из Бразилии, из Мато-Гроссо; я видел ее однажды, но не смог купить и не смог поехать в сельву найти такую же. Она вся зеленая и прекрасна, как молодой изумруд.

Я так увлекся раковинами, что даже ездил за ними к далеким морям. И мои друзья тоже принялись искать морские раковины – «оракушиваться». Когда раковин у меня переваляло за пятнадцать тысяч, они забили все полки и стали сваливаться со столов и стульев. Библиотека была заставлена книгами по раковинам, или по так называемой малакологии. В один прекрасный день я сложил все это в огромные ящики и послал в Чилийский университет, принеся таким образом первый дар альма-матер. Моя коллекция была уже известна. Как и положено почтенному южноамериканскому заведению, университет принял ее под пышные хвалы и речи, а потом похоронил в каком-то подвале. Больше ее никто не видел.



## «Араукания»

Пока я жил вдали от всего на островах дальнего архипелага, море нашептывало свое, и в мире было множество вещей, созвучных моему одиночеству. Но «холодные» и «горячие» войны оставляли пятна на консульской службе и превращали каждого консула в безликий автомат, ничего не решающий, а консульская работа начинала подозрительно смахивать на полицейскую.

Министерство заставляло меня выяснять расовую принадлежность людей, выявлять африканцев, азиатов, евреев. Этим въезд на мою родину был закрыт.

Доходило до абсурда, и сам я даже стал однажды его жертвой, когда мне случилось основать прекрасный журнал, не получавший никаких дотаций. Я назвал его «Араукания», а на обложке поместил портрет красивой арауканки, которая улыбалась во весь рот. Этого было достаточно, чтобы тогдашнее министерство иностранных дел сделало мне серьезное предупреждение, сочтя это за оскорбление. А между тем президентом республики был дон Педро Агирре Серда, на чьем симпатичном и благородном лице совершенно явно проступали следы смешения рас.

Известно, что арауканы были уничтожены и в конце концов забыты, а историю пишут или победители, или те, кто пользуется плодами победы. Мало на земле народов, более

достойных нежели арауканы. Когда-нибудь мы еще увидим арауканские университеты и прочтем книги на языке арауканов, и тогда мы поймем, как не хватает нам самим их ясности, чистоты и вулканической энергии.

Глупые расистские притязания некоторых южноамериканцев, которые и сами-то – продукт скрещивания и смешения многих рас, не что иное, как колониальный пережиток. Им хотелось бы соорудить возвышение, на которое бы поднялось общество безусловно белых или беловатых, и эти немногие снобы принялись бы гордо разглагольствовать в присутствии чистокровных арийцев или утонченных туристов. К счастью, все это – вчерашний день, и в ООН полно представителей негров и монголоидов, иными словами, древо национальностей, питаясь все прибывающим соком разума, красуется листвою всех красок.

Кончилось тем, что я устал и однажды отказался навсегда от поста генерального консула.

# Магия и тайна

И кроме того я понял, что мексиканская жизнь, насыщенная насилием, гнетом и национализмом, закованная в церемонии еще доколумбовых времен, потечет дальше и без меня и мой глаз ей не нужен.

Когда я решил вернуться на родину, я понимал в мексиканской жизни меньше, чем когда только приехал в Мексику.

Искусство и литература создавались соперничающими группками, и горе тому стороннему, кто пытался вступить-ся или напасть на кого-нибудь или на какую-нибудь из этих группок: на него обрушивались и те и другие.

Когда я собрался уезжать, в мою честь была устроена колоссальная демонстрация: банкет почти на три тысячи человек, не считая еще нескольких сотен, которым не хватило места. Несколько президентов республик направили мне приветственные послания. Не мудрено: Мексика – пробный камень южноамериканских стран, и не случайно здесь был высечен солнечный календарь древней Америки, лучезарный круг, средоточие мудрости и тайны.

Все что угодно могло тут произойти и происходило. Единственная оппозиционная газета получала дотацию от правительства. Демократия, царившая в стране, была диктаторской демократией.

Помню трагический случай, который меня потряс. На од-

ном заводе бастовали, и выхода не было. Жены забастовщиков решили отправиться к президенту республики, – наверное, чтобы рассказать ему о своих нуждах и лишениях. Само собою, оружия у них не было. По дороге они захватили цветы – для президента или его супруги. Женщины уже входили во дворец, и тут их задержала стража. Дальше нельзя. Сеньор президент их не примет. Им следует обратиться в соответствующее министерство. Более того – нужно срочно очистить помещение. Приказ окончательный.

Женщины стали приводить доводы. Они не причинят беспокойства. Только отдадут цветы президенту и попросят поскорее разобраться с этой забастовкой. Им нечем кормить детей, дальше так продолжаться не может. Офицер охраны отказался передавать что бы то ни было. А женщины тоже не хотели уходить.

И тут раздался залп, стреляла дворцовая стража. Шесть или семь женщин были убиты наповал, многие ранены.

На следующий день убитых наспех похоронили. Я думал, что проводить их придет много народу. Ничего подобного, пришло всего несколько человек. А вот профсоюзный лидер выступал на похоронах. Крупный профсоюзный лидер, известный как выдающийся революционер. Он произнес на кладбище стилистически безупречную речь. Ее Полный текст я прочитал на следующий день в газетах. В ней не было и тени протеста – ни единого гневного слова, ни требования судить виновных в этой ужасной бойне. А через две

недели никто об этом уже и не вспоминал. И больше я не встречал даже упоминаний о чудовищном событии.

Президент был ацтеком, в тысячу раз более неприкасаемым, чем королевская семья в Англии. Ни одна газета ни в шутку, ни всерьез не могла покритиковать высокопоставленного чиновника, чтобы в ответ тут же не получить смертельный удар.

Мексиканские драмы окутаны таким живописным покровом, что живешь будто под чарами некой аллегории, и эта аллегория все более и более отдаляет тебя от истинного бытия жизни, от окровавленного скелета реальности. Философы превратились в изящных остроумцев и ударились в экзистенциалистские изыскания, которые выглядят смехотворно рядом с дышащим вулканом. Всякая гражданская деятельность усечена и сдерживается. Самые разные формы подчинения, различные течения группируются вокруг трона.

Самое магическое может случиться и случается в Мексике. Начиная с вулкана, который вдруг просыпается в огороде у крестьянина, пока тот сеет фасоль, и кончая неумными поисками скелета Кортеса, который, говорят, покоится где-то в Мексике, и золотой шлем прикрывает череп конкистадора; или же не менее отчаянной погоней за останками ацтекского императора Куаутемока, потерявшимися где-то четыре века назад и время от времени вдруг объявляющимися то там, то тут, – останками, которые охраняются таинственными индейцами и непременно в одну никому не ведомую

ночь вновь исчезают бесследно.

Мексика живет в моей жизни, кочует в моей крови, как маленькая заблудившаяся орлица. И только со смертью сложит она крылья на моем уснувшем сердце солдата.

# Родина во мраке

## Тетрадь 8

### Мачу-Пикчу

В министерстве иностранных дел легко отнеслись к моему «дипломатическому самоубийству».

Мой добровольный отказ от дипломатической карьеры принес мне безмерную радость – я получил, наконец, возможность вернуться в Чили. Думаю, что человек не должен отрываться от родины, жизнь на чужбине рождает ощущение обездоленности, от которого рано или поздно тускнеет душа. Я не могу жить, если нет под ногами родной земли, если нельзя прикоснуться к ней слухом, руками, нельзя ощутить круговорота ее вод, трепета ее теней, если нельзя почувствовать, как твои корни проникают в сокровенную глубину, отыскивая там материнское начало.

Но перед самым приездом в Чили я сделал открытие, которое наделило новым смыслом всю мою поэзию.

Задержавшись в Перу, я верхом на лошади поднялся к развалинам Мачу-Пикчу. В ту пору там еще не было хорошей дороги. Высоко в горах я увидел древние каменные сооружения, окруженные вершинами зеленых Анд. Оттуда, где

темнели изъеденные, источенные веками камни крепости, срывались потоки воды. Над рекой Вилькамайю вставал густой белесый туман. Я почувствовал себя бесконечной малостью в центре этого огромного каменного пупа. Я почувствовал себя причастным к этому безлюдному, гордому и величавому миру; мне представилось, что и мои руки трудились здесь в незапамятные времена, прокладывая борозды и обтесывая скалы.

Я почувствовал себя и чилийцем, и перуанцем, и американцем. В этих недоступных высотах, среди прославленных и одиноких руин я стал исповедовать новую веру, давшую мне силы продолжить мою песнь.

Там родилась моя поэма «Вершины Мачу-Пикчу».



# Селитряная пампа

В конце 1943 года я вернулся в Сантьяго, в собственный дом, приобретенный в рассрочку. В этом доме, окруженном высокими тенистыми деревьями, я собрал все свои книги и опять начал трудную жизнь.

Я снова встретился с моей прекрасной родиной, с проникновенной красотой ее природы, с трудолюбием моих товарищей, с обаянием чилийских женщин, с живым умом моих соотечественников.

Страна моя не изменилась. Те же погруженные в сон поля и деревни, та же устрашающая нищета шахтерских поселков и та же элегантная публика в клубах для привилегированных. Надо было принимать решение.

Сделанный мной выбор навлек на меня гонения и подарил мне минуты звездной радости.

Может ли поэт раскаяться в таком выборе?

Курцио Малапарте,<sup>154</sup> который взял у меня интервью спустя годы после того, о чем я сейчас вспоминаю, хорошо сказал в своей статье: «Я не коммунист, но будь я чилийским поэтом, я бы стал коммунистом, как Пабло Неруда. В этой стране надо выбирать: или ты с теми, кто ездит в кадиллаках, или с теми, кого не учат грамоте и у кого нет башмаков».

4 марта 1945 года эти неграмотные и босые люди избрали

---

<sup>154</sup> Курцио *Малапарте* (1898 – 19137) – итальянский писатель и журналист.

меня сенатором республики. Я всегда буду гордиться тем, что за меня голосовали тысячи чилийцев самого сурового края Чили, великого края рудников, меди и селитры.

Трудно и непривычно шагать по заскорузлой чилийской пампе, не видящей дождей десятилетиями. Ее печать лежит на опаленных лицах шахтеров, на всем их облике. Вся боль одиночества и заброшенности сосредоточилась в их пронзительно-темных глазах. И велика ответственность того, кто приходит в эту пустыню, поднимается в горы, стучится в жалкие жилища, сталкивается с бесчеловечным трудом и знает, что именно ему доверили свои надежды беззащитные и обездоленные люди.

Но моя поэзия открыла мне путь к общению, и я смог бывать всюду, не зная никаких преград, потому что мои соотечественники, чья жизнь так сурова, навечно нарекли меня своим братом.

Не помню точно, в Париже или в Праге я вдруг усомнился в эрудиции своих приятелей. В основном это были писатели, а то и студенты.

– Мы много говорим о Чили, – сказал я, – может, оттого, что я – чилиец. А знаете ли вы что-нибудь о моей далекой стране, ну хотя бы какие у нас средства передвижения? Слоны, автомобили, поезда, самолеты, велосипеды, верблюды, сани?

Большинство моих друзей искренне думали, что это – слоны.

А в Чили нет ни слонов, ни верблюдов. Но я понимаю, насколько загадочной может казаться наша страна, которая рождается во льдах Южного полюса и достигает солончаков и пустынь, где по веку не бывает дождей.

Мне пришлось изъездить эти бесприютные края вдоль и поперек в те годы, когда их жители избрали меня сенатором, когда я стал представителем бесчисленной армии тружеников, добывающих селитру и медь, – людей, которые никогда не носили галстука и накрахмаленного воротника.

Оказаться на этой равнине, лицом к лицу с ее бескрайними песками – все равно что ступить на поверхность Луны. Здесь, где все напоминает безжизненную планету, спрятано великое богатство моей страны. Но какой нужен труд, чтобы извлечь из пересохшей земли, из каменных гор белое удобрение и красный минерал! На свете найдется не много мест, где жизнь так сурова и так безотраднa. Сколько усилий требуется, чтобы доставить сюда воду, чтобы держать собаку, кролика, свинью, вырастить растение, которое подарит самый скромный цветок.

Я родился на зеленой земле, среди лесных чащоб, в другом конце нашей страны. Мое детство прошло сквозь дождь и снег. Встреча с лунной пустыней потрясла меня. Представлять в парламенте ее жителей, их заброшенность, их исполинские просторы – трудное дело. Голая земля, без единой былинки, без капли воды – огромная и грозная тайна. Рядом с лесом, с рекою всему откликается человеческое серд-

це. Пустыня, напротив, замкнута в себе. Я не понимал ее языка, вернее – ее молчания.

За долгие годы своего существования селитряные компании создали в чилийской пампе огромные владения, настоящие королевства. Немцы, англичане и прочие чужеземцы обнесли изгородью территории приисков и разработок и дали им имена своих компаний. На присвоенных землях они ввели свои деньги, наложили запрет на все собрания, на все партии и все печатные издания рабочих. На их территорию нельзя было войти без особого разрешения, которого могли добиться очень немногие.

Однажды вечером я встретился с рабочими селитряного рудника «Мария Элена». Пол в огромном забое был залит водой, маслом и кислотами. Вместе с профсоюзными руководителями я шел по настилу, который отделял нас от вонючей жижи.

«Чтобы добиться этих настилов, – сказали они, – мы пятнадцать раз организовывали стачки, восемь лет подавали петиции и потеряли семерых наших товарищей».

После одной из стачек полицейские увели семерых зачинщиков. Их связали одной веревкой и заставили идти пешком по раскаленным пескам, а охранники ехали на лошадях. Всех семерых расстреляли. Трупы лежали под палящим солнцем и пронизывающим холодом пустыни, пока их не нашли и не похоронили рабочие.

Прежде случались вещи и пострашнее. В 1907 году забастовщики спустились в Икике из селитряных рудников, чтобы вручить петиции городским властям. Люди, обессиленные от долгого пути, решили передохнуть на главной площади города, против школы. Утром они собирались идти с петициями к губернатору. Но на рассвете войска во главе с полковником окружили площадь и без всякого предупреждения начали стрелять, убивать безоружных людей. В то кровавое утро погибло несколько тысяч человек.

В 1945 году стало полегче, но порой казалось, что возвращаются времена расстрелов и казней. Однажды мне запретили выступать перед рабочими в помещении профсоюза. Я предложил шахтерам собраться за пределами рудника. Под открытым небом, в пустыне, я начал говорить о том, какие у них есть пути борьбы за свои права. Нас было человек двести. Внезапно я услышал шум мотора и увидел приближающийся танк, который остановился метрах в четырех-пяти от нас, от моих слов. Открылся люк и показался ствол пулемета, нацеленный прямо на меня. За пулеметом вырос вылощенный офицер. Он не сводил с меня хмурого взгляда до конца моей речи. На том все и обошлось.

Доверие, которым прониклись к коммунистам тысячи и тысячи рабочих, в большинстве своем неграмотных, родилось при Луисе Эмилио Рекабаррене, который начал революционную деятельность здесь, в иссушенных землях. Рекабаррен – простой рабочий, агитатор, бунтарь – превратил-

ся с годами в фантастическую фигуру, в легенду, в колосса, чье присутствие ощущалось повсюду. Он наводнил страну рабочими профсоюзами и федерациями, организовал издание более пятнадцати газет, которые защищали созданные им рабочие организации. И все это без единого сентаво. Рекабаррену помогали рабочие, их новое революционное сознание.

Мне довелось в разных местах повидать типографии, созданные Рекабарреном, которые работали поистине героически на протяжении четырех десятилетий. Некоторые из печатных станков были разбиты во время полицейских налетов, а потом тщательно и кропотливо отремонтированы рабочими. На многих станках, возрожденных к жизни любовью и заботой, сохранились следы ран.

За время моих долгих поездок по чилийской пампе я привык останавливаться в убогих домах бедняков, в жалких лачугах жителей пустыни. Почти всегда у входа на рудник меня встречали люди с красными флажками в руках и потом отводили в какое-нибудь помещение, где я бы мог отдохнуть с дороги. А дальше ко мне потоком шли люди – мужчины и женщины – с жалобами на тяжкий труд и семейные неурядицы. Порой их жалобы могли показаться стороннему человеку странными, нелепыми, даже смешными. Долгое отсутствие чая в шахтерской лавке привело однажды к серьезной и длительной забастовке. Казалось бы, откуда у людей этого заброшенного края потребности лондонских жителей? Но

дело в том, что чилийцы не могут жить без чая, они пьют его по нескольку раз в день. Босоногие труженики, с тревогой расспрашивающие меня о причинах исчезновения экзотического, но совершенно необходимого для них напитка, объясняли, как бы извиняясь за настойчивость: «Без него мы очень мучаемся головной болью».

Эти люди, отгороженные стеной молчания, на пустынной земле, под пустынным небом проявляли самый живой интерес к политике. Им хотелось узнать, что делается в Югославии или в Китае. Их волновали заботы и свершения социалистических стран, итоги крупных стачек в Италии, глухой рокот войны, зарево революций в самых далеких краях.

На сотнях собраний, в самых разных местах, где я выступал, меня просили читать стихи. Часто называли именно те, которые им хотелось услышать. Я, разумеется, не знал, все ли мои стихи понятны, или некоторые, а может, и многие остались непонятыми. Это было трудно определить – меня слушали с благоговейным почтением, в полной тишине. Но какое это имеет значение? Мне, к примеру, одному из самых просвещенных глупцов, так и не удалось понять некоторые стихи Гёльдерлина<sup>155</sup> или Малларме.<sup>156</sup> А поверьте, я читал их с тем же благоговейным трепетом.

Когда меня хотели угостить праздничным обедом, то жа-

---

<sup>155</sup> *Гёльдерлин* Иоганн Христиан Фридрих (1776–1843) – немецкий поэт.

<sup>156</sup> *Малларме* Стефан (1842–1898) – французский поэт.

рили курицу, которая была *gaga avis*<sup>157</sup> в пампе. Чаше варили похлебку из куэ – морских свинок, и мне стоило немало усилий притронуться к этому странному, непривычному блюду. Люди по бедности сделали яством мясо этого зверька, рожденного для того, чтобы найти смерть в научных лабораториях.

Во всех домах, где мне случалось ночевать, меня ждали поистине монастырские кровати – белоснежные, туго накрахмаленные простыни, которые можно было поставить стоймя, и твердое, как иссохшая земля пампы, ложе.

Но на этих гладких беспощадных досках, не знающих матраца, я засыпал сном праведника. Без всякого труда разделял я этот сон с бесчисленным легионом моих товарищей – шахтеров. На смену сухому, раскаленному дню приходила в пустыню тихая ночь, расстилавшая прохладу под куполом, усеянным великолепными звездами.

Моя поэзия и моя жизнь сродни рекам Американского континента, сродни потоку чилийских вод, что рождается в тайной глубине Андских гор и неустанно стремится вперед, чтобы достигнуть ворот океана. Моя поэзия не отвергла ничего из того, что смогла пронести в своем многоводье. Она вобрала в себя страсть, прониклась величием тайны и проложила свой путь в сердца народа.

Мне выпало страдать и бороться, любить и петь, на мою

---

<sup>157</sup> Редкая птица (*лат.*).



долю достались победы и поражения, я изведаль вкус хлеба и крови. Чего же еще желать поэту? И все альтернативы, все противостояния – от плача до поцелуя, от одиночества до полного единения с народом – живут действенной жизнью в моей поэзии, потому что я и сам жил для нее и она была мне опорой в борьбе. Что из того, что я получил множество литературных премий и наград, которые подобны в своем мимолетном блеске ярким бабочкам однодневкам? Я добился самой высокой награды, к которой с пренебрежением относятся многие, хотя она для многих недостижима. Пробиваясь сквозь суровые уроки эстетики и литературного поиска, сквозь лабиринты уложенных в строку слов, я сумел прийти к своему народу и стать его поэтом. Это и есть главная награда, она выше всех переводов моих книг и стихов на другие языки, выше книг, которые пытаются объяснить или четвертовать мои слова. Главной наградой стал тот вершинный момент моей жизни, когда из забоя, уходящего в угольные толщи Лоты или в прокаленные солнцем селитряные копи, точно со дна ада, поднялся человек с воспаленными от пыли глазами, с искаженным лицом от непосильного, чудовищного труда, и, протягивая мне загрубевшую руку, в мозоли и морщины которой впечаталась вся карта пампы, сказал: «Я давно тебя знаю, брат». Лавровый венок моей поэзии – ствол шахты, пробитый в грозной пампе, откуда вышел простой рабочий, которому ветер, и ночь, и звезды Чили не раз говорили: «Ты не одинок, на свете есть поэт, который

думает о твоих страданиях».

Я вступил в Коммунистическую партию Чили 15 июля 1945 года.

## Гонсалес Видела

В сенат с трудом пробивались вести о страданиях тех, кого представляли я и мои товарищи. Казалось, стены благоустроенного парламентского зала простеганы толстым слоем ваты, глушившей любую отзвук, рожденный криками недовольной толпы. Мои коллеги из вражеского стана были искусными мастерами по части высокопарных патриотических речей, и я буквально задыхался под тяжким пологом фальшивого шелка их академической риторики.

Но вот снова в нас затеплилась надежда – один из кандидатов в президенты, Гонсалес Видела,<sup>158</sup> поклялся возродить справедливость в стране и своим динамичным красноречием завоевал симпатии многих людей. Мне было поручено руководить работой по пропаганде кандидатуры Гонсалеса Виделы во время избирательной кампании, и я исколесил всю страну с доброй обнадеживающей вестью.

Огромным большинством голосов народ избрал его своим президентом.

Но президенты нашей креольской Америки претерпевают нередко поразительные метаморфозы. Новый чилийский избранник поспешил сменить друзей, породниться с «аристократическими» семействами и постепенно из демагога пре-

---

<sup>158</sup> *Гонсалес Видела* Габриэль (род. в 1898 г.) – чилийский диктатор, президент Чили с 1946 по 1952 г.

вратился в магната.

Разумеется, Гонсалес Видела – не чета настоящим южноамериканским диктаторам, ему до них далеко. В боливийце Мельгарехо<sup>159</sup> или в венесуэльском генерале Гомесе заложено теллурическое начало. Оба они отмечены печатью известного величия, и кажется, ими движут беспощадные силы, вобравшие всю скорбь одиночества. Они, несомненно, были истинными каудильо, идущими навстречу пулям.

Гонсалес Видела, напротив, всего лишь изделие политической стряпни, слабохарактерный пошляк, выдававший себя за сильную личность.

В фауне нашей Америки великие диктаторы – это гигантские ящеры, уцелевшие от доисторических времен безграничного феодализма. Наш чилийский иуда был жалким подобием, подмастерьем тирана, и в сравнении с доисторическими чудовищами он – лишь маленькая ядовитая ящерица. Тем не менее, этот политикан успел причинить немало вреда нашей стране и обратил вспять ход ее истории. В ту пору чилийцы стыдились самих себя, не понимая, как все могло произойти.

Этот человек был истинным эквилибристом, акробатом парламентских подмоетков. Он сумел покрасоваться в роли человека левых убеждений. Словом, в «комедии обмана» он не знал соперников. Что так, то так. В нашей стране, где, как

---

<sup>159</sup> *Мельгарехо* Мариацо (1818–1871) – боливийский диктатор, президент Боливии с 1865 по 1870 г.

правило, политики хотят быть серьезными или казаться таковыми, народ рад любому проявлению фривольности, раскованности, но когда этот плясун разошелся и начал выделывать кренделя, было уже поздно. Тюрьмы заполнились политическими заключенными и появились концлагеря, такие, как лагерь Писагуа. Чилийцы впервые столкнулись с жестоким полицейским режимом. Оставалось только одно – проявить выдержку и, уйдя в подполье, бороться за то, чтобы вернуть стране ее достоинство.

Многие из друзей Гонсалеса Виделы, бывшие рядом с ним до самого конца всех его предвыборных перипетий, оказались в тюрьмах на юге – высоко в горах или на севере – в пустыне. Они попали туда лишь потому, что не одобрили его скоропалительной метаморфозы.

Конечно, к этой метаморфозе приложила руку и буржуазная верхушка, обладающая огромной экономической силой. По существу, она поглотила и это новое правительство, как случилось не однажды в нашей истории. Но на сей раз все переварить не удалось, и Чили пережила серьезную болезнь, порой доходя до страшного оцепенения, порой – до предсмертной агонии.

Избранный нами президент, получивший покровительство США, превратился в маленького вампира – гнусного и беспощадного. Надо думать, что по ночам его мучили угрызения совести, несмотря на то что для своих утех он обзавелся поблизости от правительственного дворца гарсоньер-

ками и публичными домами со множеством ковров и зеркал. У этого ничтожного человека был жалкий, но извращенный ум. В тот день, когда по его приказу начались страшные репрессии против коммунистов, он пригласил на ужин нескольких руководителей рабочего движения. После ужина Гонсалес Видела проводил гостей до самых дверей дворца и, обняв их, со слезами на глазах сказал: «Я плачу потому, что подписал ордер на ваш арест. На улице вас схватят. Я не знаю, увидимся ли мы еще».

## «Разбросанное тело»

Мои речи в сенате становились все более гневными, и, когда я выступал, зал был переполнен. Вскоре меня лишили депутатского мандата, и полиция тотчас получила приказ о моем аресте.

Но поэты сотворены из особого материала: в нас есть изрядная доля огня и дыма.

Дыму было предначертано писать стихи. Все, что я пережил, драматически сближается с темами древней истории Америки. В тот год подполья и полицейской слежки я написал самую важную для меня книгу – «Всеобщую песнь».

Чуть ли не каждый день я перебирался с места на место. И всюду открывались чьи-то двери, чтобы дать мне приют. Незнакомые люди выражали готовность спрятать меня, шла ли речь о нескольких часах или неделях. Мой путь лежал через деревни, портовые пристани, города, лагерные палатки. Я был гостем крестьян, инженеров, адвокатов, моряков, врачей, шахтеров.

Есть в народной поэзии наших стран одна притча. В этой притче говорится о «разбросанном теле» народного певца, о том, что ноги его в одной стороне, голова – в другой, словом, все части его тела розданы по деревням и городам. В те дни мне казалось, что это происходит и со мной.

Среди памятных моему сердцу мест, где я скрывался, был

домик из двух комнат, затерянный в бедных кварталах на холмах Вальпараисо.

У меня был крохотный, отгороженный от комнаты угол и кусочек окна, который позволял наблюдать за жизнью портового города. Мне было видно лишь часть улицы, где вечерами торопливо сновали люди. На этой единственной освещенной улочке бедняцкого квартала – она уходила метров на сто вниз – было великое множество лавчонок и закусовых.

Я жил затворником в своей клетушке и чувствовал, как растет мое беспокойное любопытство. Я был один на один со своими сомнениями и мыслями. Порой никак не удавалось найти ответ на мучившие меня вопросы. Почему, например, прохожие – и те, что спешат, и те, что прогуливаются без дела, – останавливаются в одном и том же месте? Что за чудесные вещи продаются в магазинчике, у витрины которого подолгу простаивают взрослые люди с детьми на руках? Я, разумеется, не видел лиц людей, неотрывно смотревших на чудесную витрину, но воображение рисовало их восторг и изумление.

Шесть месяцев спустя я узнал, что это витрина скромного обувного магазина, и пришел к мысли, что более всего на свете человека интересуют башмаки. Я поклялся изучить, осмыслить это, выразить словами. Но у меня так и не нашлось времени осуществить свое намерение, выполнить обет, данный при таких странных обстоятельствах. И все же в моих стихах башмаки занимают немалое место. Они стучат



каблуками в моих строках, хотя я вовсе не собирался стать стихотворцем-башмачником.

В наш домишко часто наведывались гости и вели долгие разговоры, даже не подозревая о том, что за фанерной перегородкой, оклеенной старыми газетами, прячется поэт, по следам которого рыщут молодчики, хорошо обученные охоте на человека.

По субботним вечерам и в воскресенье утром к одной из дочек хозяйки приходил жених. Он был из тех, кому не полагалось знать обо мне. Этот молодой парень, работяга, завоевал сердце девушки, но – увы! – еще не пользовался ее полным доверием. Из моего оконца я видел, как он слезает с велосипеда, на котором в будние дни развозил корзины с яйцами по всему рабочему кварталу. Чуть погода слышал, как, напевая себе под нос, он входит в дом. Этот влюбленный разносчик яиц стал ярим врагом моего спокойствия. Я говорю «врагом», потому что ему хотелось ворковать и милиться с девушкой только в доме прямо у меня под носом. Как ни звала она его то в парк, то в кино, он героически и стойко отказывался от прелестей платонической любви. А я сквозь зубы проклинал наивного парня, не желавшего покидать домашний очаг.

Все члены семьи: мать – она была вдовой, ее две очаровательные девочки и два сына-моряка – знали обо мне. Оба сына подрабатывали разгрузкой бананов на пристани и пребывали в мрачном настроении, потому что никак не могли

наняться на пароход. Они мне рассказали, что какой-то старый корабль пойдет на слом. Из моего тайного убежища я руководил операцией по снятию с носовой части корабля прекрасной статуи. Ее спрятали в одном из складских помещений на пристани. Я познакомился с этой статуей много позже, когда годы изгнания остались далеко позади. Сейчас эта вырезанная из дерева великолепная женщина с античным лицом, как и у всех статуй, украшавших старинные корабли, смотрит, как я пишу мемуары у моря, и дарит мне свою печальную красоту.

По заранее составленному плану я должен был тайно попасть на пароход, проникнуть в каюту одного из матросов, а в эквадорском порту Гуайякиле объявиться среди банановых гор. Предполагалось, что, как только пароход начнет пришвартовываться к пристани, я появлюсь на палубе в элегантном костюме, с сигарой в зубах, хотя, надо сказать, отроду не курил сигар. С отъездом медлить было нельзя, и в доме решили сшить мне модный курортный костюм для путешествия в тропики. С меня заранее сняли мерку, и в два счета костюм был готов. Никогда в жизни я так не веселился, как тогда, когда его увидел. Понятие о моде у приютивших меня женщин сложилось под влиянием нашумевшего фильма «Унесенные ветром».<sup>160</sup> А братья считали образцом изыс-

---

<sup>160</sup> Фильм «Унесенные ветром» по одноименному роману американской писательницы Маргарет Митчелл посвящен событиям гражданской войны в США между Севером и Югом. Таким образом, Неруда хочет сказать, что костюм ему сшили по моде 60-х годов прошлого века.

канного вкуса и элегантности то, на что они насмотрелись в дансингах Гарлема и в портовых барах карибских стран. Двубортный приталенный пиджак доходил мне до колен. Брюки туго стягивали щиколотки.

Я сохранил этот живописный экзотический наряд, любовно сделанный руками добрых людей, но покрасоваться в нем мне не пришлось. Я так и не попал на пароход, не сошел на банановый берег Гуайякиля, одетый подобно Кларку Гейблу.<sup>161</sup> Все получилось по-другому: я попал туда, где властвует холод, на крайний юг Чили, на крайний юг Америки и дерзнул пересечь Анды.

---

<sup>161</sup> Кларк *Гейбл* (1901–1960) – популярный американский киноактер.

## Путь через сельву

В ту пору Генеральным секретарем нашей партии был Рикардо Фонсека, человек с улыбающимся лицом и твердым характером, закаленный суровыми ветрами Карауэ, южанин, как и я. Фонсека сам занимался всем, что было связано с моим подпольем, с моими квартирами, с моими тайными переездами, изданием моих статей против Гонсалеса Виделы, а более всего он заботился о том, чтобы ни одна душа не узнала стороной, где я живу. Единственным человеком, который в течение полутора лет знал, где меня прячут, где я ем, где ночью, был сам Рикардо Фонсека – молодой блестящий руководитель, наш Генеральный секретарь. Зеленое пламя все ярче полыхало в глазах Рикардо, но силы его убывали, гасла светящаяся улыбка, и настал день, когда мы навсегда простились с нашим верным товарищем.

В условиях строжайшего подполья был избран новый руководитель партии – человек сильный духом и телом, портовый грузчик из Вальпараисо. Звали его Гало Гонсалес. Он отличался негибаемой стойкостью и сложным характером, который нелегко было разглядеть за его внешностью. Надо сказать, что наша партия, организация с многолетним опытом, на пути которой были и свои идеологические промахи, не знала культа личности. Верх всегда брало национальное сознание, сознание того, что народ умеет делать все своими

руками. В истории Чили не часто появлялись каудильо, и это тоже сказалось на характере нашей партии. Но пирамидальная иерархическая политика времен культа личности в условиях подполья создала в нашей партии несколько разреженную атмосферу.

Гало Гонсалес не мог поддерживать постоянную связь с партийными массами. В стране усиливался полицейский террор. За решеткой томились тысячи коммунистов. Особо опасные «преступники» были брошены в концлагерь на пустынном берегу Писагуа.

В строжайшем подполье вел Гало Гонсалес активную революционную деятельность, но отрыв партийного руководства от плоти партии становился все ощутимее. Да... Гало Гонсалес был настоящим человеком, мужественным борцом, наделенным поистине народной мудростью.

У него в руках был новый план моего побега, и на этот раз он осуществлялся с безупречной четкостью. Мне надо было выбраться из столицы, проехать тысячу километров и верхом на лошади пересечь Анды. В условленном месте меня должны были ждать аргентинские товарищи.

Мы выехали под вечер в автомобиле, посланном нам самой судьбой. Этот неуязвимый автомобиль принадлежал моему другу Раулю Бульнесу, работавшему в ту пору врачом в конной полиции. Он сам вывез меня за пределы Сантьяго и передал заботам чилийских коммунистов. Другой автомобиль, где все было предусмотрено для долгого путешествия,

вел мой старый товарищ по партии шофер Эскобар.

Мы ехали день и ночь. Когда проезжали через города и селения или останавливались на бензозаправочных станциях, я, несмотря на темные очки и бороду, чтобы меня не опознали, старательно кутался в мягкий плед.

В полдень миновали Темуко, – по чистой случайности он оказался на пути побега, – не задержавшись там ни на минуту. Никто не узнал меня в родном городе. Мы пересекли мост, а затем деревушку Падре-Лас-Касас. Когда город остался далеко позади, вышли из машины и уселись на большом камне перекусить. По склону горы с веселым звоном сбегала речушка. Ко мне пришло проститься мое детство. Я здесь вырос, среди этих холмов, у реки родилась моя поэзия, она вобрала в себя шум дождя и наполнилась запахами леса, как свежая древесина. И вот теперь по дороге к свободе, к избавлению я на миг очутился в Темуко и услышал голос той воды, что научила меня петь.

Снова двинулись в путь. Только однажды нам пришлось пережить тревожные минуты. Наш автомобиль неожиданно был остановлен на шоссе весьма решительным офицером карабинеров. Я оцепенел и не произнес ни слова, но страхи оказались напрасными. Офицер попросил подвезти его до какого-то места, которое находилось в ста километрах. Он сел рядом с шофером, моим товарищем Эскобаром, и между ними завязалась оживленная беседа. Я прикинулся спящим, чтобы не вступать в разговор. Даже камни в Чили знали мой

Без особых осложнений добрались до назначенного места. Это были лесоразработки, на первый взгляд безлюдные. Со всех сторон сюда подступала вода. Сначала мы пересекли широкое озеро Ранко и высадились среди густых зарослей кустарников и огромных деревьев. Дальше верхом на лошадях доехали до озера Майуе, которое переплыли на лодках. В густой листве гигантских деревьев, пронизанных глухим рокотом, едва проглядывал хозяйский дом. Говорят, что Чили – край света. То место, где мы очутились, – девственная сельва, взятая в кольцо снега и озерных вод, – поистине один из последних обитаемых уголков нашей планеты.

Дом, в который меня поселили, был временной постройкой, как и все в том краю. В железной печке день и ночь пылали свежераспиленные чурбаки. Устрашающий южный дождь беспрерывно стучал в стекла, словно хотел ворваться в дом. Дождь властвовал над угрюмой сельвой, над озерами и вулканами, над непроглядной ночью и яростно противился присутствию человека, который жил здесь по своим законам, не подчиняясь его воле.

Я мало знал о Хорхе Бельете, ожидавшем моего приезда. Бывший летчик, деловой и в то же время жадный до перемены мест человек, в высоких сапогах, в толстой короткой куртке... Его военная выправка, облик прирожденного командира были под стать всей обстановке, хотя здесь вме-

сто выстроенных рядами солдат стояли исполинские деревья, нехоженный лес.

Хозяйка дома, хрупкая и плаксивая женщина с расстроенными нервами, воспринимала гнетущее безлюдье сельвы, вечный дождь и холод как личное оскорбление. Большую часть дня она проводила в слезах, но в доме был полный порядок и добротная еда, приготовленная из продуктов, добытых в озерных водах и лесных чащобах.

Хорхе Бельет начальствовал на лесных разработках, где делали железнодорожные шпалы, которые отправляли в Швецию или Данию. С утра до вечера визжали, срываясь на пронзительный стон, электропилы, рассекающие толщенные стволы деревьев. Сначала прокатывался глубокий, подземный гул сваленного дерева. Каждые пять – десять минут земля содрогалась, как огромный барабан, на который обрушивались спиленные лиственницы, буки – гигантские творения природы, чьи семена занес сюда ветер в далекие столетия. Потом взвивалась жалобой пила, вонзавшаяся в плоть исполина. Звук пилы – металлический, резкий, высокий, словно звук дикой, яростной скрипки, а за ним следом – рокот темного барабана земли, встречавшей своих богов, – все это создавало атмосферу мифического напряжения, замкнутой в кольцо тайны и космического ужаса. Умирала сельва. И я, потрясенный, вслушивался в ее стоны, будто спешил сюда, чтобы уловить древнейшие голоса навсегда уходящей жизни.

Главный хозяин лесных богатств жил в столице. Я не был с



ним знаком. Говорили, он может нагряться в середине лета, и мои друзья опасались его приезда. Звали хозяина Пепе Родригес. Мне рассказывали, что он – капиталист современного склада, владелец ткацких фабрик и других предприятий, человек ловкий, деловой и энергичный. Помимо всего, он был махровым реакционером, активным членом самой правой партии Чили. Мне, попавшему проездом в его царство – о чем он и не подозревал, – все это было только на руку. Кому пришло бы в голову искать меня здесь? Все гражданские и полицейские власти были вассалами этого всемогущего человека, чьим гостеприимством я пользовался, хотя и считал, что никогда с ним не встречу.

Уезжать надо было как можно скорее. Приближалось время снегопадов, а с Андами шутки плохи. Мои друзья ежедневно уходили в лес изучать дорогу. Но какая там дорога! По существу, они шли в разведку, отыскивая ее следы, скрытые перегноем и снегом. Ожидание становилось тягостным. Да и мои аргентинские товарищи могли встревожиться.

Когда почти все было готово, наш главнокомандующий по лесным разработкам – Хорхе Бельет озабоченно сообщил: вот-вот должен заявиться хозяин. Не позже чем через два дня.

Я пришел в замешательство. Ведь мы еще не собрались. И после стольких усилий возникала угроза, что хозяин узнает, кто прячется в его владениях. Всем было известно, что он близкий друг моего гонителя Гонсалеса Виделы и что тиран

назначил за мою голову немалую цену. Что же делать?

Бельет с самого начала считал, что надо поговорить в открытую с Пепе Родригесом.

– Я его хорошо знаю, – сказал Хорхе, – он настоящий мужчина и выдавать тебя не станет.

Я не соглашался. Партия приказала держать все в строжайшей тайне, а Бельет намеревался нарушить ее приказ. Я так ему и сказал. Мы спорили горячо и долго и, в конце концов, сошлись на том, что я перееду жить в дом вождя индейского племени, в маленькую хижину, одиноко прижавшуюся к самой сельве.

После переезда в хижину мое положение стало еще более ненадежным. Настолько ненадежным, что Бельету удалось сломить мое упорство и я согласился на встречу с Пепе Родригесом, хозяином фабрик, лесоразработок и сельвы. Выбрали нейтральное место – вдалеке от его дома и от хижины. Под вечер я увидел приближавшийся джип. Из него вместе с моим приятелем Хорхе Бельетом вышел моложавый седой человек средних лет с энергичным лицом. Его первые слова были о том, что он берет на себя ответственность за мою безопасность и что отныне мне ничто не угрожает.

Наш разговор не отличался особой сердечностью, но этот человек явно располагал к себе. На улице стало холодно, и я пригласил его в хижину, где мы продолжили беседу. По его приказу на столе появились бутылка шампанского, виски и лед.

После четвертого стакана виски мы уже спорили, не жалея горла. Этот человек был категоричен в своих взглядах. Он высказывал интересные мысли, много знал, но меня приводила в ярость его невероятная самоуверенность. Мы оба стучали по столу кулаками и все же прикончили виски как добрые собутыльники.

Наша дружба продолжалась долгое время. Непоколебимое прямодушие было одним из лучших качеств человека, который, как говорят у нас в Чили, «держал сковороду за ручку». Вдобавок ко всему, Родригес читал мои стихи с такой необыкновенно умной и мужественной интонацией, что они как бы рождались для меня наново.

Пепе Родригес вернулся в Сантьяго к своим делам. Напоследок он еще раз показал свой широкий и властный характер, собрал всех подчиненных и твердым голосом сказал:

– Если сеньору Легаррету не удастся за эту неделю попасть в Аргентину тропой контрабандистов, вы проложите дорогу до самой границы. Все другие работы прекратить, пока не будет расчищена дорога. Таков мой приказ!

В то время я скрывался под именем Легаррета.

Пепе Родригес, этот своевольный феодал, умер два года спустя в бедности, покинутый всеми. Его обвинили в оптовой контрабанде и на много месяцев упрятали в тюрьму. Думаю, что для него, человека гордого и надменного, это было невыносимым страданием.

Я так и не сумел узнать, был ли виновен Пепе Родригес

или его просто оклеветали. Ясно лишь то, что наша олигархическая рать, та самая, которой кое-что перепало от щедрот Родригеса, отвернулась от него, едва он попал на скамью подсудимых и дела его лопнули.

Лично я по-прежнему ему симпатизирую, и он навсегда останется в моей памяти. Непе Родригес был и будет для меня маленьким царьком, который своей властью приказал прорубить среди непроходимой сельвы дорогу в шестьдесят километров, чтобы поэт обрел свободу.

## Анды

В Андских горах есть тайные тропы, которыми пользовались в прежние времена контрабандисты. Эти тропы настолько недоступны и опасны, что полиция давно перестала их охранять. Реки и пропасти встают здесь неодолимой преградой на пути человека.

Нашу экспедицию возглавлял Хорхе Бельет. К моей охране, состоящей из пяти человек – все отличные наездники и проводники, – присоединился мой старый друг Виктор Бианчи, который работал в тех местах землемером. Поначалу он меня не узнал: мешала борода, сильно отросшая за полтора года нелегальной жизни. Услышав о моем намерении пересечь андскую сельву, Бианчи тотчас предложил нам свои неоценимые услуги, поскольку был проводником с большим опытом. Ему случилось подняться даже на вершину Аконкагуа; в том трагическом восхождении только он один и остался в живых из всей экспедиции.

Мы ехали цепочкой, окутанные дымкой величественного рассветного часа. Давно уже, с детских лет, я не ездил верхом, но на мое счастье лошади шли мерным шагом. В южной андской сельве огромные деревья стоят поодаль друг от друга. В высоту уходят лиственницы и майтены, а за ними тепы и другие хвойные исполины. Поражают своей толщиной раули – чилийские буки. Я даже остановился, чтобы измерить одно

дерево: в объёме оно с целую лошадь. Неба не видно, а внизу, в непотревоженном веками рыхлом перегнутом, образовавшемся из опавших листьев, утопают копыта лошадей. В полном молчании прошли мы сквозь этот величественный храм первозданной природы. Наше продвижение вперед было отмечено тайной и опасностями, и мы повиновались самому малому знаку, который помогал не сбиться с пути. Не было ни тропинок, ни видимых глазу следов, наша нестройная кавалькада – пять всадников – пробивалась почти что наугад навстречу моей свободе, преодолевая все преграды: огромные поваленные деревья, вечные безмолвные снега, громаздящиеся скалы, неприступные реки. Мои друзья умели ориентироваться в лесных дебрях, но для верности делали зарубки на коре деревьев, чтобы найти обратную дорогу потом, когда я останусь один на один со своей судьбой.

Мы ехали завороженные, подавленные этой безбрежной глушью, этим зеленым и белым безмолвием, – нескончаемые деревья, могучие лианы, накопленный веками гумус, завалившиеся гигантские стволы, которые внезапно преграждали нам путь. Мы встретились с ослепительной, таинственной природой, и в то же время – с растущей угрозой снежных обвалов, холода и погони. Все сплелось воедино: одиночество, опасность, тишина и непреложность нашей цели.

Порой мы шли по едва заметному следу, оставленному, быть может, контрабандистами, а может, беглыми преступниками. Кто знает, много ли их погибло в ледяных лапах зи-

мы, в грозных снежных бурях, которые выются вокруг путника, пока не схоронят его под семью пластами неумолимой белизны.

И все же среди страшного, необузданного одиночества можно было увидеть следы, оставленные рукой человека. Это были выстоявшие не одну зиму большие кучи голых веток – дары многих сотен путников. Высокими могильными курганами темнели они среди деревьев, чтобы живые обращались памятью к погибшим, к тем, кто не смог идти и навсегда остался лежать под андскими снегами. Мои товарищи тоже срезали хлеставшие по лицу ветки, которые свисали с вечнозеленых хвойных исполинов и с огромных дубов, их последняя, еще уцелевшая листва трепетала, чуя приближение зимних бурь. И я оставлял срезанную ветку – свою визитную карточку – на каждой могиле неведомого мне путника.

В одном месте нам случилось пересечь реку. Маленькие горные потоки, рожденные на вершинах Анд, стремительно срываются вниз, по пути разряжая свою непомерную силу, низвергаясь водопадами на скалы и земли с разрушительной энергией и скоростью, принесенной с запредельных высот. Но на этот раз перед нами была тихая зеркальная гладь широкой реки, которую мы решили перейти вброд. Едва лошади ступили в реку, как дно ушло у них из-под ног, и они поплыли к другому берегу. Внезапно мой конь чуть ли не весь погрузился в воду, и я, лишившись опоры, отчаянно пытал-

ся обхватить ногами его бока; несчастное животное с трудом удерживало голову над водой. Так мы пересекли реку. Потом мои проводники спросили меня, улыбаясь:

– Испугались?

– Очень. Уж думал – мне конец, – ответил я.

– Да мы плыли следом за вами с лассо в руках! – признались они.

– Как раз здесь, – добавил один, – свалился с лошади мой отец и его унесло течением. Ну а с вами бы такого уже не случилось.

Мы продолжали наш путь и вскоре оказались в темном туннеле. Быть может, его выдолбила в грозных и недоступных скалах некогда могучая, потом исчезнувшая река, а может, этот горный канал был пробит среди камня и гранита великим сотрясением нашей планеты. Едва мы продвинулись на несколько метров, наши лошади заскользили, стали спотыкаться об острые камни. Ноги их подкашивались, из-под копыт сыпались яркие искры. Мне уже представлялось, как я вылетаю из седла и разбиваюсь об эти камни. У лошадей сочилась кровь из ноздрей и копыт, но мы упрямо шли вперед по нашей широкой, сверкающей, трудной дороге.

В дикой сельве мы встретились с приятной неожиданностью. Призрачным видением возник перед нами изумрудно-зеленый луг, свернувшийся уютным клубком в отрогах темных гор, – прозрачная вода, высокие травы, полевые цветы, шум речного потока и синева неба, щедрый свет, вызво-



ленный из плена листвы.

Казалось, что мы ступили в магический круг, что нам, паломникам, открылось какое-то святилище. Ощущение мистической тайны усилилось после совершения обряда, в котором я участвовал вместе со всеми. Проводники спешили и приблизились к бычьему черепу, который белел посреди луга. Молча, один за другим, они стали бросать в его глазницы монеты и еду. Я присоединился к этому обряду – к возложению даров на алтарь сбившихся с пути безвестных Одиссеев, беглецов всех мастей, которые найдут пищу и помощь в бычьем черепе.

Но на этом незабываемое священнодействие не кончилось. Мои друзья снимали шапки и начали свой странный танец: они прыгали на одной ноге вокруг одинокого черепа по широкому кольцу, вытоптанному до них стольными путниками. Именно тогда, глядя на этот непостижимый обряд, который свершался моими проводниками, я скорее почувствовал, чем понял, что в жизни существует связь между теми, кто не знает друг друга, есть забота, призыв к помощи и отклик даже в самой пустынной и уединенной глуши нашего мира.

К вечеру, уже недалеко от границы, которая на многие годы разлучила меня с родиной, мы подошли к последней горной котловине. Впереди засветился огонек – верная примета человеческого жилья. Вскоре перед нашим взором предстали стоявшие порознь постройки – полуразвалившиеся ба-

раки, на первый взгляд – пустые. Войдя в один из них, мы зажмурились от яркого света: посреди помещения пылали огромные стволы – плоть андских гигантов. День и ночь горели они здесь, а дым легко уходил наружу сквозь щели в крыше и плыл по меркнувшему небу густой синей вуалью. Оглядевшись, мы увидели груды сыров, свезенных сюда теми, кто жил и трудился в этих горах. У огня вповалку лежали люди. До нашего слуха донеслись негромкие звуки гитары и слова песни. Рождаясь из пламени и тьмы, она дарила нам первую за весь наш путь встречу с человеческим голосом. То была песня о любви и разлуке, то был плач о любви и печали, обращенный к далекой весне, к городам, откуда мы пришли, к бескрайним просторам жизни. Здесь не знали, кто мы, не знали о моем побеге, не знали моего имени, моей поэзии. А может, знали о нас и обо всем. Доподлинным было лишь то, что нас щедро угощали у огня, что мы пели песни, а потом во тьме отправились к примитивным купальням, туда, где протекал горячий минеральный источник. И погрузившись в воду, почувствовали обволакивающее, живительное тепло, идущее из самых недр вулканических гор.

Мы плескались в источнике с наслаждением, смывая, сбрасывая тяжесть долгой томительной дороги. Как будто заново рожденные, вынутые из купели, отдохнувшие, тронулись на рассвете в путь, преодолевая последние километры, которые уводили меня от ввергнутой во мрак родины. Мы ехали, напевая, чувствуя прилив новых сил, вдыхая воздух

полной грудью, веря, что впереди великая дорога мира. Когда в горах нам захотелось отблагодарить хозяев – я это помню, как сейчас, – за песни, за угощение, за кров и ночлег, за чудесный источник, словом, за ту неожиданную помощь, что встретила на пути, – они отказались наотрез. Мы были их гостями, и все тут. В этом тихо сказанном «и все тут» таилось многое, может, признание, а может, те же мечты, что и у нас.

# Сан-Мартин-де-лос-Андес

По заброшенной хижине мы поняли, что добрались до границы между Чили и Аргентиной. Я был на свободе и написал на стене хижины: «До скорого свиданья, моя родина. Я уйду, но ты остаешься со мною».

В Сан-Мартине-де-лос-Андес нас должен был ждать знакомый чилиец. Городок, расположенный в аргентинских горах, был так мал, что меня предупредили лишь об одном: «Номер снимите в лучшей гостинице и ждите Педрито Рамиреса».

Но в жизни всего не предвидишь. В Сан-Мартине-де-лос-Андес не одна, а две лучших гостиницы. Какую выбрать? Мы предпочли более дорогую, на окраине, хотя первая гостиница, которую увидели, стояла на главной и очень красивой площади города.

Выбранная нами гостиница оказалась настолько роскошной, что нас туда не пожелали впустить. С неприязнью глянули на заросшие щетиной лица, на перекинутые через плечо котомки, на пропыленные в долгом пути костюмы... Наш вид внушил бы опасения кому угодно. А тем паче хозяину гостиницы, где жили высокородные англичане из Шотландии, прибывшие половить семгу в аргентинских водах. В нас не было ничего от лордов. Словом, хозяин, театрально разводя руками, стал объяснять, что последний номер сдан все-

го десять минут назад, и мы поняли, что нам попросту сказали *vade retro*.<sup>162</sup> И вот тут в дверях появился элегантный мужчина с военной выправкой в сопровождении блондинки, похожей на кинозвезду.

– Стойте, – властно загремел он, – где это видано, чтоб прогоняли чилийцев. Они останутся здесь!

И мы остались. Наш покровитель так смахивал на Перона,<sup>163</sup> а его дама – на Эвиту,<sup>164</sup> что мы в первый момент растерялись. Позже, когда, умытые и переодевшиеся, мы сели с ними за один стол и, не торопясь, распили бутылку сомнительного шампанского, стало известно, что наш герой – начальник местного гарнизона, а его спутница и в самом деле актриса, приехавшая к нему из Буэнос-Айреса.

Мы выдали себя за чилийских лесоторговцев, которые прибыли в Аргентину, чтобы заключить выгодные сделки. Начальник гарнизона окрестил меня Человеком-горой. Виктор Бианчи, который оставался со мной из дружеских чувств и любви к приключениям, настроил гитару и двусмысленными, озорными чилийскими песенками привел в восхищение аргентинок и аргентинцев. Но прошло трое суток, а Педрито Рамирес не появился. Я по знал, что и думать. У нас уже не

---

<sup>162</sup> Уйди (*лат.*).

<sup>163</sup> Перон Хуан Доминго (1895–1974) – государственный и политический деятель Аргентины, президент страны в 1946–1955 и 1973–1974 гг.

<sup>164</sup> Эвита (Эва Перон; 1919–1952) – общественная деятельница Аргентины, первая жена Х.-Д. Перона.

было ни чистых рубашек, ни денег, чтобы купить новые. А всякий уважающий себя лесоторговец, говорил Виктор Бианчи, должен по крайней мере иметь рубашки.

Между тем начальник гарнизона пригласил нас отобедать в его полку. Мы с ним сдружились, и в порыве откровенности он признался, что даже сходство с Пероном не заставило его стать перонистом. Часами мы спорили, чей президент хуже – аргентинский или чилийский...

Наконец однажды утром в мой номер ворвался Педрито Рамирес.

– Несчастный, – завопил я, – где ты пропадал?

Все разъяснилось очень просто. Рамирес терпеливо дожидался нас в гостинице, что стояла на площади.

Через десять минут наша машина уже неслась по бескрайней равнине. Ехали день и ночь. Время от времени аргентинцы делали короткую остановку, чтобы приготовить мате,<sup>165</sup> а потом снова мчались сквозь безбрежное однообразие пампы.

---

<sup>165</sup> Мате – парагвайский чай.

## В Париже и с паспортом

Разумеется, в Буэнос-Айресе я прежде всего должен был раздобыть новое удостоверение личности. Те подложные документы, что помогли мне попасть в Аргентину, не годились на тот случай, если потребуется пересечь океан и попасть в Европу. Как же получить нужные бумаги? Ведь за мной уже всю охотилась аргентинская полиция, поднятая на ноги чилийским правительством. И вот в эту трудную минуту я подумал о том, что дремало на дне моей памяти. Я подумал, что писатель Мигель Анхель Астуриас, мой старинный друг из Центральной Америки, вполне может жить в Буэнос-Айресе, занимая какой-нибудь дипломатический пост в посольстве Гватемалы – страны, где он родился. Мы отдаленно походили друг на друга и когда-то с обоюдного согласия решили причислить себя к семейству «чомпипе». Этим словом индейцы Гватемалы и Мексики называют индюков. Мы оба – носатые, полные, с массивными тяжелыми лицами – чем-то напоминали эту мясистую и вкусную птицу.

Астуриас пришел в мою нелегальную квартиру.

– Дружище «чомпипе», – сказал я, – одолжи мне на время твой паспорт. Доставь мне удовольствие попасть в Европу в качестве Мигеля Анхеля Астуриаса.

Надо сказать, что Астуриас при всем своем либерализме был далек от активной политической деятельности. Но тем

не менее не колебался ни минуты. Через несколько дней под услужливые: «Сеньор Астуриас, сюда, пожалуйста», «Сеньор Астуриас, туда, пожалуйста», – я пересек широкую реку, которая разделяет Аргентину и Уругвай, и добрался до Монтевидео, а потом, пройдя сквозь все полицейские посты и проверки в аэропортах, очутился, наконец, в Париже под именем известного гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса.

Однако в Париже у меня снова возникли трудности с документами. Мой блистательный паспорт не выдержал бы неумолимого и цепкого взгляда французской *Sûreté*.<sup>166</sup> Мне очень не хотелось отказываться от имени Мигеля Анхеля Астуриаса, но я должен был стать чилийцем Пабло Нерудой. Только как, если Пабло Неруда не приезжал во Францию, если во Францию прибыл Мигель Анхель Астуриас?

Мои приятели настояли, чтобы я укрылся в отеле «Георг V». «Там, среди сильных мира сего, никто не посмеет потребовать у тебя документы».

Я прожил в этом шикарном отеле несколько дней, мало беспокоясь, что мой потрепанный за долгий путь андский костюм не вяжется с элегантностью и богатством, окружавших меня людей. Именно тогда появился Пикассо – человек великого таланта и великой душевной щедрости. Он радовался как дитя: незадолго до нашей встречи ему случилось произнести свою первую в жизни речь. То была речь о моей по-

---

<sup>166</sup> Сыскная полиция (франц.).



эзии, моих преследователей, о моем побеге. С братской заботливостью этот гениальный минотавр современной живописи вникал во все подробности моей парижской жизни. Он вел переговоры с властями, обзванивал сотни людей. Сколько прекрасных картин не смог написать великий художник по моей вине! Мне было совестно, что Пикассо тратит на меня свое священное время.

В те дни в Париже проходил Всемирный конгресс сторонников мира. Я появился в зале заседания перед самым его закрытием и прочитал одно из своих стихотворений. Делегаты конгресса встретили меня аплодисментами, обнимали. Многие считали, что я погиб, не верили, что мне удастся обмануть разъяренную чилийскую полицию.

На другой день в мою гостиницу пришел господин Альдерет, старый журналист из Франс пресс. Он сказал мне:

– Когда пресса сообщила, что вы в Париже, чилийское правительство официально заявило, что это фальшивка, что кто-то выдает себя за Пабло Неруду, который находится в Чили, и что арест Неруды – дело нескольких часов, так как полиция напала на его след. Что можно сказать по этому поводу?

Мне пришли на память слова Марка Твена, сказанные по поводу спора о существовании Шекспира, спора нелепого и надуманного, искусственно поддерживаемого литераторами. «Эти произведения, – сказал Марк Твен, – писал не Уильям

Шекспир, а другой англичанин, который родился и умер в тот же день и час, что и он, и, по крайне удивительному совпадению, звался Уильямом Шекспиром».

– Ответьте им, – сказал я журналисту, – что я – не Пабло Неруда, а другой чилиец, который пишет стихи, борется за свободу и тоже носит имя Пабло Неруды.

С моими документами все оказалось не так-то просто. Улаживали мои дела Арагон и Поль Элюар. И пока шли хлопоты, я жил на полулегальном положении.

Среди людей, у которых я нашел убежище, была и мадам Франсуаз Жиру. Мне никогда не забыть эту своеобразную и в высшей степени интеллигентную даму. Она жила в Пале-Рояль, по соседству с Колетт.<sup>167</sup> Франсуаз Жиру усыновила вьетнамского ребенка. В свое время французская армия энергично занималась тем, за что потом взялись американцы, – убийством невинных людей на далекой вьетнамской земле. Именно тогда мадам Жиру решила усыновить вьетнамского мальчика.

Помню, в ее квартире висела картина Пикассо – пожалуй, одна из лучших, что я видел. Это было большое полотно докубистского периода: две алые плюшевые гардины, чуть приоткрытые, словно створки окна, спускаются на стол, поперек которого лежит длинный французский хлеб. Эта картина внушала благоговейное чувство. Огромный хлеб на столе

---

<sup>167</sup> *Колетт* Габриэль (1873–1954) – французская писательница.

по своей композиции напоминал основной образ старинной иконы или «Мученичество святого Маврикия» Эль Греко, в Эскориале. Мысленно я назвал картину «Вознесение святого Хлеба».

Однажды в мое убежище пришел сам Пикассо. Я подвел его к картине, написанной им много лет назад. Он забыл о ней и принялся рассматривать со всей серьезностью; на сосредоточенном лице появилось какое-то меланхолическое выражение, которое бывало у него очень редко. Минут десять он молчал, то подходя к забытой картине совсем близко, то отступая от нее.

– Она мне нравится все больше и больше, – сказал я, когда он очнулся от раздумий. – Я хочу, чтоб наш Национальный музей приобрел эту вещь. Мадам Жиру склонна продать ее.

Пикассо обернулся к картине, впился глазами в великолепно выписанный хлеб и скупно сказал:

– Неплохо.

Дом, который я снял, показался мне очень забавным. Он стоял на улице Пьер-Миль, во втором *arrondissement*,<sup>168</sup> или, как говорят чилийцы, там, «где черт потерял свое пончо». В этом округе жили рабочие и обедневшие семья из средних слоев. Добираться туда на метро надо более часа. Мне этот дом приглянулся своим сходством с птичником – три этажа с коридорами и маленькими клетушками. В самом деле, ве-

---

<sup>168</sup> Округ в Париже (*франц.*).

ликолепный курятник.

Первый этаж, где было попросторнее и стояла печка, я отвел под библиотеку и «салон» для праздничных встреч. Наверху разместились мои друзья, почти все они приехали из Чили. Там жили художники Хосе Вентурелли, Немесио Антунес и кто-то еще – не припомню.

В те дни меня посетили поэт Николай Тихонов, драматург Александр Корнейчук (он занимал тогда большой пост на Украине) и романист Константин Симонов – три крупные фигуры в советской литературе. Я видел их в первый раз. Они обняли меня, словно мы были братьями, встретившись после долгой разлуки. И каждый подарил мне звонкий поцелуй, тот самый, что у славян служит знаком большого дружеского чувства и уважения; признаться, я не сразу привык к этим братским мужским поцелуям. С годами, когда мне открылся их истинный смысл, я позволил себе начать один из рассказов такими словами:

– Первый поцеловавший меня мужчина был чехословацкий консул...

Чилийское правительство меня не жаловало. Не жаловало ни в Чили, ни за его пределами. Куда бы я ни попадал, мое появление предвворяли звонки, доносы, настраивающие против меня правительства других стран.

Я узнал о том, что в Кэ д'Орсе<sup>169</sup> лежит донесение о моей

---

<sup>169</sup> Кэ д'Орсе – так называют министерство иностранных дел Франции, распо-

персоне, в котором говорилось приблизительно следующее: «Неруда и его супруга Делиа дель Карриль часто посещают Испанию и передают советские инструкции. Эти инструкции они получают от русского писателя Ильи Эренбурга, с которым Пабло Неруда также совершает тайные поездки в Испанию. Для установления более тесных контактов с Ильей Эренбургом Неруда поселился в доме, где живет советский писатель».

Несусветный бред. Просто Жан Ришар Блок<sup>170</sup> дал мне однажды письмо для своего друга, который занимал ответственный пост в министерстве иностранных дел Испании. Я объяснил французскому чиновнику, что с помощью этого вздорного домысла меня хотят выдворить из Франции. Сказал и о том, что мечтаю познакомиться с Эренбургом, которого, к великому сожалению, не имел еще чести видеть. Важный чиновник посмотрел на меня сочувственно и пообещал внимательно изучить мой вопрос. Но дальше слов дело не пошло: никто так и не снял с меня эти дурацкие обвинения.

Вот тогда я и решил представиться Эренбургу. Мне говорили, что он почти ежедневно бывает в «Ла Куполь», где обедает вечером.

– Я Пабло Неруда, чилийский поэт, – сказал я. – Если верить полиции, мы – близкие друзья и живем в одном доме.

---

ложенное на одноименной набережной в Париже.

<sup>170</sup> Жан Ришар Блок (1884–1947) – французский писатель и общественный деятель, коммунист.

Поскольку меня по вашей вине могут выставить из Франции, мне захотелось хотя бы познакомиться с вами и пожать руку.

Думаю, Эренбург не спешил удивляться ни при каких обстоятельствах на свете. Но тут его взлохмаченные брови поползли вверх и из-под нависших на лоб непокорных седых прядей на меня глянули глаза, в которых было откровенное замешательство.

– Я тоже хотел познакомиться с вами, Неруда, – сказал он. – Мне по душе ваши стихи. А пока что попробуйте эту *choucroute*<sup>171</sup> по-эльзасски.

С той минуты началась наша большая дружба. Чуть ли не в тот же день он принялся переводить мою «Испанию в сердце». Надо отдать должное французской полиции: она подарила мне одного из самых лучших друзей и одного из самых ярких переводчиков моей поэзии на русский язык.

Однажды ко мне пришел Жюль Сюпервьель.<sup>172</sup> К тому времени у меня уже был чилийский паспорт со всеми необходимыми пометками. Я был взволнован, тронут визитом почтенного поэта, который почти не выходил из Дому.

– Я пришел сказать важную вещь: мой зять Берто хочет тебя видеть. А по какому поводу – мне неизвестно.

Берто был начальником полиции. Когда мы вошли в его кабинет, он пригласил нас сесть рядом с ним. Ни разу в жиз-

---

<sup>171</sup> Тушеная кислая капуста (*франц.*)

<sup>172</sup> Жюль Сюпервьель (1884–1960) – французский поэт.

ни я не видел столько телефонных аппаратов на одном столе. Сколько их было? Наверно, не меньше двадцати. Сквозь лес телефонов на меня смотрело умное, хитроватое лицо. Мне подумалось, что здесь, в этом высоком учреждении, были стянуты в один узел все нити тайной парижской жизни. На память пришли Фантомас и комиссар Мегрэ.

Неожиданно выяснилось, что начальник полиции читал мои стихи и вообще достаточно знал мою поэзию.

– Посол Чили в письменной форме обратился с просьбой изъять у вас паспорт. Он утверждает, что вы незаконно пользуетесь дипломатическим паспортом. Так ли это?

– У меня вовсе не дипломатический, а служебный паспорт, – ответил я. – Как сенатор я имею право на такой паспорт. Он у меня с собой, вы можете с ним ознакомиться, но не изъять, поскольку это моя собственность.

– Он не просрочен? Кто сделал продление? – спросил мосье Берто, взяв паспорт.

– Насколько я понимаю, с паспортом у меня все в порядке. А вот кто продлил его, не скажу, потому что чилийские власти снимут того человека с занимаемой им должности.

Начальник полиции внимательно изучил мои бумаги, затем взял трубку одного из многочисленных телефонов и попросил соединить его с посланцем Чили.

Телефонный разговор происходил при мне.

– Нет, сеньор посол, я не вправе это сделать. Паспорт в полном порядке. Нам неизвестно, кто именно продлил его.

Повторяю, у меня нет никаких оснований изъять документ. Нет, не могу, сеньор посол. Очень сожалею.

Посол был откровенно настойчив, но и Берто со своей стороны не скрывал раздражения. Наконец он положил трубку и сказал:

– По-моему, это ваш большой враг. Но можете оставаться во Франции столько, сколько вам заблагорассудится.

Мы с Сюпервьелем вышли на улицу. Старый поэт плохо понимал, что произошло. Я же испытывал смешанное чувство торжества и отвращения. Этот преследовавший меня посол, этот прихвостень Гонсалеса Виделы был не кто иной, как Хоакин Фернандес, тот, кто выдавал себя за моего друга, кто не пропускал случая похвалить мои стихи и от кого еще сегодня утром через посла Гватемалы я получил наилюбезнейшее письмо.



# Корни

Эренбург, который читал и переводил мои стихи, часто упрекал меня: опять корень, слишком много корней в твоих стихах. Зачем столько?

Это верно. Южная земля Чили пустила корни в мою поэзию, и они остались там навсегда. Моя жизнь – долгая цепь странствий и возвращений, которые вновь приводят меня в южный лес, в глухую затерянную сельву.

В тех краях валяются на землю титанические деревья – то под тяжестью своей могущественной семивековой жизни, то вырванные с корнем разбушевавшейся стихией, то опаленные снегом, то загубленные пожаром. Я слышал, как рушатся в глубинах леса деревья-исполины, падает дуб с глухим грохотом неведомой катастрофы, и кажется, чья-то огромная рука стучится в дверь земли, требуя могилы.

Но вывороченные корни остаются под открытым небом и попадают во власть враждебного времени, сырости и мха, во власть неспешной гибели.

И нет ничего прекрасней этих огромных разомкнутых рук – израненных, обожженных, что лежат поперек лесной тропы, – они раскрывают нам тайну погребенного дерева, загадку зеленой листвы. Трагические, вскинутые вверх, они являют нам новую красоту: это изваяния земных глубин, тайные шедевры самой природы.

Однажды мы с Рафаэлем Альберти бродили среди водопадов, густых зарослей и могучих деревьев Осорно; испанский поэт восхищался тем, что ни одна ветка не повторяет другую, что листья как бы соперничают между собой в бесконечном стилевом разнообразии.

– Как будто их отобрал садовод для великолепного парка, – заметил он.

Спустя годы в Риме Рафаэль вспомнил о нашей прогулке и о неповторимой, естественной пышности наших лесов.

Это все было. Этого нет. И я с грустью думаю о том, как в детстве и юности своей я уходил к Бороа и Карауэ, а то и к реке Тольтен в горах побережья. Какие меня поджидали встречи! Горделивая статья коричневого дерева, его пряное благоуханье после дождя, зимние бороды лишайника, обрамлявшие бесчисленные лица сельвы.

Я поддевал ногой палую листву, отыскивая сверкающую молнию золотистых скарабеев; в нарядном платье подсолнуха они танцевали свой едва зримый танец у корней деревьев.

А позже, когда я верхом на лошади пересекал Андские горы, чтобы добраться до аргентинской границы, перед нами под зеленым сводом деревьев возникло неожиданное препятствие: огромный выворотень – выше всадника на коне. Топорами, работой без прорыва мы расчистили себе путь. Эти гигантские корни были подобны опрокинутым храмам, обнажившим силу своего величия.

# Начало и конец изгнания

## Тетрадь 9

### В Советском Союзе

В 1949 году, вскоре после того как я оказался в изгнании, меня пригласили в Советский Союз на празднование 150-летия со дня рождения Пушкина. Вместе с закатным заревом пришел я на первое свидание с холодной жемчужинной Балтикой, с древним, новым, благородным и героическим Ленинградом. У города Петра Великого, у города Великого Ленина есть своя неповторимая душа, свой «ангел», как у Парижа. Серебристо-серый «ангел» города... Он в отсвечивающих сталью проспектах, в дворцах, сложенных из свинцово-серого камня, в стальной прозелени моря. Самые прекрасные в мире музеи, сокровища царей, их картины, одежды, ослепительные украшения, парадные мундиры, оружие, посуда – все предстало перед моими глазами. И крейсер «Аврора» – память о новых, бессмертных событиях, – чьи орудия вместе с великой мыслью Ленина разрушили стены прошлого и распахнули двери грядущей истории.

Я пришел на свидание к поэту, который умер сто с лишним лет назад. К Александру Пушкину – автору бессмерт-

ных стихов, сказок и повестей. Пушкин – святая святых русской поэзии, и ему навсегда отдано сердце великой Советской страны. Готовясь к пушкинскому празднику, русские восстановили комнату за комнатой – весь царский дворец. Каждая стена, превращенная в груды развалин фашистской артиллерией, воскресла в своем первоизданном виде. Все документы прошлого столетия, все старые архитектурные планы дворца были изучены, для того чтобы заново создать красочные витражи, кружевные карнизы, пышные капители, чтобы в память замечательного поэта, жившего в другие времена, заново возвести прекрасный памятник архитектуры.

С самого начала меня поразило в Советском Союзе то, что все в нем проникнуто чувством простора, безбрежной шири – плавный бег берез по лугам, бескрайность нетронутых, непостижимо чистых лесов, огромные реки и кони в колыханье спелой пшеницы.

С первого взгляда я полюбил советскую землю и понял, что она не только дала высокий нравственный урок человеку, озарив всю его жизнь, не только открыла путь к равенству возможностей, к нарастающему прогрессу в созидании и распределении. Я осознал и то, что с первоизданно-чистых степных широт советского континента начнется великий полет в будущее. Все человечество знает: на советской земле куется гигантская правда, и весь изумленный мир напряженно ждет того, что должно свершиться. Одни ждут со страхом,

другие просто ждут, а третьи верят, что им дано предугадать грядущее.

Я стоял тогда в лесу, среди крестьян в старинных праздничных одеждах, среди многих сотен людей, которые слушали стихи Пушкина. Все наполнилось трепетом – люди, листва, поля, где рождалась жизнь новых колосьев пшеницы. Казалось, сама природа слилась с человеком в торжествующем единстве. И стихи Пушкина, звучавшие в лесу близ Михайловского, должны были предвосхитить человека, который устремился к новым планетам.

В самый разгар праздника началась сильная гроза. Молния ударила рядом с нами, высветив человека и дерево, под которым он укрылся. И все мне явилось вдруг, как на картине, созданной яростными дождевыми потоками. И я почувствовал свою причастность к поэзии, в которую вторгся тот самый дождь, что слышен в моих стихах.

Советская страна стремительно меняет свой облик. Строятся огромные города и каналы. Меняется и ее география. Но уже в тот первый приезд я понял раз и навсегда, что мне близко в советских людях, что крепко связывает меня с ними, а что в них не созвучно моему духу.

Жизнь московских писателей постоянно бурлит в спорах и поисках. Там, в Москве, задолго до «открытий» западных любителей сенсаций, я узнал, что Пастернака считают лучшим советским поэтом наравне с Маяковским. Но Маяков-

ский – поэт-трибун, поэт с громоподобным голосом, бронзово-величавый, с великодушным, щедрым сердцем. Он нарушил привычный порядок в литературном языке и лицом к лицу встретился с самыми трудными проблемами политической поэзии. Пастернак – великий поэт вечерних сумерек, метафизической интимности, но в политике он оказался честным реакционером, ибо в преобразованиях, совершаемых на его родине, сумел разобраться не лучше просвещенного церковного служки. Так или иначе, мне не раз читали на память стихи Пастернака самые суровые критики его политической статичности.

Нельзя отрицать, что в советском искусстве и литературе определенное время существовал догматизм, но его считали явлением отрицательным и боролись с ним в открытую. Культ личности тормозил развитие советской культуры. Однако многие не молчали, и теперь всем ясно, что жизнь сильнее и упорнее предписаний. Революция – это и есть жизнь, а предписания обречены на смерть.

Моему доброму другу Эренбургу уже много лет, но он по-прежнему пламенный поборник всего самого подлинного и самого жизненного в советской культуре. Я не раз бывал у Эренбурга в гостях на улице Горького в его квартире, где на стенах – созвездия картин и литографий Пикассо. Я бывал и на его даче под Москвой. Эренбург страстно любит работать в саду, там он проводит много часов, извлекая сорняки, а

заодно и выводы из всего, что растет вокруг.

Позднее я подружился с поэтом Кирсановым – прекрасным переводчиком моих стихов на русский язык. Как и все советские люди, Кирсанов – пылкий патриот. Искрометным блеском, звучностью наделил поэзию Кирсанова великолепный русский язык: слова взмывают ввысь, превращаясь в сверкающие каскады, в яркие вспышки взрыва.

Часто я встречался в Москве или под Москвой с другим выдающимся поэтом – турком Назымом Хикметом, легендарным человеком, просидевшим семнадцать лет в тюрьме по воле непостижимых правителей его страны.

Назыма, обвиненного в подготовке бунта среди турецких военных моряков, подвергли всем мукам ада. Мне рассказывали, как его судили на борту военного корабля, как заставляли до изнеможения вышагивать по палубе, как втолкнули в нужник, где ноги на полметра уходили в нечистоты. Поэт, мой брат, почувствовал, что теряет сознание. Он задышался от зловония. Но тут в голове его пронеслась мысль: «Мои палачи следят за мною, они ждут, чтобы я упал, они хотят увидеть мое отчаяние». Человеческая гордость вернула ему силы. Он начал петь, сперва тихо, потом громче, а под конец во весь голос. Он спел все песни, все любовные стихи, что помнил, собственные стихотворения, народные романсы, гимны борьбы своего народа. Он спел все, что знал. И так одержал победу над пыткой и зловонной нечистью. Когда он рассказывал об этом, я воскликнул: «Брат мой, ты пел за

всех нас! Зачем сомневаться и обдумывать, что нам делать? Теперь мы знаем, в какой час нужна песня!»

Он много рассказывал мне о страданиях своего народа, о том, как измываются над крестьянами турецкие феодалы. Назым видел их в тюрьмах, видел, как они меняли на одну сигарету единственный кусок хлеба, что выдавали им на день. Сначала крестьяне, как бы задумавшись, смотрели на растущую во дворе траву, потом – с упорным вниманием, почти с жадностью. Дальше они принимались украдкой жевать зеленые травинки. И наступал день, когда они запихивали в рот целые горсти травы и мгновенно ее проглатывали. Под конец они ели ее, стоя на четвереньках, как лошади.

Наzym – страстный противник догматизма. Он прожил долгие годы в СССР. Любовь Назыма к приютившей его стране наиболее полно выражена в словах: «Я верую в будущее поэзии. Верую потому, что живу на земле, где поэзия – насущная необходимость человеческой души». В этой фразе – живой трепет того, что нельзя разгадать, увидеть издалека. Советский человек, которому распахнуты двери всех библиотек, всех аудиторий, всех театров, – всегда в самом центре писательского внимания. И нельзя забывать об этом в спорах о назначении литературы. С одной стороны, мы понимаем, что старые литературные шаблоны должны быть разрушены, преодолены под напором неодолимого обновления всего сущего; с другой стороны, как не шагать в ногу с революцией, идущей вглубь и вширь? Как говорить о главном,



если в стороне останутся победы, конфликты, заботы, процветание, порыв, становление великого народа, который отважился на полное политическое, экономическое и социальное переустройство своей страны.

Может ли писатель не быть солидарным с народом, который отражает яростные атаки захватчиков, который окружен беспощадными врагами и мракобесами всех мастей?

Может ли литература или искусство избрать позицию призрачной независимости перед лицом таких значительнейших свершений?

Небо совсем белое, а к четырем часам оно становится черным. Потом все исчезает в ночной мгле.

Москва – зимний город. Прекрасный зимний город. На бесконечных крышах лежит снег. Блестят чистотой зимние тротуары. Воздух затвердел прозрачным стеклом. Во всем – приглушенный стальной цвет. Кружатся вихрем снежные пушинки, а люди, толпы людей идут по улицам так, словно им нет дела до холода. И мнится: Москва – огромный зимний дворец с удивительными призрачными ожившими декорациями.

Тридцать градусов ниже нуля в этом городе, что пылает снежной звездой, бьются пламенным сердцем в груди нашей планеты.

Я смотрю в окно. По обеим сторонам улицы шпалерами стоят солдаты. Что там? Даже снег больше не падает. Хоро-

нят Вышинского. Улицы торжественно встречают траурное шествие. Все погружено в глубокое молчание, затихает сердце зимы, провожая в последний путь этого деятеля.

Солдаты, взявшие на караул, пока проходил траурный кортеж, по-прежнему стоят шеренгой. Время от времени кто-нибудь из них начинает пританцовывать, притопывать валенками и махать руками в теплых варежках. Но большинству холод нипочем.

Один мой испанский приятель рассказывал мне, что во время Великой Отечественной войны в самые страшные морозы, да еще сразу же после бомбежки, ему случалось встречать москвичей, которые прямо на улице ели мороженое. «Именно тогда я понял, что они победят, – сказал он, – понял, глядя на то, как они невозмутимо едят мороженое при таком морозе, в самый разгар страшной войны».

Убеленные снегом деревья заиндевели. Ничто не сравнится с этими хрустальными лепестками в зимних парках Москвы. Под солнцем они становятся прозрачными, вспыхивают белым огнем, но не обронят ни одной капли, которая могла бы нарушить их цветущую целостность. И сквозь этот ветвистый ледяной мир, сквозь его снежную весну проступают древние башни Кремля, уходят ввысь многовековые шпили, золотятся купола Василия Блаженного.

Позади остались предместья Москвы, и, направляясь в другой город, я вижу широкие белые дороги. Это замерзшие

реки. Нет-нет да возникнет черной мушкой на ослепительно чистой скатерти реки силуэт задумчивого рыбака. Тот рыбак находит себе место посреди замерзшего поля, пробивает отверстие во льду, добираясь до замураванной воды, но не спешит ловить рыбу, зная, что ее спугнул треск раскалывающегося льда. Он бросает в прорубь приманку, чтобы вернуть беглецов, опускает удочку и ждет. Ждет долгими часами, ждет на адском морозе.

Я бы сказал, что писательский труд во многом схож с занятием зимних рыбаков. Писателю тоже нужно найти реку и, если она скована льдами, – сделать прорубь. Ему нужно запастись терпением, выдержать холод, враждебную критику и даже недобрый смех. Ему нужно найти глубокое течение, ловко забросить удочку, и только тогда, после всех усилий, он сумеет поймать маленькую рыбешку. А потом – все снова, наперекор холоду, наперекор льдам, воде, критикам, для того чтобы научиться ловить настоящую рыбу.

Мне довелось присутствовать на съезде советских писателей. В президиуме сидели умелые рыболовы, большие писатели: Фадеев – с серебристыми волосами и светлой улыбкой; Федин – с тонким заостренным лицом английского рыбака; Эренбург – с непокорной шевелюрой, в костюме, который был новым, но выглядел так, словно в нем проспали всю ночь; Тихонов.

Были в президиуме и писатели с восточными лицами. Только что напечатанные книги этих писателей представля-

ли литературу самых далеких советских республик, литературу народов, о которых прежде я ничего не слышал; в недалеком прошлом они не имели даже своей письменности и вели жизнь кочевников.

## Снова в Индии

В 1950 году мне неожиданно пришлось побывать в Индии. Жолио-Кюри – председатель Всемирного Совета Мира поручил мне одно дело. Нужно было отправиться в Дели, встретиться там с представителями различных политических направлений и на месте разобраться в возможностях развития индийского движения сторонников мира.

Мы долго разговаривали с Жолио-Кюри, которого беспокоило то, что движение в защиту мира не получило в Индии соответствующего отклика, хотя сам премьер-министр пандит Неру пользовался славой активного борца за мир и мир издревле был сокровенной мечтой индийского народа.

Жолио-Кюри просил меня передать два письма: одно – ученому в Бомбее, а другое – лично премьер-министру. Мне показалось странным, что именно я должен отправиться в такое далекое путешествие для выполнения столь легкой, на первый взгляд, задачи. Возможно, выбор пал на меня потому, что это была страна, где я провел несколько лет своей юности, страна, к которой никогда не ослабевала моя любовь. А может, и потому, что в тот год я получил Международную премию Всемирного Совета Мира за свою поэму «Пусть проснется Лесоруб». Тогда же такая награда была присуждена Пабло Пикассо и Назыму Хикмету.

В Бомбей я летел самолетом. Спустя тридцать лет я воз-

вращался в Индию. Миновали времена, когда она была колонией, борющейся за свободу. Теперь меня ждала суверенная республика, о которой мечтал Ганди. В 1928 году мне довелось побывать на сессиях движения за независимость. Вряд ли жив кто-нибудь из моих старых друзей, тех студентов-революционеров, которые с братским доверием рассказывали мне о своей борьбе.

Выйдя из самолета, я сразу же направился к таможене. Мне хотелось побыстрее попасть в гостиницу, вручить письмо физику Раме и сразу же уехать в Нью-Дели. Но всего не предвидишь! Мой багаж застрял в таможене. Целая стая – люди, которых я принял за таможенников, – чуть ли не в лупу принялись изучать мои вещи. Я прошел через многие таможенные досмотры, а такого не видел ни разу. При мне был один чемодан средних размеров и небольшая кожаная дорожная сумка с туалетными принадлежностями. Мои брюки, носки, туфли – все извлекалось наружу и просматривалось пятью парами придирчивых глаз. Выворачивались наизнанку каждый карман, каждый шов. Еще в Риме я, чтобы не запачкать белье, завернул ботинки в газету, которую нашел у себя в номере. Кажется, это был листок из «Оссерваторе романо». Его расстелили на столе, просмотрели на свет, сложили с такой аккуратностью, словно это секретный документ, а потом положили рядом с моими бумагами. Ботинки изучали так дотошно изнутри и снаружи, будто уникальные находки каменного века.

Два часа подряд длилась эта невероятная проверка. Из бумаг, к коим причислили и злосчастный листок газеты, – паспорта, записной книжки с адресами, письма, которое я должен был вручить премьер-министру, – сделали внушительный сверток и торжественно запечатали красным сургучом. Только после этой церемонии мне сказали, что я могу ехать в гостиницу.

Мне, с моим чилийским темпераментом, стоило больших усилий взять себя в руки. Но я невозмутимо заметил, что ни одна гостиница не примет меня без документа и что приехал я в Индию, чтобы лично передать письмо премьер-министру, чего сделать не смогу, поскольку оно у меня отобрано.

– Мы переговорим с администрацией гостиницы, чтобы вас приняли. Что касается документов, они будут вам возвращены в свое время.

А ведь борьба этой страны за независимость вошла в мою юность.

Мне ничего не оставалось, как закрыть чемодан и заодно – свой рот. Про себя я произнес единственное слово: «Дерьмо!»

В гостинице я встретился с профессором Баэрой, которому поведал о своих злоключениях. Но, как человек легкого характера, он не придал им особого значения. Он был терпим к своей стране и считал, что в ней еще не все устоялось. Для меня в этом происшествии было что-то недоброе, чего

я никак не ожидал.

Друг Жолио-Кюри, к которому у меня было рекомендательное письмо, руководил Индийским институтом ядерных исследований. Он пригласил меня в институт. И сказал, что в тот же день нас зовет на обед сестра премьер-министра. Вот она, моя судьба! Так, видно, будет до конца моей жизни. Одна рука меня бьет, а другая – протягивает букет цветов, чтобы я не помнил зла.

Институт ядерных исследований был одним из тех чистых, светлых и солнечных зданий, где повсюду встречаешь людей в белом. Со стремительностью весеннего ручейка пересекают они коридоры, прикасаются к инструментам, сосудам, вглядываются в светящиеся табло. Я мало что понял из их ученых объяснений, но, побывав в том институте, я словно бы искупался в святой воде, которая смыла с меня грязь оскорблений, нанесенных таможенной полицией. Смутно припоминаю, что среди прочего нам показали нечто вроде ртутного фонтана. Трудно найти что-либо более притягательное, завораживающее, чем ртуть, – этот металл заряжен энергией и похож на живое существо. Меня всегда привлекала его подвижность, его магическая способность принимать текучие, сферические формы.

Я не сохранил в памяти имя сестры Неру, с которой обедал в тот день. Но рядом с ней от моего дурного настроения не осталось и следа. Это была необыкновенно красивая женщина, умело подкрашенная и одетая, точно экзотическая



актриса, ее сари пламенело ярким разноцветьем. Золото и жемчуг подчеркивали ее великолепии. Она мне чрезвычайно понравилась. Но мне было странно видеть, как эта изысканнейшая женщина ела руками, опускала длинные унизанные перстнями пальцы в рис, политый соусом. Я сказал ей, что собираюсь ехать в Нью-Дели, чтобы встретиться с ее братом и со сторонниками движения за мир. Она сказала, что весь народ Индии должен принять участие в этом движении.

Вечером в гостинице мне передали пакет с моими документами. Эти шарлатаны из полиции сняли печати, которые собственноручно поставили в моем присутствии. Наверняка они сфотографировали все, вплоть до квитанций из прачечной. Со временем я узнал, что полиция посетила и опросила всех, кто значился в моей записной книжке. Среди них была и вдова Рикардо Гуиральдеса,<sup>173</sup> в ту пору – моя золовка. Эта увлекающаяся теософией женщина, довольно неглубокого ума, жила в отдаленной деревушке, и единственной ее страстью были восточные философские учения. Полиция, обнаружившая у меня ее адрес, причинила ей немало беспокойств.

В Нью-Дели, уже в день приезда, в саду под большим зонтом, укрывшим меня от раскаленного солнца, я беседовал с несколькими важными представителями столичной общественности. Это были писатели, философы, духовные лица

---

<sup>173</sup> Рикардо *Гуиральдес* (1886–1927) – аргентинский писатель, автор широко известного исторического романа «Дон Сегундо Сомбра».

– буддисты и индуисты, – люди обаятельные в своей простоте, лишённые какого-либо высокомерия. Они были едины в том, что борьба за мир отвечает духу их древней страны с ее прочными традициями доброжелательства и всепонимания. И мудро считали, что в движении сторонников мира не может быть места ни сектантству, ни гегемонии: ни буржуазия, ни коммунисты, ни буддисты не должны посягать на ведущую роль, ибо главная задача – добиться всеобщего участия в борьбе за мир. Я полностью согласился с ними.

Вечером ко мне пришел посол Чили доктор Хуан Марин – писатель и врач, мой старый приятель. Он долго ходил вокруг да около, пока не рассказал о своей встрече с полицейским чином. Тот очень сдержанно, как и подобает властям, когда они говорят с дипломатами, заявил чилийскому послу, что чрезвычайно обеспокоен моей деятельностью в Индии и очень хотел бы, чтобы я поскорее покинул страну.

Я сказал послу, что вся моя «деятельность» – это встреча в саду гостиницы с шестью или семью авторитетными людьми, чьи взгляды, надо полагать, широко известны. Что касается меня, – добавил я, – то лишь только премьер-министр получит письмо Жолио-Кюри, мне незачем будет оставаться в стране, где со мной, давним ее сторонником, обращаются более чем невежливо и без всяких на то причин.

Посол – один из основателей Социалистической партии Чили – хотел все сгладить: быть может, тут сказывался возраст, а может, привычка к привилегиям, которые дает дипло-

матический пост. Он ничуть не возмутился нелепым поведением полицейских властей. А я не стал просить у него никакой помощи, и мы вежливо распрощались. Посол наверняка легко вздохнул, узнав, что скоро избавится от такой обузы, как мое пребывание в Индии, а я навсегда разуверился в его чуткости и дружбе.

Неру назначил мне встречу в его кабинете на следующее утро. Когда я вошел к нему, он встал и без тени улыбки протянул мне руку. Премьер-министра так часто фотографировали, что нет нужды описывать его лицо. На меня смотрели темные пронизывающие глаза. Тридцать лет назад мне представили Неру и его отца на многолюдном собрании борцов за независимость Индии. Я напомнил ему об этом, но лицо его осталось неподвижным. Он односложно отвечал на все, что я говорил, не сводя с меня холодного взгляда.

Я подал ему письмо Жолио-Кюри. Он сказал, что испытывает к французскому ученому глубокое уважение, и не спеша стал читать письмо, где шла речь и обо мне. Жолио-Кюри просил премьер-министра помочь мне в моей миссии. Прочитав письмо, он вложил его в конверт и молча взглянул на меня. Я вдруг решил, что вызываю у него неодолимую неприязнь. Потом мне подумалось, что у этого человека, с лицом цвета желчи, что-то неладно или со здоровьем, или в личных делах, или в государственных. Во всем его поведении проступала надменность, пожалуй, натянутость. Мне показалось, у этого человека, привыкшего распоряжаться, не

было уже хватки и силы подлинного вождя. Я вспомнил, что его отец пандит Мотилал Неру, заминдар,<sup>174</sup> потомок старинного индийского феодального рода оказал поддержку партии Индийский национальный конгресс не только потому, что был мудрым политиком, но и потому, что владел солидным капиталом.

– Что мне сказать профессору Жолио-Кюри по возвращении в Париж?

– Я напишу ему, – ответил Неру.

Молчание показалось мне невыносимо долгим. Премьер-министр, похоже, не имел ни малейшей охоты вести разговор, но при этом не выказывал нетерпения, и мне было тяжело сидеть без всякого дела у такого важного человека и терзаться тем, что напрасно отнимаю у него время.

Я посчитал своим долгом сказать ему несколько слов о моей миссии в Индии. «Холодная война» грозила накалиться добела. Человечество стояло перед пропастью новой бойни. Я говорил о том, какую серьезную опасность представляет ядерное оружие и как важно объединить усилия людей, которые хотят избежать войны.

Погруженный в свои мысли, Неру, казалось, меня не слышал. Через несколько минут он заметил:

– Похоже, что защита мира – тот аргумент, которым нередко пользуются оба лагеря, борясь друг с другом.

– По-моему, – ответил я, – все, кто говорит о мире или

---

<sup>174</sup> Заминдар – индийский землевладелец.

хочет помочь делу мира, могут быть в одном лагере, в одном движении. Мы не станем исключать из этого движения никого, кроме реваншистов и поджигателей новой войны.

Понимая, что паша беседа окончена, я встал и протянул ему руку. Неру молча пожал ее. Но когда я был уже у дверей, он вдруг спросил меня самым любезным голосом:

– Могу ли я быть вам полезным? Есть ли у вас какое-нибудь пожелание?

У меня довольно замедленная реакция, и я, к сожалению, человек не ехидный, но тут не упустил удобного момента:

– О, конечно! Чуть не забыл! Я ведь жил в Индии, однако мне не выпало случая посетить Тадж-Махал, хоть это совсем рядом с Дели. Очень хотел бы познакомиться с замечательным памятником, но полиция предупредила меня о том, что я не имею права выезжать за пределы города и что мне следует вернуться в Европу как можно скорее. Завтра же я уезжаю.

Я слегка поклонился и вышел из кабинета.

В холле гостиницы меня ждал администратор.

– У меня для вас новость. Звонили от премьер-министра. Велено передать вам, что вы можете посетить Тадж-Махал в любой удобный для вас день.

– Подготовьте счета, – ответил я. – Очень сожалею, но у меня нет времени. Я немедленно должен ехать в аэропорт и вылететь с первым самолетом рейсом на Париж.

Пять лет спустя мне пришлось заседать в Москве в ко-

митете, который ежегодно присуждает Ленинскую премию «За укрепление мира между народами». Я и поныне являюсь членом этого комитета. Когда стали выдвигать кандидатуры, делегат Индии назвал имя премьер-министра Неру. На моем лице появилась улыбка, и я проголосовал «за». Неру вошел в историю как один из главных поборников дела мира во всем мире.

# Мое первое посещение Китая

Два раза я был в Китае после революции. Первый – в 1951 году, когда мне выпала честь быть членом делегации, которая вручила Международную Ленинскую премию госпоже Сун Цин-лин, вдове Сун Ят-сена.<sup>175</sup>

Она получила золотую медаль по предложению Го Мо-жо, заместителя премьера Китая. Го Мо-жо был еще и членом комитета по Ленинским премиям, как и Арагон. В состав комитета входили также Анна Зегерс, кинорежиссер Александров, кто-то еще – сейчас не припомню, – Эренбург и я. Между Арагоном, Эренбургом и мной существовал негласный союз. Мы выступали за то, чтобы Ленинской премии были удостоены Пикассо, Бертольт Брехт и Рафаэль Альберти. Надо сказать, мы немало постарались, чтобы добиться этого.

В Китай мы ехали по транссибирской железной дороге. Пока я сидел в знаменитом поезде, мне казалось, что это пароход, плывущий прямо по суше, сквозь бескрайние и неведомые просторы.

Стояла сибирская осень; по обе стороны поезда все купалось в желтом. Километры за километрами, куда ни кинь взор, серебрились березы с желтой россыпью листьев. А

---

<sup>175</sup> *Сун Ят-сен* (1866–1925) – выдающийся китайский революционер-демократ. *Сун Цин-лин* (род. в 1890 г.) – китайская государственная и общественная деятельница.

дальше – необозримые луга, таежные леса, тундра. Время от времени попадались станции недавно отстроенных небольших городов. Мы с Эренбургом выходили из поезда, чтобы немного поразмяться. На платформах и в залах ожидания теснились крестьяне с многочисленными тюками и чемоданами.

Мы едва успевали сделать несколько шагов вдоль перрона. Все станции были похожи. И везде – гипсовая статуя Сталина. Только в одном городке она была выкрашена под золото, а в другом – под серебро. Мы миновали не один десяток этих совершенно одинаковых статуй, и я затрудняюсь сказать, какие были хуже – золотые или серебряные. В вагоне Эренбург целую неделю занимал меня своими скептическими, полными искрометного остроумия разговорами. Он был верным патриотом, подлинно советским человеком, но о многих тогдашних делах говорил с усмешкой и раздражением.

Вместе с Красной Армией Эренбург в годы войны дошел до Берлина. Вне всякого сомнения он был одним из самых блистательных военных корреспондентов той поры. Советские солдаты любили этого несколько эксцентричного и сурового человека. Перед отъездом из Москвы он показал мне два их подарка: найденное в немецких развалинах ружье, которое бельгийские оружейники сделали для самого Наполеона, и два крохотных томика Ронсара, напечатанных во Франции в 1650 году. Оба томика были с пятнами от дождя, а может, и крови, с обгорелыми страницами.



Прекрасное наполеоновское ружье Эренбург подарил со временем французскому музею. «Зачем оно мне», – говорил он, поглаживая ствол и полированный приклад. Но томики Ронсара бережно хранил у себя.

Эренбург был страстным франкофилом. В поезде он прочел мне одно из своих негласных стихотворений. Я назвал стихотворение «негласным», потому что оно пришлось на ту пору, когда в стране появлялись в газетах разносные статьи, под обстрел попадал то один, то другой писатель или художник. Это совсем коротенькое стихотворение, в котором Франция воспевалась, как любимая женщина. Стихотворение, в котором было столько нежности к Франции, пряталось от чужих глаз, точно скрытый в траве цветок.

Я смотрел на Эренбурга, на его взлохмаченную голову и глубокие морщины, на пожелтевшие от табака зубы и холодные серые глаза, на его грустную улыбку и видел застарелого разуверившегося скептика. Моим глазам только что представало все величие революции, и в моей душе не было места для мрачных деталей. Едва ли я соглашался с тем, что дурной вкус был присущ всей той поре с ее памятниками в позолоте и серебре. Время показало, что прав был не я, но, пожалуй, и не Эренбург. Истинные масштабы того, что произошло, открылись нам после XX съезда.

Мне казалось, что поезд очень медленно продвигается сквозь неоглядное буйство желтизны – день за днем, береза

за березой, и нет конца огромной Сибири.

Во время одного из наших обедов в вагоне-ресторане я обратил внимание на молодого солдата, сидевшего за отдельным столиком. Этот белобрысый и улыбающийся солдат был в веселом настроении: то и дело он заказывал у официанта пару сырых яиц, а потом с явным удовольствием разбивал одно об другое и бросал в тарелку. Почти тут же он просил новую порцию. Судя по его блаженной улыбке и по блеску голубых глаз, солдат чувствовал себя безмерно счастливым. Видимо, он уже давно развлекался, потому что белки и желтки переполнили тарелку, грозя вот-вот пролиться на пол.

– Товарищ! – восторженно звал он официанта и требовал еще одну порцию, чтобы умножить свои богатства.

Я с интересом наблюдал за этой сюрреалистической сценой, столь невинной и столь неожиданной в океанском безмолвии Сибири.

Это длилось до тех пор, пока встревоженный официант не призвал на помощь милиционера. Дюжий милиционер, с револьвером за поясом, строго взирал на молоденького солдата. А тот, не обращая на него никакого внимания, упоенно разбивал яйцо за яйцом.

Я подумал, что сейчас этого замечтавшегося потрошителя силой приведут в чувство. Но ничуть не бывало! Здоровенный милиционер сел рядом с солдатиком, ласково погладил его русую голову и стал, улыбаясь, что-то говорить ему вполголоса, убеждать. Потом помог ему подняться из-за стола и

повел под руку к двери, как младшего брата.

Я с горечью подумал, как бы расправились с несчастным индейцем, если бы он вдруг позволил себе бить сырые яйца в поезде, пересекающем Америку.

В дни, когда мы ехали через Сибирь, я слышал, как в соседнем купе утром и вечером стучит пишущая машинка Эренбурга. В поезде он закончил свой последний роман «Девятый вал», предваривший повесть «Оттепель». Я же временами писал стихи о любви к Матильде, которые вошли в сборник «Стихи Капитана», анонимно опубликованный в Неаполе.

В Иркутске мы, наконец, распрощались с поездом, но перед тем как лететь в Монголию, отправились к озеру, знаменитому озеру Байкал, что был вратами свободы в царские времена. Сколько заключенных в ссыльных мечтали, думали о Байкале – единственном пути к освобождению! Славное море, священный Байкал...» Еще и сегодня русские люди чуть хриплыми голосами поют сложенные в старину песни об этом озере.

Сотрудники Научно-исследовательского лимнологического института пригласили нас на обед. Там мне рассказали о некоторых секретах озера, там я узнал, что никому еще не удалось определить точную глубину Байкала – ока сибирской земли. Со дна темной пропасти, уходящей вглубь на две тысячи метров, достают причудливых, совершенно сле-

рых рыб – голомянок. У меня вдруг разыгрался аппетит, и я упросил принимавших нас ученых зажарить парочку этих рыбин. Должно быть, мало людей на свете ели столь странную рыбу, запивая ее чудесной сибирской водкой.

Из Иркутска мы полетели в Монголию. В моей памяти смутно рисуется облик этой луноподобной земли, где народ еще живет в юртах, но уже строит первые типографии и университеты. Вокруг Улан-Батора кольцом лежит бескрайняя сушь, напоминающая чилийскую пустыню Атакаму. Лишь несколько верблюдов нарушают тишину этой земли, придавая ей архаичность. Я конечно попробовал монгольское виски, которое мне подносили в серебряных чашах тончайшей работы. Каждый народ делает свои алкогольные напитки из чего может. Монгольское виски – это перебродившее верблюжье молоко. Меня и сейчас бросает в дрожь, когда я вспоминаю его вкус. Но какое это чудо – попасть в Улан-Батор! Особенно для меня – ведь я живу в словах, в прекрасных словах. Я живу в них, как в сказочных дворцах, предназначенных мне одному. Вот так я жил в слове «Сингапур», наслаждаясь каждым его слогом. Или в слове «Самарканд». Когда я умру, пусть погребут меня в слове, звучном, верно найденном, чтобы все его слоги пели над моей могилой у моря.

Китайцы – самый улыбчивый народ в мире. Пройдя сквозь годы жестокого колониализма, сквозь революции и

страшный голод, китайский народ улыбается, как никто. Улыбка китайских детей – самый прекрасный урожай риса, который собран миллионами рук.

Но есть два вида китайской улыбки. Одна – открытая, естественная, что освещает лица цвета спелой пшеницы. Это улыбка крестьян, улыбка простого народа. Другая – притворная, дежурная, которую приклеивают и снимают. Это улыбка – чиновников.

Когда мы с Оренбургом очутились в аэропорту Пекина, нам не сразу удалось различить эти улыбки. Настоящая, добрая улыбка сопровождала нас многие дни нашего путешествия – улыбка китайских прозаиков и поэтов, наших товарищей, которые принимали нас с гостеприимством, исполненным особого благородства. Мы познакомились с романисткой Дин Лин – лауреатом Ленинской премии и заместителем председателя Союза китайских писателей, с Мао Дунем, с Эми Сяо и с обаятельнейшим Ай Цином – старым коммунистом, лучшим из лучших китайских поэтов. Они говорили по-французски и по-английски. Позднее всех этих писателей смела «культурная революция». Но тогда, когда мы были в Китае, они считались ведущими представителями китайской литературы.

На следующий день после торжественного вручения премии Сун Цин-лин мы обедали в советском посольстве. На обеде помимо Сун Цин-лин присутствовали Чжоу Энь-лай, старый маршал Чжу Дэ и еще несколько человек. Советский

посол – герой Сталинградской битвы, типичный советский военный, – пел и без устали произносил тосты. Меня посадили на почетное место рядом с Сун Цин-лин, очень достойной и все еще красивой женщиной. В те годы она была окружена большим вниманием и почетом.

Перед каждым гостем стоял графинчик с водкой. «Ганьбэй»<sup>176</sup> – слышалось то и дело. После тоста полагалось залпом выпить все до дна. Сидевший против меня маршал Чжу Дэ поминутно наполнял водкой свою рюмочку и, даря мне широкую крестьянскую улыбку, приглашал снова выпить. В конце обеда, воспользовавшись моментом, когда старый стратег чем-то отвлекся, я наполнил рюмку из его графинчика. Так и есть! Весь обед он пил обыкновенную воду, а я без удержу хлестал этот жидкий огонь.

Когда разносили кофе, моя соседка по столу Сун Цин-лин, вдова Сун Ят-сена, великолепная женщина, ради которой мы приехали, чтобы вручить ей награду, – вынула сигарету из своего портсигара, потом с изысканной улыбкой предложила мне закурить. «Благодарю вас, не курю», – сказал я и принялся расхваливать ее портсигар. «Я очень берегу его, – проговорила Сун Цин-лин, – с ним связаны важные события моей жизни». Это был прекрасный портсигар массивного золота, усеянный бриллиантами и рубинами. Рассмотрев портсигар, я с самыми хвалебными словами передал его в руки владелицы.

---

<sup>176</sup> Ганьбэй – за ваше здоровье (*кит*).

Должно быть, госпожа Сун Цин-лин запомнила это, потому что, едва мы поднялись из-за стола, она повернулась ко мне и встревоженным, напряженным голосом сказала:

– Мой портсигар, please.<sup>177</sup>

Я твердо помнил, что вернул его. Однако принялся за чем-то искать его на столе и даже под столом. Портсигара как не бывало. Улыбка вдовы Сун Ят-сена мгновенно исчезла, и ее черные глаза сверлили меня двумя беспощадными лучиками. Священная вещь пропала бесследно, а я, как это ни глупо, почувствовал себя виновником пропажи. Черные лучики ее глаз говорили, что я ворую драгоценности.

К счастью в самую последнюю минуту, когда мне уже грозила неминуемая гибель, я увидел в руках этой дамы злощастный портсигар. Просто-напросто она нашла его в своей сумочке. На ее лице вновь заиграла улыбка, но я после этого не улыбался несколько лет. Надо думать, что «культурная революция» заставила Сун Цин-лин навсегда проститься со своим прекрасным портсигаром.

В ту пору китайцы ходили в синем. Одежда, похожая на спецовку механика, была на всех женщинах, на всех мужчинах, и мне думалось о синеве неба, о людском единодушии. Никаких лохмотьев. Автомобилей, правда, тоже никаких. Всюду синий людской поток, растекающийся в разные стороны.

---

<sup>177</sup> Пожалуйста (англ.).

Шел второй год революции. Страна, безусловно, должна была испытывать немалые трудности и лишения. Но, разъезжая по Пекину, мы этого не заметили. Меня и Оренбурга беспокоили, конечно, некоторые детали, вернее, легкий нервный тик окружавшего нас порядка. Наше простое желание купить носки и носовые платки обернулось государственной проблемой. После напряженных дебатов китайских товарищей, которые долго не приходили к единому мнению, мы, наконец, выехали из гостиницы целым караваном. Впереди была наша машина, за ней – машина с сопровождающими, потом с милицией и четвертая – с переводчиками. Машины рванулись с места, прокладывая путь среди людской толпы; они мчались, словно лавина, по тесному узкому каналу, который образовали расступавшиеся пешеходы. Как только мы подъехали к магазину, китайские товарищи выскочили из машины, мигом разогнали всех покупателей, остановили торговлю и, взявшись за руки, создали нечто вроде живого коридора, по которому мы с Эренбургом прошли, не поднимая глаз. Точно так же, стыдясь самих себя, через пятнадцать минут мы вернулись с маленькими пакетиками в руках и с твердым решением ничего больше в Китае не покупать.

Подобные вещи приводили Оренбурга в ярость. Взять хотя бы историю с рестораном, о которой я сейчас расскажу. В ресторане при нашей гостинице нам подавали скверно приготовленные блюда английской кухни, которые остались в



наследство от старой колониальной системы. Я, давний почитатель китайской кухни, сказал своему молодому переводчику, что жажду насладиться прославленным кулинарным искусством пекинцев. Он ответил, что проконсультируется по этому вопросу с товарищами.

Не знаю, консультировался ли наш переводчик или нет, только мы по-прежнему жевали дубовый английский ростбиф в ресторане гостиницы. Я снова напомнил переводчику о нашем желании. Он задумался и сказал:

– Наши товарищи совещались уже несколько раз, вопрос должен решиться со дня на день.

Назавтра к нам подошел ответственный товарищ из комитета по приему нашей делегации. Нацепив на лицо дежурную улыбку, он поинтересовался, действительно ли у нас есть такое желание. «Разумеется», – резанул Оренбург. Я же добавил, что еще в годы юности познакомился с прославленной кухней Кантона, а теперь мечтаю о знаменитых пекинских приправах.

– Это сложно, – сказал озабоченно товарищ из комитета. Он молча покачал головой и решительно добавил: – Думаю, почти невозможно.

Оренбург улыбнулся горькой улыбкой неисправимого скептика. Я же пришел в полную ярость.

– Товарищ, – сказал я, – будьте любезны оформить документы для нашего отъезда в Париж. Коль скоро я не могу попробовать китайские блюда в Китае, я их без труда получу

в Латинском квартале.

Моя гневная речь имела успех. Через четыре часа мы вместе с нашей весьма многочисленной свитой прибыли в знаменитый ресторан, где пять столетий подряд готовят утку по-пекински, незабываемое, изысканнейшее блюдо.

Ресторан, в каких-нибудь трехстах метрах от нашей гостиницы, был открыт с утра до поздней ночи.

## «Стихи капитана»

Переезжая из страны в страну, изгнанником я попал в Италию, о которой мало знал и в которую влюбился всем сердцем. В этой стране меня изумляло все. Особенно естественность, простота: масло, хлеб и вино – все подлинное, натуральное. Даже полиция, та самая полиция, которая ничем меня не оскорбила, но которая следила за каждым моим шагом. Я наткнулся на полицейских повсюду – даже во сне и в тарелке с супом.

Писатели постоянно просили меня читать стихи. Я читал их на совесть: в университетах, на стадионах, перед грузчиками Генуи, во Флоренции, в Турине, в Венеции.

Мне доставляло большую радость читать в переполненных залах. Кто-то рядом со мной повторял мои строки по-итальянски, и мне нравилось вслушиваться в собственные стихи, озаренные сиянием великолепного итальянского языка. Но полиции это мало нравилось. На испанском языке – пожалуйста, а в итальянских переводах свои точки и многоточия. Разве нет повода для тревоги, если моя поэзия воспевает мир, а это слово уже в опале на Западе? Разве нечего бояться, если мои стихи призывают к борьбе простой народ?

Народные партии одержали победу на муниципальных выборах, и меня приглашали в городские советы как почетного гостя. Нередко муниципальные власти удостоивали ме-

ня звания почетного гражданина. Я – почетный гражданин Милана, Флоренции и Генуи. В тех местах, где я читал стихи, собирались видные горожане, аристократы и епископы. Мне вручали почетную грамоту, в мою честь поднимались бокалы шампанского, и я благодарил всех от имени моей далекой родины. Потом на ступеньках парадной лестницы были объятия и поцелуи, а на улице – все та же полиция, что дено и ношно следила за моей персоной.

Все, что произошло со мной в Венеции, похоже на приключенческий фильм. Я снова читал стихи. Меня снова выбрали почетным гражданином. Но полиции хотелось, чтобы я поскорее убрался из города, где родилась и страдала Дездемона. Полицейские агенты круглые сутки торчали у дверей гостиницы.

Мой старый друг Витторио Видали – команданте Карлос – приехал из Триеста послушать мои стихи; вместе с ним мы совершали бесконечно радостные прогулки в гондоле по венецианским каналам и любовались серебристо-пепельными дворцами. На этот раз полиция осмелела. Полицейские следовали за нами по пятам. И вот тогда я надумал, как в былые времена Казанова, бежать из Венеции, где нам грозила тюрьма. Мы, то есть я, Витторио Видали и костариканский писатель Хоакин Гутьеррес, с которым я случайно встретился, улучили момент и что есть духу помчались прочь от венецианской полиции. За нами бросились двое. Нам удалось отчалить от берега на моторке алькальда-коммуниста. Мотор-

ка муниципальной власти – единственная моторка в Венеции – лихо понеслась по каналу. Тем временем представители другой власти все еще метались по берегу. Им пришлось довольствоваться обыкновенной гондолой на веслах, в которой обычно катаются влюбленные парочки. Эта романтическая гондола, выкрашенная в черный цвет, с золотыми разводами, безнадежно отстала от нас, как утка, пустившаяся вдогонку за дельфином.

В Неаполе эта затянувшаяся слезка кончилась тем, что утром, поздним утром, в мой номер явились полицейские. (В этом городе никто не торопится на работу, даже полицейские.) Они придрались к какой-то погрешности в моем паспорте и попросили меня пойти с ними в управление полиции. Там мне предложили чашечку растворимого кофе и сообщили, что я должен покинуть страну незамедлительно.

Моя любовь к Италии в расчет не принималась.

– Тут какое-то недоразумение! – сказал я.

– Никакого. Мы вас очень уважаем, но вам придется покинуть Италию.

Обходным путем, намеками они дали понять, что моего отъезда настойчиво добивается посольство Чили.

Поезд уходил вечером. На перроне уже собрались провожающие. Поцелуи. Цветы. Возгласы. Паоло Риччи,<sup>178</sup> Али-

---

<sup>178</sup> Паоло Риччи – итальянский художник.

ката<sup>179</sup> и многие другие. A rivederci. Прощайте. Прощайте.

В поезде – наш путь лежал в Рим – сопровождавшие меня полицейские были донельзя внимательны к моей особе. Они таскали мои чемоданы. Они покупали мне «Унита» и «Паэзе сера», а чтобы какую-нибудь реакционную – ни разу! Они просили у меня автографы, кто – себе, кто – своим родственникам. Больше мне не случалось видеть таких учтивых полицейских.

– Мы очень сожалеем, Eccellenza,<sup>180</sup> но у каждого – семья, вот и делаем, что прикажут. Самим противно.

На платформе в Риме, где мне надлежало пересесть на другой поезд и ехать до самой границы, я увидел в окно плотную толпу людей, услышал крики: надвигалось что-то яростное и смутное. Огромные охапки цветов плыли к вагону над потоком людских голов.

– Пабло! Пабло!

Не успел я в столь изысканном обществе выйти из вагона, как тотчас сделался объектом поразительной битвы. Писатели и писательницы, журналисты, депутаты парламента – собралось около тысячи человек – мгновенно вырвали меня из рук полиции. Полиция в свою очередь извлекла меня из объятий моих друзей. В эти драматические минуты я все же сумел разглядеть несколько знакомых лиц. Альберто

---

<sup>179</sup> Аликата Марио (1918–1966) – итальянский публицист, литературный критик, коммунист.

<sup>180</sup> Ваше превосходительство (*итал.*).

Моравиа<sup>181</sup> со своей женой Эльзой Моранте, тоже писательницей. Знаменитый художник Ренато Гуттузо. Еще – поэты. Еще – художники... Карло Леви,<sup>182</sup> автор нашумевшего романа «Христос остановился в Эболи», протянул мне букет роз. Тем временем падали на перрон цветы, взлетали вверх шляпы и зонтики, мелькали кулаки, звенели оплеухи. Полиция спасовала, и меня снова перехватили друзья. На моих глазах кроткая Эльза Моранте колотила шелковым зонтиком какого-то полицейского по голове. Внезапно в толпу врезались тележки носильщиков, и я увидел, как один из них – здоровенный *facchino*<sup>183</sup> лупил палкой представителей власти. Так простой народ Рима выразил свою солидарность с чилийским поэтом. Драка приняла такой серьезный оборот, что сопровождавшие меня полицейские взмолились:

– Скажите своим друзьям, чтоб они унялись...

Толпа кричала:

– Неруда останется в Риме! Неруда не уедет из Италии! Пусть останется поэт! Пусть останется чилиец! Долой «австрияка»!

(«Австрияком» окрестили Де Гаспери, тогдашнего премьер-министра Италии).

Через полчаса после того как разгорелся рукопашный бой,

---

<sup>181</sup> Альберто *Моравиа* (род. в 1907 г.) – итальянский писатель.

<sup>182</sup> Карло *Леви* (1902–1975) – итальянский писатель, художник, общественный деятель.

<sup>183</sup> Носильщик (*итал.*).

прибыло высочайшее распоряжение: мне было разрешено остаться в Италии. Друзья обнимали и целовали меня. И я покинул перрон, с жалостью ступая по цветам, оставшимся на поле сражения.

На другой день я проснулся в доме сенатора, пользующегося правом неприкосновенности. Меня привез туда Ренато Гуттузо, не слишком доверявший правительственным решениям. Сюда, в этот дом, на мое имя пришла телеграмма от известного историка Эрвина Черио, с которым я не был знаком. Он возмущался, считал все случившееся позором, оскорблением культурных традиций Италии и предлагал мне поселиться в его вилле на острове Капри.

Все было как во сне. И когда я приехал на Капри с Матильдой Уррутиа, с моей Матильдой, – ощущение, что это нереально, что это сон, стало еще сильнее.

Мы приехали на чудесный остров Капри к ночи и зимой. Во мгле поднимался берег – белесый, высоченный, неведомый и безмолвный. Что будет с нами? Нас ждала маленькая коляска с лошадьми. Мы взбирались все выше и выше по безлюдным ночным улицам. Белые немые дома, узкие вертикальные улочки. Наконец лошади остановились. Кучер внес наши вещи в дом, тоже белый и, на первый взгляд, пустой.

Войдя внутрь, мы увидели огонь в камине. Свет зажженных свечей падал на высокого человека с белой бородой и белыми волосами, в белом костюме. Это был сам дои Эрвин



Черио, владелец доброй половины острова, историк и натуралист. Он вырисовывался в полутьме как боженька из детской сказки.

Ему было около девяноста лет, и он считался самым влиятельным человеком на острове.

– Располагайте, пожалуйста, этим домом. Здесь вам будет спокойно.

И пропал на много дней. По своей деликатности он не приходил к нам, но часто посылал короткие, написанные каллиграфическим почерком письма с новостями или советами и какой-нибудь цветок или зеленый листик из своего сада. В Эрвине Черио нам открылось щедрое, благоуханное, широкое сердце Италии.

Со временем я познакомился с его трудами, более основательными, чем книги Акселя Мунте,<sup>184</sup> хотя и менее нашумевшими, менее известными. Старый и благородный Черио не раз говорил с лукавой улыбкой:

– Главная площадь Капри – великое творение господ бога.

Мы с Матильдой замкнулись, как в крепости, в нашей любви. Совершали долгие прогулки по Анакапри. Маленький остров весь в маленьких цветущих садах; какая тираническая правда – его красота, о которой сказано столько слов! Среди скал, где солнце и ветер еще беспощаднее, пробива-

---

<sup>184</sup> Аксель Мунте (1857–1949) – шведский врач и писатель, много лет живший в Италии.

ются сквозь сухую землю крошечные цветы. И во всем этом – завершенность, порядок, подвластный лишь руке искусного садовода. Скрытый от чужого глаза Капри, куда человек попадает не сразу, а лишь после того, как с его одежды снимут ярлык туриста, этот Капри – народный, простоволосый. скалы, крохотные виноградники, простые, работающие, основательные люди – пленяет своим очарованием. Вот ты уже в родстве с его жизнью, с его людьми, вот тебя уже знают ку-чера и рыбаки, вот ты частица Капри, небогатого и незримо-го. И тебе охотно расскажут, где продают хорошее недорогое вино, где найти настоящие оливы, те, которые едят жители острова.

Быть может, и правда, что за высокими каменными стенами дворцов и вилл буйствует разврат, о котором пишут в романах. Но я жил счастливой жизнью среди непо потревоженной тишины, среди самых простых людей на свете. Незабываемое время! По утрам я работал, а во второй половине дня Матильда переписывала мои стихи на машинке. Впервые мы с Матильдой жили под одним кровом. На этом хмельно прекрасном острове наша любовь стала еще сильнее. Больше мы не расставались.

Там на Капри я закончил книгу о любви, о страсти и страданиях, которая была опубликована в Неаполе под заглавием «Стихи Капитана».

А теперь я расскажу историю этой книги. Споров и толков

о ней было много больше, чем о других моих книгах. Долгое время она была тайной, долгое время на ее обложке не стояло моего имени, словно я отрекся от нее или сама книга не знала, кто ее настоящий отец. Бывают внебрачные дети, рожденные свободной любовью. Таким внебрачным ребенком, рожденным в любви, была моя книга «Стихи Капитана».

Стихи, включенные в книгу, писались то тут, то там, в годы моей разлуки с Чили. Ее опубликовали в Неаполе в 1952 году. Любовь к Матильде, тоска по родине и чувство гражданской ответственности – вот чем полнятся страницы этой книги, которая издавалась анонимно несколько раз.

Для ее первого издания художник Паоло Риччи раздобыл прекрасную бумагу, старинный типографский шрифт «бодони» и гравюры помпейских ваз. С братской заботливостью он составлял список тех, кто хотел приобрести книгу. Вскоре вышли в свет пятьдесят прекрасно оформленных экземпляров. Мы отпраздновали это событие шумным застольем, где было много цветов, *fnitti di mare*,<sup>185</sup> прозрачное, как вода, вино, которое дают виноградники Капри. И радость тех, кто любил нашу любовь.

Некоторые критики, страдающие подозрительностью, поспешили сообщить, что книга вышла анонимно по политическим соображениям. «Партия не соглашалась на издание этой книги. Партия не одобряет ее». Сушная ложь. К счастью, наша партия никогда не выступала против каких-либо форм

---

<sup>185</sup> Дары моря (*итал.*).

выражения красоты.

Все дело в том, что мне не хотелось нанести этими стихами душевную рану Делии, с которой я расстался. Делиа дель Карриль, ласковая непоседа, ниточка из стали и меда, связавшая меня по рукам в мои звонкие годы, была мне прекрасной подругой восемнадцать лет подряд. А моя новая книга, пламенная и дерзкая в своей страсти, камнем бы ударила в ее нежную душу. Лишь по глубоко личным и вполне понятным, вполне уважительным причинам я скрыл тогда свое имя.

С годами моя книга – еще безымянная, бесфамильная – возмужала, повзрослела. Она сама пробила себе путь, и мне в конце концов пришлось признать ее. Теперь «Стихи Капитана» идут по разным дорогам – по книжным магазинам и библиотекам – с именем настоящего капитана.

# Конец изгнания

Наступал конец моего изгнания. Был 1952 год. Через Швейцарию мы приехали в Канны, чтобы оттуда итальянским пароходом добраться до Монтевидео. На этот раз мы не думали встречаться с кем-либо во Франции. О том, что мы будем там проездом, я сообщил лишь Алис Гаскар – моей верной переводчице, с которой нас связывала давняя дружба. Тем не менее в Каннах нас ожидали удивительные встречи.

Возле агентства пароходной компании я вдруг увидел Поля Элюара и его жену Доминик. Они узнали о моем приезде и пришли позвать нас на обед, где должен был быть Пикассо. Потом мы встретились с чилийским художником Немесио Антунес и Инес Фигероа, его женой, которые тоже были приглашены на обед.

Это моя последняя встреча с Полем Элюаром. Я и сейчас вижу, как он стоит под солнцем Канн, в синем костюме, похожем на пижаму. Мне не забыть его обгоревшего лица, густой синевы его глаз, его бесконечно молодой улыбки в сиянии африканского зноя, затопившего искрящиеся улочки города. Элюар приехал из Сен-Тропеза, чтобы проститься со мной, случайно встретился с Пикассо и решил устроить в нашу честь обед. Нас ждал прекрасный праздник.

Но вдруг из-за какой-то ерунды все чуть было не разлади-

лось. Поскольку Матильда не имела уругвайской визы, нам пришлось в первую очередь отправиться в консульство Уругвая. Мы приехали туда на такси, и я решил подождать Матильду на улице. Консул вышел к ней навстречу, и она улыбнулась ему широкой улыбкой. Молодой, приятный на вид консул провел ее в свой кабинет, напевая арию мадам Баттерфляй. Одет он был совсем не по протоколу – рубашка с короткими рукавами и шорты. Матильде и в голову не могло прийти, что этот тип, чем-то смахивающий на Пинкертона, превратится на ее глазах в наглого вымогателя, чинившего всевозможные препятствия с одной единственной целью – получить деньги. Ему удалось продержать нас в консульстве целое утро. Потом за обедом мне казалось, что знаменитый bouillabaise<sup>186</sup> отдает горечью. Матильда потратила несколько часов, чтобы получить визу. Уругвайский Пинкертон придумывал все новые и новые дела – то сфотографироваться, то поменять доллары на франки, то оплатить телефонный разговор с Бордо. Кончилось тем, что сумма за транзитную визу – а она должна быть бесплатной – достигла ста двадцати долларов. Я уже стал думать, что Матильда не попадет на пароход и что я тоже никуда не поеду. Долгое время этот день казался мне одним из самых горьких в моей жизни.

---

<sup>186</sup> Рыбный суп (франц.).

# Наброски к океанографии

Во всем, что касается моря, я – дилетант. Много лет я коллекционирую все, что узнаю о нем, хотя нет в том особой нужды, ибо плаваю я по земле.

Теперь я возвращаюсь в Чили, в мою океаническую страну. Наш пароход приближается к берегам Африки. Позади остались древние Геркулесовы столбы, одетые сегодня в броню, чтобы верно служить умирающему империализму.

Я смотрю на море без волнения, как смотрят на него океанографы, давно узнавшие все о его поверхности и глубинах. Я гляжу на море без поэтического настроения, просто смакую то, что знаю о его толщах не хуже кита.

Мне всегда нравились морские рассказы, и в моей библиотеке на одной из полок лежит рыбацья сеть.

На все свои вопросы о море я нахожу ответы в книгах Уильяма Бишба<sup>187</sup> или в какой-нибудь основательной монографии, рассказывающей о морских просторах Антарктики.

Меня всегда интересовал планктон – наэлектризованные живые организмы, которые окрашивают в цвет фиолетовой молнии огромные просторы океана. Теперь я знаю, что киты питаются живой водой. Мельчайшие растения и незримые инфузории населяют беспокойный океан нашего континента. Кит открывает свою огромную пасть, прижимает язык к

---

<sup>187</sup> Уильям Бишб (1877 – ?) – американский натуралист.

самому нёбу, и вода с планктоном вливается в нее. Так питается светло-зеленый кит (*bachiane-tas glaucas*), чей путь к югу Тихого океана и к самым жарким островам лежит мимо окон моего дома в Исла-Негра.

Тем же путем плывет кашалот или зубатка – самый «чилийский» кит из всех китов, преследуемых людьми. Чего только не рассказывают о китах легенды и сказки, сложенные чилийскими моряками! А китовые зубы... сколько наивных рисунков, вырезанных ножом на этих зубах, – сердца, пронзенные стрелами, любовные надписи, парусники, женские головки. До Магелланова пролива, до мыса Горн, до яростной Антарктики добирались чилийские китобои – самые отважные в нашем полушарии, но вовсе не затем, чтобы привезти домой зубы грозного кашалота, а чтобы добыть ценный китовый жир, и уж если совсем повезет, – сумку серого янтаря, которую это чудовище прячет в своем гигантском брюхе.

Теперь я возвращаюсь из других краев. Позади синее святилище Средиземного моря, позади остров Капри, его подводные и надводные пещеры, его скалы, где сидят сирены и расчесывают синие безумные волосы, которые спутало и окрасило синью не знающее покоя море.

В аквариуме Неаполя мне как-то случилось увидеть удивительные мельчайшие организмы, рожденные весной. Я следил за сотворенной из пара и серебра медузой. Она то по-



гружалась в воду, то всплывала на поверхность, извиваясь в томном и торжественном танце. Ни у одной из дам подводного царства нет такого электрического пояска, что украшает талию медузы.

Давным-давно в Мадрасе, в сумрачной Индии, где проходила моя молодость, я побывал в замечательном аквариуме. По сей день я вспоминаю отлакированных рыб, ядовитых мурен, целые косяки рыбешек, одетых в пламя и радугу, а более всего – огромных осьминогов, важных, безмерно сосредоточенных, металлических, похожих на счетные машины с немислимым множеством глаз, щупальцев и познаний.

А однажды в Копенгагене в Музее естественных наук я увидел кусок, лишь малый кусок щупальца того самого осьминога, о котором мы узнали в первый раз из романа «Труженики моря» Виктора Гюго (он и сам – осьминог, многоликий, ищущий осьминог поэзии). Я увидел часть щупальца древнего Кракена – грозы морей, который напал на парусники и, обхватывая их всеми своими щупальцами, увлек на дно. По величине заспиртованного куска можно было предположить, что длина щупальца превышала тридцать метров.

Но упорнее всего я искал следы, вернее, какой-нибудь след плоти нарвала. Мои друзья ничего не знали об этом гигантском единороге, и я начал думать, что становлюсь чем-то вроде посланца этого нарвала или даже самим нарвалом.

А существует ли легендарный нарвал?

Можно ли поверить, что этот морской на редкость мирный зверь, с мраморным остроконечным рогом, закрученным спиралью, длиной в четыре-пять метров, остался незримым для людей даже в созданных о нем легендах, даже в самом слове «нарвал».

По-моему, «нарвал» или «наавел» – одно из красивейших имен, которым названы жители подводного царства. Это имя морской звонкоголосой чащи, имя хрустального остроконечного шпиля.

Почему же никто не знает о нарвале?

Почему нет фамилии Наавел или, скажем, Наавел Рамирес, Наавел Карвахаль, прекрасный замок Наавел?

Их нет. Тайна морского единорога все еще скрыта в подводном мраке, а его длинная костяная шпага по-прежнему вспарывает толщи неведомого океана.

В середине века охота на единорогов была занятием, близким к искусству и мистике. Земной единорог увековечен на гобеленах во всем своем великолепии, в окружения алебастровых дам, в ореоле поющих птиц, вспыхивающих яркими огнями.

Средневековые монархи посылали друг другу в подарок кость легендарного животного, с которой соскабливали мелкую стружку и растворяли в крепких напитках, даривших – вечная мечта человека! – здоровье, молодость и мужскую силу.

Однажды в Дании я забрел в старинную зоологическую

лавку. Наш континент не знает таких лавок. А они, по-моему, притягивают к себе многих людей. В углу я вдруг обнаружил три или четыре рога нарвала. Самый большой достигал пяти метров. Я долго поглаживал их, вертел в руках.

Старый хозяин с удивлением следил за мной, пока я размахивал костяным мечом, круша невидимые морские мельницы. Потом я положил рога на место и купил самый маленький, должно быть, детеныша нарвала, который выходит навстречу непознанному миру, рассекая своим невинным мечом холодные арктические воды.

Я спрятал свою покупку в чемодан, но в скромном швейцарском пансионе на Леманском озере меня все время тянуло посмотреть, потрогать магическое сокровище – бивень морского единорога. И однажды я извлек его из чемодана.

Кто знает, куда он делся!

Наверно, я забыл его в пансионе «Везенас», а может, оставил под кроватью? А может, и впрямь тайной ночной дорогой он вернулся за Полярный круг?

Я смотрю на маленькие волны нового дня, пришедшего в Атлантический океан.

По обе стороны нашего парохода остаются сине-белые глубокие борозды, желтоватая пена и смятение воды в кипящей пучине.

Это дрожат врата океана.

Над водой летают крошечные рыбки из прозрачного се-

ребра.

Я возвращаюсь домой.

Я смотрю на воду. Я плыву к другим волнам, к истерзанным волнам моей родины.

Небо долгого дня расстилается над океаном.

Настанет ночь, и в ее мраке вновь исчезнет зеленый дворец Тайны.

# Плаванья и возвращения

## Тетрадь 10

### Барашек в моем доме

Один мой родственник стал сенатором. Одержав победу на выборах, он решил погостить у меня в Исла-Негра. Вот отсюда и начинается история с барашком.

Самые ревностные приверженцы сенатора приехали к нам, чтобы отпраздновать его избрание. В первый день, как водится у чилийских крестьян, на костре, разведенном во дворе, зажарили на вертеле барашка. «Асадо на вертеле» – так называется барашек, которого щедро запивают вином под надрывные переборы креольских гитар.

Второго барашка приберегли для следующего дня и привязали под моим окном. Всю ночь, чуя, что скоро пробьет его час, барашек стонал и плакал, блял и печалился о своем одиночестве и своей судьбе. У меня изболелась душа от жалостных воплей, и на рассвете я решил похитить несчастного барашка, чтобы избавить его от ножа.

Затолкав барашка в машину, я проехал с ним сто пятьдесят километров до своего дома в Сантьяго. Едва барашек попал в сад, как тут же принялся за мои любимые цветы. Ему

очень пришились по душе тюльпаны, и он не пожалел ни одного из них. Барашек с неизъяснимым удовольствием сжевал все ирисы и левкои. Уцелели лишь колючие розовые кусты. Мне ничего не оставалось, как привязать его к забору, но барашек тотчас принялся бляеть, явно стараясь разжалобить меня. Я впал в отчаяние.

А теперь в историю барашка должна вплестись история Хуанито. Как раз в это время на чилийском юге бастовали крестьяне. Помещики, платившие за рабочий день жалкие двадцать сентаво, дубинками и арестами покончили с этой забастовкой.

Один из молодых парней со страху вскочил в поезд на полном ходу. Его звали Хуанито, он был ревностным католиком и мало что знал о земных делах. Когда в вагоне контролер попросил Хуанито предъявить билет, он сказал, что у него нет никакого билета, что едет он в Сантьяго и всегда думал, что поезда на то и есть, чтобы люди попадали, куда им надо. Его, конечно, хотели ссадить, но пассажиры третьего класса – народ простой и щедрый – сложились и оплатили стоимость билета.

Хуанито бродил по улицам и площадям столицы, со свертком под мышкой. Он никого не знал, да и не хотел ни с кем говорить. Не зря в деревне рассказывали, что в Сантьяго воров больше, чем самих жителей. Он опасался, как бы и у него не утащили завернутые в газету рубашку и альпаргаты. Днем

этот новоявленный Каспар Гаузер,<sup>188</sup> свалившийся с другой планеты, держался самых людных улиц, где все куда-то спешат и толкаются, да и ночью стремился туда, где побольше людей: в кварталы с кабаре и ночными ресторанами. Но там он чувствовал себя еще более неприкаянным. У этого бледноликого пастуха, затерянного среди грешников, не было ни гроша, он ничего не ел и однажды на улице лишился чувств.

Толпа любопытных тотчас окружила молодого человека, упавшего возле дверей маленького ресторанчика. Его перенесли в ресторан и положили на пол. «Это от сердца», – сказали одни. «Это приступ печени», – сказали другие. А хозяин заведения посмотрел и сказал: «Это от голода». Едва несчастному парню дали поесть, он тотчас пришел в себя. Хозяин нанял его мыть посуду и быстро к нему привязался. И не зря: улыбчивый пастух перемывал за день горы посуды. Словом, все шло хорошо. Еды у Хуанито было куда больше, чем в деревне.

Но коварный город подстроил так, что бывший пастух встретился в моем доме со злополучным барашком.

Однажды Хуанито вздумал погулять по городу и, забыв о посуде, побрел куда глаза глядят. Сначала он попал на какую-то улицу, потом на площадь. На все Хуанито смотрел с детской радостью, но когда захотел вернуться назад, то понял, что заблудился. Адреса у него не было – он не знал гра-

---

<sup>188</sup> Каспар *Гаузер* – таинственная личность, появившаяся в Нюрнберге в 1828 г. в крестьянской одежде. Имеется несколько версий его происхождения.

моты. Напрасно искал Хуанито знакомый дом, где его встретили с таким радушием. Найти этот дом ему так и не удалось.

Какой-то прохожий, сжалившийся над растерянным Хуанито, велел ему идти к поэту Пабло Неруде. Почему возникла такая мысль? Должно быть, потому, что в Чили пристрастились навязывать мне все, что кому-то придет в голову, а заодно и валить на меня вину за все, что случается. Странные у нас нравы.

Итак, в один прекрасный день ко мне заявился незадачливый пастух и увидел барашка на привязи. Раз уж я сам взял на себя заботу о никому не нужном барашке, то сделать еще шаг – позаботиться о пастухе – мне было нетрудно. Я поручил Хуанито стеречь кудрявого гурмана, чтобы он ел не только мои любимые цветы, а хотя бы время от времени насыщал свою утробу травой.

Они мгновенно поняли друг друга. Хуанито сделал для виду поводок и водил барашка на этом поводке туда-сюда. Барашек жевал без устали, не отставал и его персональный пастух; оба они расхаживали по всему дому, а порой заглядывали и в мои комнаты. Вот где красноречивый пример полного взаимопонимания, достигнутого благодаря исконной связи с матерью-землей! Все это тянулось многие месяцы. Пастух и его подопечный заметно округлились. Особенно последний: он отяжелел так, что едва поспевал за Хуанито. Порой он с важным видом входил в мою комнату и, подарив мне равнодушный взгляд, удалялся, оставив на полу



четки темных бусин.

Но однажды все это кончилось. Хуанито вдруг затосковал по деревне и надумал вернуться домой. Его решение свалилось на меня как снег на голову. Ему, оказывается, надо было исполнить обет, данный святой покровительнице деревни, ну а взять с собой барашка он не мог. Они простились друг с другом очень трогательно, я бы сказал – патетично. На этот раз Хуанито сел в поезд с билетом в руках.

Признаться, он оставил мне не столько барана, сколько весьма серьезную, вернее, весьма крупную проблему. Что же делать с животным? Кто теперь будет приглядывать за ним? У меня и без того хватало всяческих забот и осложнений политического толка. Весь дом был перевернут вверх дном из-за полицейских, из-за их слежки, которую я навлек на себя своей воинствующей поэзией. А баран, как назло, снова принялся выводить свои жалобные рулады. Я закрыл глаза и велел сестре увести его. Увы, на сей раз я знал, что ему не избежать ножа.

## С августа 1952 года по апрель 1957-го

Пять с лишним лет, прошедшие с августа 1952 года по апрель 1957-го, не будут подробно описаны в моих мемуарах: почти все это время я жил в Чили, и в моей жизни не произошло ничего примечательного, ничего занятного для читателей. И все же надо упомянуть о некоторых событиях этого периода. Я опубликовал книгу «Виноградники и ветер», написанную до возвращения в Чили. Много работал над «Одами изначальным вещам», над «Новыми одами изначальным вещам» и над «Третьей книгой од». По моей инициативе в Сантьяго прошел Межамериканский конгресс культуры, на котором присутствовали выдающиеся деятели Латинской Америки. В Сантьяго на мое пятидесятилетие приехали виднейшие писатели мира. Из Китая – Ай Цин и Эми Сяо, из Советского Союза – Илья Эренбург, из Чехословакии – Ян Дрда. Среди латиноамериканцев были Мигель Анхель Астуриас, Оливеро Хирондо, Нора Ланге, Эльвио Ромеро, Мария Роса Оливер, Рауль Ларра и многие другие. Я подарил Чилийскому университету свою библиотеку и другие ценные вещи. Ездил в Советский Союз как член Комитета по Международным Ленинским премиям. Меня наградили этой премией еще раньше. Мы окончательно расстались с Делией дель Карриль. Я построил дом «Ла Часкопа»<sup>189</sup> и

<sup>189</sup> «Ла Часкона» – «растрепан» – так назвал Неруда свой дом в честь рыжево-

переехал туда с Матильдой Уррутиа. Основал журнал «Гасета де Чили» и выпустил несколько его номеров. Принимал участие в предвыборной кампании чилийской компартии и в других ее делах. Издательство «Лосада» в Буэнос-Айресе выпустило в свет полное собрание моих сочинений на рисовой бумаге.

## Арест в Буэнос-Айресе

В апреле 1957 года меня пригласили на сессию Всемирного Совета Мира в Коломбо – на остров Цейлон, где я прожил немало лет.

По-моему, не так уж страшно встретиться с тайной полицией. Но если это тайная полиция Аргентины, дело принимает другой оборот: тут не обойтись без юмора, хотя предугадать, чем кончится встреча, невозможно. В ту ночь, когда мы прилетели из Чили, я почувствовал себя усталым и сразу лег спать – путь предстоял далекий. Едва я задремал, в комнату ввалились полицейские. Они стали осматривать все подряд: тщательно, не торопясь, листали книги и журналы, рылись в платяном шкафу, перетряхивали белье. Они арестовали хозяина дома – моего друга, а меня обнаружили, когда наткнулись на комнату, в которой мы расположились.

– Кто этот сеньор? – спросили они Матильду.

– Меня зовут Пабло Неруда, – ответил я.

– Он болен?

– Да, он нездоров и очень устал. Мы только сегодня приехали и завтра летим в Европу.

– Очень хорошо, очень хорошо, – сказали они и вышли из комнаты.

Через час полицейские явились с санитарными носилками. Как Матильда ни возмущалась, это не помогло. У них

был приказ взять меня каким угодно – живым или мертвым, здоровым или больным.

В ту ночь шел дождь. Тяжелые капли падали с низко нависшего, темного неба Буэнос-Айреса. Я не знал, что и думать. Нерона сбросили. Генерал Арамбуру<sup>190</sup> заявил, что с тиранией покончено во имя идеалов демократии, а между тем я – больной и усталый – неведомо как и почему, зачем и для чего, по многим причинам или вовсе без причины – был арестован. Полицейским досталось, пока они несли меня на носилках по лестницам, переходам, пока втаскивали в лифт. Матильда, чтобы доканать их, притворно ласковым голосом предупредила, что во мне сто десять килограммов. Да так оно и казалось – на мне были свитер, пальто, а сверху несколько одеял. Огромной глыбой, вулканом Осорно красовался я на носилках, пожалованных мне аргентинской демократией. Хотелось думать – я даже меньше ощущал свой тромбозфлебит, – что от тяжести изнемогают, пыхтят не бедняги полицейские, а сам генерал Арамбуру.

Потом началась обычная тюремная волокита. На меня составили протокол. Отобрали личные вещи. Не позволили взять даже увлекательный детектив, который помог бы скоротать время в тюрьме. Но, по правде говоря, скучать не пришлось. Отворялись и затворялись решетчатые двери. Меня несли по бесконечным коридорам, через дворы, все дальше

---

<sup>190</sup> *Арамбуру* Педро Эухенио (род. в 1903 г.) – президент Аргентины с 1955 по 1958 г.

и дальше. Шум, скрежет засовов. Внезапно я увидел множество людей, попавших в тюрьму той же ночью. Арестовали более двух тысяч. Я был недосыгаем, и все же многие успели пожать мне руку, а один солдат, отставив в сторону ружье, протянул листок бумаги и попросил автограф.

Наконец меня принесли в камеру, в самую дальнюю камеру, с оконцем под потолком. Мне хотелось одного – покоя, хотелось спать, спать и спать. Но где там! Уже светало, и арестанты подняли такой невообразимый шум и гам, словно они не в тюрьме, а на футбольном матче между командами «Ривер» и «Бока».

Против моего ареста сразу выступили писатели и мои друзья в Аргентине, Чили и других странах. Только благодаря их солидарности через несколько часов меня вывели из камеры, отправили к врачу, отдали все вещи и выпустили на свободу. В воротах тюрьмы меня догнал охранник и торопливо сунул в руки листок бумаги. Это было посвященное мне стихотворение – неумелое, безыскусное, полное той наивной прелести, что есть в народных поделках. Думаю, мало кто из поэтов удостоился стихов, сложенных человеком, который был его тюремным стражником.

## Поэзия и полиция

Однажды в Исла-Негра наша служанка сказала: «Сеньора, дон Пабло, я жду ребенка». Она родила мальчика. Мы не знали, кто его отец. Да и ей это было не так уж важно. Ей было важно, чтобы мы с Матильдой стали крестными ее сына. Но не вышло. У нас не вышло. Ближайшая церковь была в Эль-Табо, в улыбочивой деревушке, где мы заправляли бензином нашу машину. Священник ошетинился, как дикобраз. Крестный отец – коммунист! Ни за что! Неруда не переступит порога церкви даже с младенцем на руках. Молодая мать вернулась к ведрам и метлам очень расстроенная. Она ничего не поняла.

В другой раз я видел, как страдает дон Астерио – старый часовщик. Ему много лет, и он лучший хронометрист Вальпараисо. Он делает все хронометры на военных кораблях. Его жена умирала. Он прожил с ней пятьдесят лет. Я решил написать о нем. Чтобы утешить его хоть немного в большом горе. Написать то, что он прочтет умирающей жене. Так я думал. Был ли я прав – не знаю. Я написал стихи. И вложил в них все мое восхищение мастером и его мастерством, его чистой жизнью, прошедшей сквозь бесконечное тиканье старых часов. Журналистка Сари-та Виаль отнесла стихи в газету. Газета называлась «Ла Уньон» («Единство»). Ее редактором был сеньор Паскаль. Сеньор Паскаль – священник.

Он не захотел их напечатать. Стихи не будут напечатаны. Их автор, Неруда, – коммунист, отлученный от церкви. Священник отказался печатать стихи. Жена часовщика умерла. Умерла спутница всей жизни дона Астерио. Священник не опубликовал стихов.

Я хочу жить в мире, где нет отлученных. Я никого не стану отлучать. И не скажу завтра этому священнику: «Вам нельзя крестить детей, потому что вы – антикоммунист». И не скажу другому священнику: «Я не опубликую ваши стихи, ваше творение, потому что вы – антикоммунист». Я хочу жить в мире, где каждый человек – человек, и ему нет нужды в других титулах, ему незачем ломать себе голову над правилами, над словом, над ярлыками. Я хочу, чтобы можно было входить во все церкви и все редакции. Пусть больше никого не караулят у дверей, чтобы отвести в тюрьму или выгнать из страны. Пусть каждый входит без боязни в муниципальный дворец и выходит оттуда с улыбкой. Пусть никто не спасается бегством, даже на гондоле. Я не хочу, чтобы за кем-то гнались на мотоцикле. Я хочу, чтобы великое большинство, единственное большинство – все могли говорить, читать, слушать, цвести. Я за ту борьбу, что навсегда покончит с борьбой. Я за ту суровость, что искоренит суровость. Я выбрал путь и верю, что этот путь приведет нас к человечности на все времена. Я борюсь за доброту – всеобъемлющую, широкую, неизбывную. Моя поэзия много раз сталкивалась с полицией, но после столкновений, о которых я рассказал и о



которых умолчал, чтобы не повторяться, и после тех столкновений, что произошли у других, кто уже ничего не расскажет, во мне осталась все та же абсолютная вера в высокое предназначение человека, я убежден – и убежденность моя становится все более осознанной, – что мы приближаемся к великой нежности. Я пишу это, понимая, что над нами нависла опасность атомной войны, ядерной катастрофы, которая не оставит никого и ничего на земле. Но моя надежда – тверда. В этот критический час мы знаем, что наши еще полураскрытые глаза увидят истинный свет. И мы пойдем друг друга. Мы вместе пойдем вперед. И эта надежда – неодолима.

# Новая встреча с Цейлоном

Всеобщее дело – борьба против атомной смерти – вот что привело меня снова в Коломбо. Мы летели туда через Советский Союз на прекрасном реактивном самолете ТУ-104, целиком предоставленном нашей многочисленной делегации. Посадка была только в Ташкенте, недалеко от Самарканда. За два дня самолет должен был доставить нас в сердце Индии.

Наша гигантская птица летела на высоте десять тысяч метров, а приближаясь к Гималаям, взмыла еще на пять тысяч. С такой выси все на земле кажется неподвижным. Но вот появились первые горы – сине-белые отроги Гималаев. Может, и в самом деле где-то здесь, изнывая от одиночества, бродит снежный человек. Слева, точно символ катастрофы, возникла каменная громада Эвереста, взятая в кольцо сверкающих диадем. Отвесные лучи солнца высвечивают его странные контуры, щербатые скалы – безраздельную власть снежного безмолвия.

Я вспоминаю американские Анды, над которыми мне не раз случалось пролетать. Здесь нет того хаоса, той циклопической ярости, той истовой заброшенности, что присуща нашим Кордильерам. Азиатские горы более классические, они как бы любуются своей прибранностью. Их убеленные снегом вершины напоминают пагоды и монастыри, затерянные

в бескрайних просторах. Одиночество здесь шире, в нем нет скованности. И тени не громоздятся стеной, сложенной из устрашающих камней, а расстилаются синими таинственными парками необозримого монастыря. Я вспоминаю, что дышу наичистейшим высокогорным воздухом земли, что под ногами ее самые высокие вершины, где сошлись и свет, и гордость, и снежная белизна, и стремительный полет.

Мы летим к Цейлону. Летим низко над жаркой землей Индии. В Дели мы распрощались с советским лайнером и пересели на индийский самолет. Крылья его трещат и содрогаются, рассекая яростные тучи. Качка все сильнее, но я неотрывно думаю о Цейлоне. Я жил в одиночестве на этом цветущем острове и среди его райских кущ написал самые горькие стихи. Мне было тогда двадцать четыре года.

И вот спустя много лет я снова на Цейлоне, принимаю участие в представительном форуме миролюбивых сил, которому оказывает поддержку правительство этой страны. Как много на сессии монахов-буддистов. В глаза сразу бросаются их яркие шафрановые туники. Монахи – их больше сотни – держатся группами. На лицах выражение той глубокой задумчивости и сосредоточенности, что отличает учеников Будды. Включившись в борьбу против войны, разрушения и смерти, буддисты подтверждают мудрость учения о мире и всеобщей гармонии, которое проповедовал Сиддхартха Гаутама, названный Буддой. Как далека от них, думаю я, церковь наших стран, церковь испанского типа – официальная

и воинствующая. Какую надежду обрели бы истинные христиане, если бы католические священники стали обличать с амвона самое страшное преступление – гибель миллионов невинных людей от атомной бомбы, которая оставляет зловещий след на многих поколениях людей.

Я шел наугад по улочкам Велаваты в надежде отыскать дом, где жил когда-то. Мне стоило большого труда найти его. Деревья так разрослись, что улица изменилась до неузнаваемости.

Старый дом, где я написал самые печальные стихи, должны были снести со дня на день. Двери его прогнили, стены проела тропическая сырость, но он стойко ждал меня, ждал последней минуты прощания.

Я не встретил никого из прежних друзей. Но сердце мое вновь откликнулось наплывающему зову, безудержному сиянию этого острова. И море пело все ту же древнюю песню у пальм, опрокидываясь на скалы. Я снова прошел дорогами джунглей, снова увидел величественных слонов, торжественно ступающих по узким тропам, я вдыхал дурманящие пряные запахи, прислушиваясь к росту джунглей, к их жизни. Я побывал на скале Сигирия, где безумный царь приказал выстроить крепость.<sup>191</sup> Как в былые времена я поклонился огромным статуям Будды, в тени которых люди кажутся суетливыми муравьями.

И снова покинул остров, зная, что больше не вернусь.

---

<sup>191</sup> Речь идет о дворце-крепости, построенной по приказу царя Кассаны (V в.).

## Второе посещение Китая

Закончился конгресс в Коломбо, и мы вместе с Жоржи Амаду<sup>192</sup> и его женой Зелией летим над Индией. В индийских самолетах, заполненных пассажирами в тюрбанах, изобилие красок и корзин. Непостижимо, как один самолет вмещает столько людей. Целая толпа выходила в первом аэропорту, и такая же толпа занимала освободившиеся места. Наш путь лежал в Калькутту через Мадрас. Когда самолет попадал в тропическую грозу, его начинало трясти. Нас заволакивала дневная тьма, более густая, чем ночная, а потом снова голубело небо. Мы опять вторглись в грозовые тучи. Яркие молнии прорезали внезапную темноту. Лицо Жоржи Амаду становилось то белым, то желтым, то зеленым. Должно быть, на моем лице были те же краски, потому что и на меня напал неодолимый страх. В самолете начался настоящий дождь. Тяжелые капли собирались в струйки, напоминавшие мне родной дом в Темуко в зимние дни. Но дождь в самолете мне совсем не нравился. А кто мне нравился, так это сидевший позади монах: он раскрыл зонтик и с восточной невозмутимостью читал какую-то мудрую древнюю книгу.

Мы прилетели в Рангун – столицу Бирмы – без особых происшествий. В те дни исполнялось тридцатилетие моего

---

<sup>192</sup> Жоржи Амаду (род. в 1912 г.) – бразильский романист.

«Местожительств...» – местоительства на земле Бирмы, где я, никому не известный молодой человек двадцати трех лет, писал стихи. В 1927 году я сошел в Рангуне с парохода и увидел страну шального разноцветий, буйства красок, непроницаемых слов. Страну знойную и колдовскую. Эту страну нещадно грабили и терзали английские колонизаторы, но ее столица поражала чистотой и обилием света – на улицах кипела жизнь, в витринах заманчиво красовались экзотические товары.

Теперь Рангун был почти безлюдным, витрины пустовали, а на улицах полно мусора. Путь борьбы за независимость – нелегкий путь. После взрыва души, после взвившихся знамен свободы надо пройти сквозь трудности и невзгоды. Я и сегодня не разобрался в истории отгороженной от всего мира независимой Бирмы, что лежит по берегам могущественной реки Иравади, у подножия золотых пагод. Но за плывущей в воздухе печалью, за неметенными улицами я угадал, почувствовал сердцем, какие драматические потрясения переживают молодые республики, где еще сильна власть прошлого.

И никакого следа Джози Блисс – моей преследовательницы, моей героини из «Танго вдовца». Никто не мог сказать, жива она или нет. Я не нашел даже квартала, где был наш дом.

Из Бирмы мы летели в Китай, пересекая горные отроги, разделяющие эти страны. Суровый идиллический пейзаж. После Мандалая самолет шел над рисовыми полями, над ба-

рочными пагодами, над бесчисленными пальмами и над бра-  
тоубийственной войной бирманцев.<sup>193</sup> А вскоре мы вторг-  
лись в строго разлинованный покой – под нами была земля  
Китая.

В Куньмине – первом китайском городе, где мы призем-  
лились, нас встретил мой старый друг Ай Цин. Его большие  
лукавые и добрые глаза, освещавшие широкое смуглое лицо,  
его живой ум сулили нам радость в нашей поездке по стране.

Ай Цин, как и Хо Ши Мин, – поэты старого восточного  
склада, познавшие всю жестокость колониального Востока, а  
заодно и все тяготы эмигрантской жизни в Париже. В стихах  
таких поэтов неподдельная нежность. Они сидели в тюрьмах,  
а когда их выпустили на свободу, уехали за границу и там  
превратились в бедных студентов или официантов. Их вера в  
революцию не оскудела. Нежнейшие в поэзии и непреклон-  
ные в политике, они вовремя вернулись на родину, чтобы  
свершить то, что было назначено им судьбой.

В парках Куньминя деревья подвергаются пластической  
операции, отчего формы у них самые причудливые. Порой  
можно разглядеть место среза, залепленное глиной, или изо-  
гнутую, перекрученную ветвь, забинтованную, будто сло-  
манная рука. Пас познакомили с главным садовником, злым  
гением, который властвовал в этом странном парке. Старые  
ели с толстыми стволами поднимались над землей всего на

---

<sup>193</sup> После провозглашения независимости Бирмы (1948 г.) в стране вспыхнула  
гражданская война, длившаяся долгие годы.

тридцать сантиметров, а карликовые апельсиновые деревья были унизаны крохотными плодами, похожими на золотые зерна риса.

Побывали мы и в саду благородных камней. Огромные глыбы уходили вверх остроконечным шпилем, гребнем застывшей морской волны. Пристрастие к таким странным камням возникло в Китае очень давно; загадочные каменные громады и сегодня украшают площади старинных городов. В прежние времена правители китайских земель, желая угодить императору, посылали ему в дар исполинские камни. Проходили годы, прежде чем камень попадал в императорский дворец. Десятки рабов толкали его по дорогам, протянувшимся на тысячи километров.

Что касается меня, то мне Китай не кажется загадочным. Скорее напротив. Как бы ни был велик революционный порыв Китая – это страна уже сложившаяся, строившаяся веками, отточенная, и все в ней наслаивается на самое себя. Китай – огромная древняя пагода, откуда выходят люди и мифы, воины, крестьяне и боги. Ничего внезапного, стихийного – даже в улыбке. И незачем терять время в поисках нехитрых народных игрушек, где нарушение пропорций так часто приближает к чуду. Китайские куколки, керамика, резьба по дереву и камню воспроизводят образцы тысячелетней давности. На всем – печать стократ повторенного совершенства.

Я очень удивился, увидев однажды на китайском рынке маленькие, сплетенные из тонкого бамбука клетки со стреко-



зами. Клетки восхитили меня поразительной точностью построения: они ставились одна на другую, образуя изящный игрушечный замок высотой с метр. Я смотрел на ладные узлы, скреплявшие бамбук, на нежно-зеленые стебли и думал, что воскресла наивность, творящая чудеса искусными руками народа. Увидев мой неподдельный восторг, крестьяне не захотели брать денег за свой поющий замок. Они мне его подарили. Не одну неделю, пока мы продвигались в глубь китайской земли, слушал я монотонное ритуальное пение стрекоз. Только в детстве мне дарили такие памятные и трогательные подарки.

Мы начали путешествие на пароходе, который перевозит тысячи пассажиров по великой реке Янцзы. Пассажиры – крестьяне, рабочие, рыбаки, словом, самый жизнедеятельный народ. Мы плыли к Нанкину по широкой и многоводной реке; вся она полнится лодками и трудом, вся изборождена людскими судьбами, заботами, мечтою. Просторная и спокойная Янцзы – главная улица Китая. Но порой она резко сужается, и пароход с трудом пробирается по ее глубоким и щербатым теснинам. Высоченные каменные стены по обеим сторонам реки как бы приникают друг к другу у самого неба, где нет-нет да затеплится легкое облачко, нарисованное кистью восточного мастера, или мелькнет в рубцах скал маленькое жилище человека.

Редко где природа так подавляет своей красотой. Разве что вспомнятся яростные ущелья Кавказа или пустынные,

величественные каналы чилийского юга.

За пять лет, что отделяют меня от первой встречи с Китаем, здесь произошли большие перемены, и с каждым новым днем я это вижу все отчетливее.

Поначалу я не мог разобраться в своих ощущениях. Что я заметил? В чем изменились улицы и люди? Ах, вот что! Мне не хватает синего цвета. Пять лет назад, в то же время года, я видел те же улицы Китая, многолюдные, захлестнутые биением человеческих жизней. Но тогда везде и всюду была пролетарская синева – что-то вроде саржи или сатина. Мужчины, женщины, дети – все были в синем. Мне нравилась эта продуманная упрощенность одежды разных оттенков синего цвета. Радовали глаз бесконечные переливы синевы на улицах и дорогах.

А теперь этого нет. В чем же дело?

Да просто за пять лет китайская текстильная промышленность настолько окрепла, что сумела одеть во все цвета, во все клеточки и горошки, во все многообразие шелков миллионы китайок; миллионы китайцев смогли носить костюмы из хороших тканей разной расцветки.

Теперь улицы – нежная радуга, созданная тонким вкусом народа, который не умеет делать некрасивые вещи, страны, где даже простые соломенные сандалии похожи на цветы.

На реке Янцзы я понял, как верна жизни старая китайская живопись. Вон там, на краю утеса, примостилась искривленная сосна, похожая на крохотную пагоду, и я сразу вспоми-

наю старинные китайские эстампы. Мало на свете таких фантастических, ошеломляюще красивых мест, как эти береговые скалы, уходящие в невероятную высоту, где каждая расщелина хранит следы, оставленные чудесным народом, будь то зеленые всходы на пяти-шести метрах земли или маленький храм с пятискатной крышей, где человек предается размышлению и созерцанию. А дальше, вровень с голыми скалами, плывет кисейная туника, дымка древних мифов – это облака или распростертые крылья птиц со знакомых миниатюр, созданных самыми мудрыми и самыми древними художниками на земле. Глубокой поэзией пронизана эта величественная природа, поэзией лаконичной и обнаженной, как полет птиц или серебристые всполохи вод Янцзы, почти недвижимой среди каменных стен.

Но больше всего здесь поражает человек, который трудится на крохотном клочке земли, на какой-нибудь родинке, зеленеющей в скалах. В любой складке, где скопилась хоть капля земли, – на краю отвесной скалы, в недоступных высотах, – можно найти следы человеческих рук. Китайская земля необъятна и сурова. Она изваяла человека по своим законам, приучила его к порядку, превратила в орудие труда – искусное, упорное и неутомимое. Такое огромное пространство, такое поразительное трудолюбие и такая последовательная борьба против всех несправедливостей должны стать залогом будущего процветания китайского народа – многомиллионного, прекрасного и мудрого.

Все время, пока мы плыли по Янцзы, Жоржи Амаду, казалось, грустил и нервничал. Много в нашей жизни на борту парохода не нравилось ни ему, ни его жене Зелии. Но спокойный характер Зелии помогал ей пройти сквозь любой огонь и не обжечься.

Более всего Амаду тяготился тем, что мы невольно оказались в привилегированном положении. Было неловко за отдельные каюты, за отдельную столовую – перед сотнями китайцев, которые теснились на пароходе, заполнив все его углы. Бразильский романист поглядывал на меня с усмешкой и время от времени отпускал остроумные и злые замечания.

Очевидно, после правды, сказанной о культе личности, в душе Жоржи Амаду сломалась какая-то пружинка. Мы с ним давние друзья, разделившие годы изгнания, всегда сходились во взглядах и надеждах. Но если я и был сектантом, то, наверное, в меньшей степени, чем он. Я всегда стоял за взаимопонимание людей – в этом мне помог мой характер и темперамент моей страны. Жоржи, напротив, отличался непреклонностью. Его учитель Луис Карлос Престес<sup>194</sup> около девяти лет просидел в тюрьме, а такое забыть нельзя, душа отвердевает. Не разделяя сектантских взглядов бразильского романиста, я мысленно оправдывал его.

XX съезд, точно огромная волна, поднял нас. революцио-

---

<sup>194</sup> Луис Карлос *Престес* (род. в 1898 г.) – видный деятель бразильского и международного коммунистического и рабочего движения, Генеральный секретарь ЦК Бразильской коммунистической партии.

неров, и нам открылись новые возможности, новые решения. Некоторые из нас, преодолев душевную смуту, почувствовали, что рождаются заново. Рождаются заново, свободными от сомнений, с готовностью идти дальше, владея правдой.

Я, грешный, тоже внес свою лепту в культ личности Сталина. Но в те времена Сталин был для нас всемогущим победителем гитлеровских армий, спасителем всего человеческого. Перерождение его характера – какая-то непостижимая тайна, которую так и не смогли разгадать многие из нас.

У Жоржи, пожалуй, именно там, на борту парохода, среди причудливых береговых скал, началась другая полоса жизни. С той поры он стал хладнокровнее, сдержаннее в словах и в поведении. Не то чтобы он утратил веру в революцию, нет, он целиком ушел в литературное творчество, и его новые книги потеряли былую политическую направленность. В нем вдруг раскрылся истинный эпикуреец, и он принялся писать свои лучшие вещи, начав с «Габриэлы» – блистательного романа, в котором льется через край чувственность и радость бытия.

Поэт Ай Цин был главой сопровождавшей нас делегации. Каждый вечер он ужинал с нами в отведенной для нас каюте. Наш стол ломился от зеленых и золотистых овощей, от кисло-сладкой рыбы, от необыкновенно сочных, приготовленных по-особому уток и цыплят. Но спустя несколько дней все эти экзотические блюда, даже самые вкусные, не лезли

нам в горло. Мы нашли предлог, чтобы хоть раз избавиться от них, но путь к намеченной цели оказался не из легких, он сворачивал то в одну сторону, то в другую, подобно ветвям измученных деревьев в парке Кунь-миня.

Приближался день моего рождения. Матильда и Зелия надумали приготовить в мою честь западные блюда, которые внесли бы хоть какое-то разнообразие в нашу еду. Речь шла о наискромнейшем обеде: зажаренный по-чилийски цыпленок и наш любимый салат из помидоров и нарезанного кружками лука. Женщины действовали втайне от меня и Жоржи. Они доверительно рассказали все нашему другу Ай Цину. Китайский поэт, заметно обеспокоенный, сказал, что должен переговорить с товарищами.

Вскоре последовало неожиданное решение: всю страну призвали к строжайшей экономии, сам Мао Цзэ-дун отменил празднование своего дня рождения. Можно ли после этого устраивать такой праздник? Зелия и Матильда пытались доказать свою правоту: ведь они хотят, чтобы вместо роскошных блюд – как правило, их уносили нетронутыми – приготовили обыкновенного скромнейшего цыпленка, но по-чилийски, на углях. После нового совещания с незримым комитетом, руководившим кампанией строгой экономии, Ай Цин заявил, что на пароходе нет подходящей печки. Но Зелия и Матильда, успевшие переговорить с коком, сказали, что товарищи из комитета заблуждаются, что печь с раскаленными углями ждет не дождется нашего цыпленка.

Ай Цин прикрыл глаза, и взгляд его затерялся в темных водах Янцзы.

12 июля, в день моего рождения, на столе появились жаренный цыпленок – золотистая награда за все наши усилия, нарезанный кружочками лук и два помидора. А на другом столе, как и все дни, победно красовались сверкающие шедевры изысканной китайской кухни.

В 1928 году я был проездом в Гонконге и Шанхае. Отданный на откуп жестоким колонизаторам, Китай тех времен был раем для игорных заведений, курильщиков опиума, публичных домов, ночных грабителей, мнимых русских графинь, пиратов на суше и на море. Перед величественными банковскими зданиями этих огромных городов маячили свинцово-серые линкоры – свидетельство страха и неуверенности колонизаторов, ущерба и близкой гибели мира, смердящего гнилью. Флаги многих стран, с ведома продажных консулов, развевались на судах китайских и малайских пиратов. Даже публичные дома полностью зависели от иностранных компаний. Я уже рассказал в этих мемуарах о том, как в Китае однажды на меня напали бандиты и отняли все, что могли, – одежду, деньги, документы.

Все это всплыло в моей памяти теперь, когда я снова приехал в революционный Китай. Это была другая страна, страна высокой нравственной чистоты. Все просчеты, изъяны, конфликты и недоразумения, словом, многое из того, что я рас-

сказал, – сущие пустяки. Главное, что я своими глазами увидел, каких побед, каких преобразований добилось это огромное государство с древнейшей культурой. Повсюду я встречал смелые начинания. Уходили в прошлое остатки феодализма. Моральная атмосфера была так чиста и прозрачна, словно здесь только что пронесся могучий циклон.

Но позже от китайского революционного процесса меня отдалил не Мао Цзэ-дун, а «маоцзедунизм». Словом, еще один культ божества. Кто станет отрицать, что Мао – крупная политическая фигура, незаурядный организатор? И мог ли я избежать воздействия его эпической простоты, в которой столько вековой грусти и поэтичности.

Но во время нашей поездки по Китаю я сам видел, как сотни крестьян после трудового дня становились на колени перед портретом скромного воина из Хунани,<sup>195</sup> превращенного в бога. Я видел, как сотни людей размахивают красной книжечкой, словно это панацея на все случаи жизни, которая поможет выиграть партию в пинг-понг, излечиться от аппендицита или решить серьезные политические проблемы. Хвалу председателю Мао источали все уста, все газеты, все книги и журналы, все спектакли, скульптуры и произведения живописи.

И вот на моих глазах, при свете дня, на необозримых земных и небесных просторах нового Китая происходила замена человека мифом. Мифом, которому задано монополизиро-

---

<sup>195</sup> Мао Цзэ-дун родился в провинции Хунань.



вать революционное сознание, собрать в один кулак сотворение нового мира, принадлежащего всем. На сей раз я не смог проглотить эту горькую пилюлю.

В Чунцине мои китайские друзья повели меня смотреть мост, соединяющий две части города. Всю жизнь я любил мосты. Мой отец, железнодорожник, с детства научил меня почтительно относиться к мостам. Он никогда не называл их просто мостами. Для него это было бы святотатством. Он называл их произведениями искусства и не удостаивал такой похвалой ни картины, ни скульптуры, ни, разумеется, мои стихи. Только мосты. Отец не раз возил меня в Мальеко, на юг Чили, полюбоваться прекрасным мостом. Я считал, что нет в мире моста, красивее того виадука: протянутый над зеленью сурового, горного юга, высокий, тонкий и чистый, как стальная скрипка с туго натянутыми струнами, готовая откликнуться ветру. Огромный мост, построенный над Янцзы, совсем другое дело. Этот мост, созданный с помощью советских специалистов, – одно из самых грандиозных творений китайских инженеров. Строительство моста завершило вековую борьбу: ведь Чунцин много столетий был разделен рекой, и это вело к застою, к отсталости, к разобщению.

Китайские друзья так усердствовали, что я едва держался на ногах. Меня таскали на какие-то башни, сводили вниз, чуть ли не в бездну, чтобы я любовался текущей испокон веков водой, над которой нависло огромное, в несколько ки-

лометров, скопище железа. По этим рельсам пойдут поезда, эти дорожки – для велосипедистов, а этот огромный тротуар – для пешеходов. Меня подавляла такая грандиозность.

Вечером Ай Цин пригласил нас в старый ресторан, где ревниво храпят традиции китайской кухни – дождь цветущих вишен, радуга бамбукового салата, яйца столетней давности, губы молодой акулы. Словам неподвластна вся сложность китайской кухни, ее фантастическое разнообразие, ее непостижимый формализм. Ай Цин посвятил нас в некоторые ее тайны. Тот, кто готовит еду, должен помнить о трех вещах: о вкусе, запахе и цвете. Нельзя упустить из виду ни первое, ни второе, ни третье. Вкус должен быть изысканным, запах – нежнейшим, цвет – гармоничным, возбуждающим аппетит. В этом ресторане, говорил Ай Цин, к трем правилам прибавляется еще одно – звук. В большую фарфоровую чашу, окруженную различными яствами, в самый последний момент бросают хвостики креветок. Когда они падают на раскаленную докрасна металлическую пластину, раздаются мелодичные звуки, напоминающие флейту; повторяется одна и та же музыкальная фраза.

В Пекине нас приняла Дин Лин, возглавлявшая комитет по приему нашей делегации. В беседе участвовал наш старый друг – поэт Эми Сяо с женой – немкой по происхождению и фотографом по профессии. Все улыбались, всем было приятно. Мы катались на лодке среди цветущих лото-

сов огромного искусственного озера, созданного для увеселения последней китайской императрицы. Мы посетили заводы и фабрики, издательства, музеи и пагоды. Мы пообедали в самом невероятном ресторане (настолько невероятном, что там стоял лишь один стол), где всеми делами занимались потомки императорской династии. Мы – две южноамериканские пары – встречались в доме китайских писателей, чтобы пить вино, курить и смеяться, как делали бы это в любом месте нашего континента.

Каждый день я просил моего молодого переводчика по имени Ли прочитать что-либо в газете. Показывая наугад колонку, заполненную непостижимыми китайскими иероглифами, я говорил:

– Переведи вот здесь!

Он приступал к делу и на недавно выученном испанском языке пересказывал передовые статьи о сельском хозяйстве, о героических заплывах Мао Цзэ-дуна, о «маомарксистских» изысканиях, о военных событиях, словом, обо всем, что наводило на меня скуку с первой строки.

– Хватит, – говорил я, – прочти-ка лучше вот здесь.

Вот так однажды я случайно попал в самое больное место. Это оказалась статья о политическом процессе, и обвиняемыми были писатели, с которыми я виделся ежедневно и которые по-прежнему оставались членами «комитета по приему». Судя по всему, процесс начался не вчера, но они словом не обмолвились о том, что находятся под следствием и

что над ними нависла серьезная угроза.

Времена изменились. Пора «расцвета всех цветов» отошла. Едва по велению Мао Цзэ-дуна эти цветы расцвели, как повсюду – на заводах, в цехах, в университетах, в кооперативах и общежитиях – появились листовки, изобличавшие несправедливость, злоупотребления и неблагоприятные поступки начальников и бюрократов.

Точно так же, как по указанию свыше прекратили войну с мухами и воробьями, – выяснилось, что их уничтожение приведет к самым неприятным последствиям, – так покончили и с периодом «расцвета всех цветов». Сверху был спущен приказ – разоблачать правых, и тотчас в каждой организации, на любом участке, в каждом доме китайцы принялись выявлять виновных, искать их среди своих близких или признаваться в собственных грехах.

Моего друга романистку Дин Лин обвинили в том, что она имела любовную связь с солдатом чанкайшистской армии. Это действительно было, но еще до великих революционных событий. Дин Лин отвергла возлюбленного во имя революции. Но с этим никто не посчитался. Ее сняли с поста заместителя председателя Союза писателей и послали работать официанткой в ресторане Союза, которым она руководила долгие годы. Дин Лин выполняла свою работу с таким достоинством, что ее направили на кухню дальней крестьянской коммуны. Больше я не получал вестей о большой писательнице-коммунистке, одной из самых ярких фигур в ки-

тайской литературе.

Не знаю, что произошло с Эми Сяо. А что касается Ай Цина, поэта, сопровождавшего нас в поездке по Китаю, то его судьба очень печальна. Сначала его сослали в пустыню Гоби, затем ему, поэту, известному в Китае и за его пределами, разрешили писать стихи, но с условием – не ставить свою подпись. Словом, Ай Цина обрекли на литературное самоубийство.

Жоржи Амаду уехал раньше срока в Бразилию. Я покинул Китай несколько позже, чувствуя горечь во рту. И до сих пор ее ощущаю.

# Обезьяны в Сухуми

Когда я вернулся в Советский Союз, мне предложили поехать на юг. Наш самолет пролетел над огромной территорией, оставив позади бескрайние степи, заводы, шоссе, дороги, большие города и села Советской страны. Я встретился с величественными Кавказскими горами, где много сосен и диких зверей. Черное море надело к нашему приезду синее платье. Отовсюду доносился сочный запах цветущих апельсиновых деревьев.

Мы – в Сухуми, главном городе Абхазии, маленькой советской республики. Это и есть легендарная Колхида, край золотого руна, которое за шесть веков до нашей эры надумал украсть Ясон.<sup>196</sup> Это и есть родина диоскуров.<sup>197</sup> Позже в музее я увижу греческий мраморный барельеф, только что извлеченный со дна Черного моря. На берегу этого моря греческие боги вершили свои таинства, свои мистерии. Теперь на смену таинствам и мистериям пришла трудовая жизнь советских людей. Здешние жители не похожи на ленинградцев. У этой земли солнца, хлебов и бескрайних виноградников другое звучание, легкий средиземноморский акцент. У мужчин – особая походка, у женщин – руки и глаза Италии или

---

<sup>196</sup> Ясон – герой греческой мифологии, возглавивший поход аргонавтов и захвативший золотое руно в царстве Эета.

<sup>197</sup> Диоскурия (Диоскуриада) – древнегреческий город в Колхиде.

Греции.

Несколько дней я живу в доме писателя Симонова; с ним мы купаемся в теплых водах Черного моря. Симонов показывает мне свой сад с прекрасными деревьями. Мне знакомы почти все, и стоит Симонову сказать, как называется дерево, я с чисто крестьянской гордостью замечаю:

– Такие есть и у нас в Чили. И эти – тоже. И вон те.

Симонов смотрит на меня, пряча насмешливую улыбку. А я ему говорю:

– Как жаль, что ты, быть может, никогда не увидишь дикий виноград в моем саду в Сантьяго, не увидишь тополей, позолоченных чилийской осенью, – такого золота нет нигде в мире! Если бы ты знал, как цветут у нас вишни и как душист чилийский больдо. Если бы ты видел по дороге в Мелипиллю, как крестьяне раскладывают на крышах домов золотые початки маиса. Если бы хоть раз ступил в холодную чистую воду у берегов Исла-Негра. Но выходит, дорогой Симонов, что пока страны воздвигают преграды, пока они враждуют и стреляют друг в друга в «холодной войне», мы – люди – разделены. Мы взмываем ввысь на скоростных ракетах, чтобы приблизить небо, но все еще не можем обменяться братским рукопожатием на земле.

– А вдруг все изменится? – говорит сквозь улыбку Симонов и бросает белый камешек богам, погруженным в Черное море.

Гордость Сухуми – большой обезьяний питомник. Суб-

тропический климат позволяет Институту экспериментальной медицины содержать все существующие виды обезьян. Мы входим внутрь. В просторных клетках сидят обезьяны – наэлектризованные и неподвижные, огромные и крохотные, мохнатые и почти лысые, с задумчивым взглядом или сверкающими глазами. Есть обезьяны молчаливые, есть деспотичные.

Есть серые, белые, есть с трехцветным задом. Есть большие обезьяны-отшельники и обезьяны с целым гаремом; эти не подпускают самок к еде, пока сами с торжественным видом не съедят свою порцию.

Здесь ведутся передовые исследования в области биологии: на обезьянах изучают нервную систему, проблемы наследственности, пытаются проникнуть в тайны жизни, продлить ее сроки.

Наше внимание привлекла маленькая обезьянка с двумя детенышами. Один малыш ходит за ней неотлучно, другого она держит на руках с безмерной нежностью. Директор рассказывает, что тот, кого она так балует, – ее приемыш. Она «усыновила» его, когда от родов умерла одна из обезьян. С первого дня ее материнская страсть, ее нежность изливается на приемного сына куда больше, чем на собственного. Ученые думали, что при таком сильном чувстве материнства эта обезьяна возьмет и других чужих детенышей. Но она отвергла всех. Значит, в ней говорил не только природный инстинкт, но и материнская солидарность.



# Армения

Мы прилетели в Армению, легендарную трудолюбивую Армению. Вдали, к югу, господствуя над всей историей страны, высится снежная вершина Арабата. Сюда, как сказано в Библии, приплыл Ноев ковчег, чтобы наново заселить землю. Нелегкое дело: Армения – страна каменистая и вулканическая. Армяне возделывали землю ценой невероятных усилий. Они подняли свою национальную культуру до самого высокого уровня, какой существовал в древнем мире. Социалистическое общество создало небывалые возможности для роста и процветания этой благородной нации, прошедшей сквозь тяжкие муки. Веками турецкие захватчики угнетали и безнаказанно истребляли армян. В каждом камне, в каждой монастырской плите – капля армянской крови. Социалистическое возрождение этой страны – истинное чудо и одновременно самое веское опровержение злобных толков о некоем «советском империализме». Я побывал в Армении на ткацко-прядильных фабриках, где работают тысячи людей, я видел грандиозные ирригационные и энергетические сооружения. Я посетил многие армянские города и деревни. И везде видел армян, армянских мужчин и женщин. Однажды мне встретился русский – голубоглазый человек среди смуглолицых и черноглазых. Этот человек был директором гидроцентрали озера Севан. Поверхность озера, чьи воды вы-

ходят только в одну реку, слишком велика. Вода, которой нет цены в Армении, испаряется, вместо того чтобы оросить землю, жаждущую влаги. Ученые надумали расширить русло реки и тем самым уменьшить количество испаряющейся воды. Уровень озера понизится, а на реке будут выстроены восемь гидроцентральных, новые фабрики, мощные алюминиевые заводы. Севан даст электроэнергию всей республике и оросит ее поля. Мне не забыть гидроцентрали на озере Севан, в чьих наипрозрачных водах отражается неповторимая синева армянского неба. Когда журналисты спросили, какое впечатление произвели на меня древние церкви и монастыри Армении, я пошутил:

– Из всех церквей больше всего мне понравилась гидроцентраль на озере Севан.

В Армении я повидал много интересного. Мне думается, что Ереван, выстроенный из вулканического туфа, гармоничный, как розовая роза, – один из самых красивых городов мира. Памятным было и посещение астрономического центра в Бюракане, где я впервые увидел почерк звезд. Тончайшие механизмы улавливают зыбкий свет звезды и записывают его на специальную ленту, как бы делая электрокардиограмму неба. Сличая записи, я увидел, что у каждой звезды свой почерк – трепетный, завораживающий и непонятный мне, земному поэту.

В зоологическом саду Еревана я сразу направился к клетке с кондором, но мой великий соотечественник меня не

признал. Он забился в самый угол и смотрел на все таким скептическим взглядом, какой бывает у кондоров, утративших надежды и иллюзии, у птиц, тоскующих по вершинам Кордильер. Мне стало жаль плешивого кондора – я-то вернусь на родину, а ему суждено остаться здесь, в плену, до конца своих дней.

Совсем по-другому мы встретились с тапиром. Зоопарк Еревана – один из немногих, где есть амазонский тапир – удивительное животное с туловищем быка, с носатой мордой и маленькими глазками. Должен признаться, что тапиры похожи на меня. Это уже не секрет.

Ереванский тапир спокойно дремал в своем загоне у самого водоема. Но при моем появлении он проснулся и посмотрел на меня так понимающе, словно мы с ним уже встречались в далекой Бразилии. Директор зоопарка спросил, не хочу ли я посмотреть, как купается тапир, и я ответил, что ради того, чтобы полюбоваться купающимся тапиром, я изъездил весь мир. Дверцу загона открыли, и тапир, подарив мне счастливый взгляд, бросился в воду, фыркая, как морской лев или тритон. Он выпрыгивал из воды, плескался, поднимая стену брызг, сопел от радости и с особым рвением выделял свои поразительные акробатические номера.

– Мы еще не видели его таким веселым, – сказал директор зоопарка.

В полдень на обеде, который по случаю моего приезда устроил Союз писателей Армении, я в своем благодарствен-

ном слове упомянул и о подвигах тапира, и о моей любви к животным. Я никогда не упускал случая сходить в зоопарк.

В ответном слове председатель Союза писателей сказал:

– Что за нужда была у Неруды убивать время на зоопарк? Мог бы сразу прийти в наш Союз писателей, где есть все, что хочешь, – львы и тигры, лисицы и тюлени, орлы и змеи, верблюды и попугаи.

## Вино и война

По пути на родину я остановился в Москве. Для меня Москва не только прекрасная столица победившего социализма, не только город, где воплотились в жизнь мечты множества людей. В Москве живут мои любимые друзья. Москва для меня – праздник. Не успев приехать, я отправляюсь гулять по московским улицам, где мне легко дышится. Насвистывая куэку,<sup>198</sup> я вглядываюсь в русские лица, в русские глаза, люблюсь русскими косами, я вижу яркие бумажные цветы и мороженое, которое продается на всех углах, я рассматриваю витрины, отыскивая новые вещи, новые маленькие вещицы, что делают жизнь более наполненной.

Я снова в гостях у Эренбурга. Мой друг прежде всего показал мне бутылку норвежской водки «Аквавита». На этикетке – большой парусник. А рядом – даты отплытия и возвращения парусника, который побывал с этой бутылкой в Австралии и вернулся в родную Скандинавию.

Мы заговорили о винах. Я вспомнил свои молодые годы, когда чилийские вина тоже отправлялись за границу – они были в цене и почете. И почти всегда не по карману тем, кто ходил в казенной форме железнодорожников или жил незапасливой богемной жизнью.

Повсюду, в любой стране меня занимал путь вина от того

---

<sup>198</sup> Куэка – народная чилийская песня и танец.

часа, когда оно рождалось «под ногами людей», до того дня, когда наполняло бутылки из зеленого стекла или графины граненого хрусталя. В Галисии мне нравилось вино «Рибейро»: его пьют из фарфоровых чашек, на которых остается густой кроваво-красный след. Мне запомнилось вязкое венгерское вино, что зовется «Бычья кровь», его сила приводит в трепетный восторг цыганские скрипки.

У моих прапрадедов тоже были виноградники. В моем родном Паррале из винограда делают очень крепкое вино. У отца и дядьев – дона Хосе Анхеля, дона Хоэля, дона Осеаса и дона Амоса – я научился отличать вино бочковое от вина очищенного, рафинированного. Я долго не мог понять, почему они с большей охотой пьют вино из бочек, вино с истинным и стойким сердцем. После того как я изощрил свой вкус и научился смаковать тонкости «формалистского букета», мне не легко было вернуться к первозданному, к изначальной силе. Точно так же бывает со многими вещами. И с искусством: человек поначалу любит Афродитой Праксителя,<sup>199</sup> а потом не расстается с примитивными статуями Океании.

Как-то в Париже я впервые пил удивительно благородное вино в одном из благороднейших домов. Это было марочное вино «Мутон-Ротшильд» – безупречное по густоте, неопишемое по аромату, совершенное по вкусу. Дом принадлежал Арагону и Эльзе Триоле.

---

<sup>199</sup> Пракситель (ок. 390 – ок. 330 до н. э.) – древнегреческий скульптор.

– Я только что получил эти бутылки и вот теперь открываю их в твою честь, – сказал мне Арагон.

Тут последовал целый рассказ об этом вине.

Немецкие войска продвигались в глубь Франции. Один из самых умных бойцов этой страны – поэт и офицер Луи Арагон оказался на передовой линии. Он командовал санитарным взводом. У него был приказ добраться до здания, расположенного в трехстах метрах от линии огня. Капитан, командовавший на этом участке, задержал Арагона. Это был граф Альфонс де Ротшильд, чуть моложе Арагона, но того же горячего нрава, что и поэт.

– Отсюда вы не пройдете. Немцы тотчас откроют огонь.

– Мне велено добраться до того здания любой ценой, – вскипел Арагон.

– А я вам приказываю остаться здесь.

Кто знает Арагона так, как знаю его я, не усомнится, что в словесной перепалке летели такие искры, словно взрывались гранаты, и его ответы были подобны ударам шпаги. Но все это длилось не более десяти минут. Внезапно на глазах Арагона и Ротшильда немецкая мина угодила прямо в здание, и в один миг на его месте остались груды обломков, окутанные дымом.

Так благодаря твердому характеру одного из Ротшильдов был спасен лучший поэт Франции.

С тех пор в каждую годовщину этого события Арагон получал несколько бутылок «Мутон-Ротшильда» с виноград-

ников того самого графа, который в войну заставил его подчиниться своему приказу.

Теперь я в Москве в гостях у Ильи Эренбурга. Этот отважный воин литературного фронта, не менее грозный для немецких нацистов, чем армейская дивизия, был одним из самых утонченных эпикурейцев. Я так и не сумел понять, в чем Эренбург разбирался лучше – в Стендале или в foie gras.<sup>200</sup> Он с одинаковым наслаждением смаковал стихи Хорхе Манрике и бокал «Помери-Грено». Его самой яркой любовью была Франция. Он любил ее всю, любил плоть и душу благоуханной и сладостной Франции.

Вскоре после войны по Москве пронесся таинственный слух, что в продаже будет французское вино. Советские бойцы, продвигаясь к Берлину, захватили однажды крепость, набитую пропагандистской стряпней Геббельса и винами, которые он наградил в погребах нежной Франции. Бумаги и бутылки были посланы в штаб победоносной армии. Там быстро разобрались в бумагах, но так и не придумали, что делать с вином.

На бутылках красовались этикетки с датами рождения. Все бутылки были знатного рода и самых знаменитых урожаев.

Социалистическая сознательность так велика, что эти бесценные трофеи, попавшие к немцам из французских по-

---

<sup>200</sup> Паштет из гусиной печени (*франц.*).



гребов, были распределены по винным магазинам Москвы и проданы по тем же ценам, что и русские вина. Правда, покупатели смогли приобрести ограниченное количество бутылок.

Велики замыслы и цели социализма, но мы, поэты, одинаковы везде: мои собратья по перу отправили в магазины родственников и знакомых, которые в один миг раскупили знаменитое вино, продававшееся по баснословно низким ценам.

Не скажу, хоть и знаю, сколько бутылок перепало Эренбургу, непреклонному врагу нацизма. Именно по этому поводу мы собрались в его квартире и беседуем о винах вообще и о винах, награбленных Геббельсом, и поднимаем бокалы в честь победы и поэзии.

## Отвоеванные дворцы

Богачи никогда не приглашали меня в свои роскошные особняки, да и сам я, по правде, не проявлял к ним особого интереса. В Чили продажа особняков с молотка стала чем-то вроде национального спорта. Раз в неделю на эти вошедшие у нас в обычай распродажи стекаются толпы людей. У каждого особняка своя судьба. Приходит час, и тому, кто даст больше, достаются те самые чугунные решетки, что преграждали путь мне и всей этой толпе – а я ее неотделимая часть, – и вслед за оградой к новым хозяевам попадают кресла, распятия Христа, старинные портреты, посуда, столовое серебро и даже простыни, на которых зачалась не одна праздная жизнь. Чилийцы любят посмотреть, потолковать, потрогать. А вот таких, чтобы купить, – маловато. Дом рушат, вернее, распродают по частям: покупатели уносят его глаза – окна, его чрево, его внутренности – лестницы, его этажи – ноги, и под конец в дело идут даже пальмы.

В Европе все по-другому, в Европе стараются сохранить дома былых времен. Порой мы встречаем портреты их бывших владельцев – герцогов и герцогинь. Лишь немногим художникам посчастливилось лицезреть герцогинь нагишом, зато теперь мы ценим по достоинству не только саму живопись, но и соблазнительные изгибы женского тела. Мы можем подсмотреть тайну, преступления инквизиторов, раз-

глядеть парики среди этих стен в коврах, что вобрали в себя, подобно разбухшим архивам, столько разговоров и признаний, которые будут прослушаны в электронных кабинках будущего.

Меня пригласили в Румынию, и я поехал к ней на свидание. Писатели привезли меня в свой дом отдыха, стоящий в одном из прекрасных лесов Трансильвании. Прежде это был дворец Кароля II, того сумасброда, о чьих скандальных для королевского рода похождениях говорили везде и всюду. Теперь дворец с прекрасной мебелью и мраморными ваннами был отдан мысли и поэзии Румынии. Я хорошо выспался в постели ее величества королевы румынской, и мы поехали осматривать другие аристократические замки, превращенные в музеи и дома отдыха. Вместе со мной были поэты Жебеляну, Бенюк и Раду Боуряну. Зеленым утром под глубокой тенью елей королевских парков мы громко хохотали, пели нестройными голосами и выкрикивали стихи на разных языках. Румынские поэты, которым пришлось испытать тяжкие страдания под долгим игом монархо-фашистских режимов, самые мужественные и самые веселые поэты в мире. Для меня была настоящим откровением встреча с этими трубадурами, такими румынскими, как певчие птицы их лесов, такими решительными в своем патриотизме, такими стойкими в своей революционности и хмельно влюбленными в жизнь. Мало где мне случалось найти за короткий срок так много друзей.

Румынским поэтам очень понравился мой рассказ о том, как я познакомился с другим аристократическим дворцом в самый разгар гражданской войны в Испании. Это был дворец Лириа в Мадриде. Пока Франко, продвигаясь вперед вместе с итальянцами и марроканцами с черными фашистскими свастиками, убивал во имя «святого дела» своих соотечественников, милисиано заняли этот дворец, который я столько раз видел, проходя по Аргуэльесу в 1934 и в 1935 годах. Из окна автобуса я почтительно смотрел на дворец, но отнюдь не из-за вассальской преданности новым герцогам Альба, которые уже не могли повелевать мною, американским поэтом-полуварваром, просто меня приводили в волнение его величественные саркофаги – белые и безмолвные.

Когда началась война, герцог остался в Англии, потому что его подлинная фамилия – Бервик. Он остался там со своими лучшими картинами и драгоценностями. Припомнив этот герцогский побег, я рассказал румынским друзьям, что после освобождения Китая последний отпрыск Конфуция, наживший состояние на храме и костях усопшего философа, отбыл на Формозу,<sup>201</sup> прихватив с собой картины, столовое белье, посуду и, разумеется, священные кости великого предка. Должно быть, он живет там припеваючи, взимая входную плату за осмотр великих реликвий.

В те дни из Испании во все концы света неслись устрашающие вести: «Исторический дворец герцога Альбы, раз-

---

<sup>201</sup> Тайвань.

грабленный красными», «Ужасающая картина разрушения», «Спасем историческое сокровище».

Немецкие самолеты уже сбросили первые бомбы на Мадрид.

Я решил посетить дворец, благо появилась такая возможность. «Грабители» в синих комбинезонах, с винтовками в руках стояли у входа. Я попросил милисиано пустить меня во дворец. Они тщательно проверили мои документы. Я уже готов был пройти в его роскошные залы, но меня остановили, ужаснувшись, что я не вытер ноги о большой мохнатый половик, лежащий у входа. Паркет и в самом деле блеснул как зеркало. Я вытер ноги и вошел внутрь. Темные прямоугольники на стенах говорили о том, что прежде здесь висели картины. Милисиано знали все до мелочи. Они рассказали, что герцог для верности давно уже держал эти картины в несгораемых шкафах Лондонского банка. Единственной оставшейся ценностью большого зала были охотничьи трофеи – бесчисленные головы с ветвистыми рогами и клыки разных животных. Я обратил внимание на огромное чучело белого медведя. Медведь стоял посреди зала, гостеприимно протягивая передние лапы, а его морда щерилась в широкой улыбке. Он был любимцем милисиано, и они старательно чистили его каждое утро.

Мне, конечно, хотелось взглянуть на герцогские покои, где мучились кошмарами столько поколений герцогов Альба, которым по ночам щекотали пятки грозные призраки

Фландрии. Все высокородные пятки исчезли, но зато осталась самая богатая коллекция обуви, какую мне случилось видеть. Последний герцог Альба, ничем не пополнивший семейной галереи картин, создал необозримую, поразительную обувную лавку. На застекленных стеллажах до самого потолка рядами стояли тысячи пар обуви. Около стеллажей, как в библиотеках, примостились лесенки, должно быть, на случай, когда понадобится снять за каблук какую-нибудь туфельку. Я добросовестно осмотрел все, что мог. Здесь были сотни великолепных сапог тончайшей работы для верховой езды – светлокоричневых и черных. Были и с фетровыми голенищами, и с пряжками из перламутра. Не сосчитать, сколько всевозможных ботинок, туфель, шлепанцев. И все – на колодках, казалось, что они на чьих-то крепких ногах и ждут, когда отодвинут стекло, чтобы ринуться в Лондон, вдогонку за герцогом. Можно было вдоволь наглядеться на парад обуви, заполнившей несколько залов. Но только наглядеться, не более. Вооруженные милисиано не дали бы прикоснуться к этой обуви никому, даже мухе. Они говорили: «Культура!» Они говорили: «История». А я думал о бедных крестьянских парнях, обутом в альпартаты, о парнях, которые, увязая в глине, проваливаясь в снег, сдерживали фашистов на грозных высотах Сомосьерры.

У постели герцога в золотой рамке висели какие-то письмена. Увидев готический шрифт заглавных букв, я решил, что это родословное древо герцогов Альба. Но нет. Это бы-

ло стихотворение Редьярда Киплинга<sup>202</sup> «Если» – пошловатое, ханжеское, из тех, что предварили появление английского журнала «Ридерс дайджест», стихотворение, чей интеллектуальный уровень не выше, на мой взгляд, башмаков герцога Альбы. Да простит меня Британская империя!

Я надеялся, что меня не оставит равнодушным ванная комната герцогини, где можно вспомнить о стольких вещах сразу. И прежде всего о той мадонне, той обнаженной махе из музея Прадо. Ее соски расставлены так далеко друг от друга, что воображению рисуется, как Гойя, этот мятежный художник, измерял расстояние поцелуями – один за другим – оставляя невидимое ожерелье на прекрасной груди. Но и в ванной комнате герцогини меня ждало разочарование. Чучело медведя, опереточная коллекция обуви, «Если» и в довершение вместо купальни богини – круглая комната в псевдопомпейском стиле с вделанной в пол ванной, с аляповатыми алебастровыми лебедями и до смешного претенциозными светильниками – словом, ванная одалиски из голливудского фильма.

В глубоком разочаровании я уже было направился к выходу, но тут мне наконец повезло. Милисиано пригласили меня на обед. Вместе с ними я спустился в кухню. Герцогская челядь – несколько десятков лакеев, садовников, поваров – готовили еду себе и охранявшим дворец бойцам. Лакеи приняли меня за важную персону и после недолгой беготни, после

---

<sup>202</sup> Редьярд Киплинг Джозеф (1805–1936) – английский писатель и поэт.

шушуканья и какой-то суеты на столе появилась запыленная бутылка столетней давности. Это было «Lachrima christi»<sup>203</sup> – обжигающее густое вино, мед пополам с огнем, пьянящее и в то же время легкое. Мне перепало несколько глотков, но я не скоро забыл жгучие слезы герцога Альбы.

Неделю спустя немецкие самолеты сбросили на дворец Лириа четыре зажигательные бомбы. С террасы моего дома я видел, как пронеслись в небе две зловещие птицы, и по медно-багровому зареву понял, что стал свидетелем последних минут дворца.

«В тот же вечер я пришел к дымящимся развалинам, – сказал я, заключая свой рассказ, – и узнал подробности, которые меня взволновали. Отважные и благородные бойцы под огнем, низвергавшимся с неба, среди пламени и взрывов, от которых содрогалась земля, сумели спасти только белого медведя. Они едва не погибли. Рушились балки, все кругом полыхало, а медведь не пролезал ни в дверь, ни в окна. Я снова, уже в последний раз, увидел его – он лежал на траве дворцового сада с разведенными в сторону лапами, едва живой от смеха».

---

<sup>203</sup> «Христова слеза» (лат.).



## Эпоха космонавтов

Снова Москва. Утром 7 ноября я был на военном параде видел выступления спортсменов – светоносную молодость Советской страны. Они проходили по Красной площади твердым и уверенным шагом. Их провожал острым взглядом умерший много лет назад человек, творец этой жизнерадостности, этой уверенности и этой силы – Владимир Ильич Ульянов, вошедший в бессмертие с именем Ленин.

Оружия было сравнительно мало. Но зато нам впервые показали огромные межконтинентальные ракеты. Думалось, протяни руку – и коснешься этих огромных сигар, таких безобидных на вид, а ведь они способны вызвать атомную катастрофу в любой точке мира.

В тот славный день приветствовали двух русских, которые вернулись с небес. Я чувствовал прикосновение их крыльев. Поэт во многом сходен с птицей, с перелетной птицей. И вот на улицах Москвы, на Черноморском побережье, среди горных отрогов советского Кавказа меня потянуло написать книгу о птицах Чили. Поэт из Темуко, пролетевший над многими странами, решил написать о птицах своей далекой родины – о чинколе и черкане, о тенках и дыюках, о кондорах и кельтеуэ, а в это время два крылатых человека, два космонавта взмыли в космос и привели в восхищение весь мир. Мы все с затаенным дыханием следили за космическими по-

летами двух героев.

Да, в тот день приветствовали космонавтов. Рядом с ними были их родители и близкие, совсем земные, их корни, их начало. У стариков топорщились крестьянские усы; матери – в платках, повязанных как у деревенских женщин. Значит, космонавты были такими же, как мы, – простыми людьми любой деревни, любого завода, учреждения. Никита Хрущев от имени народа приветствовал космонавтов на Красной площади. Вечером мы увидели их в Георгиевском зале. Меня представили Герману Титову, космонавту номер два – симпатичному парню с большими светящимися глазами. Неожиданно для себя я спросил космонавта:

– Скажите, майор, пока вы были в космосе, вам удалось разглядеть мою родину – Чили?

Ну, все равно что сказать: «Понимаете ли вы, что самое важное в вашем полете – увидеть нашу кроху Чили».

Против ожидания, он не улыбнулся и, подумав немного, сказал:

– Я вспоминаю желтые цепи гор в Южной Америке. Судя по всему, они очень высокие. Наверно, это и есть Чили.

Конечно, Чили, товарищ!

Как раз когда отмечали сорокалетнюю годовщину Октябрьской революции, я уезжал из Москвы в Финляндию. Пока машина везла нас к вокзалу, мы любовались огромными снопами ярких огней – серебристых, синих, красных, фи-

олетовых, зеленых, желтых, оранжевых, – которые рассыпались в небе, словно взрывы веселья, словно послания дружбы и солидарности, улетающие в тот торжествующий вечер во все концы света.

В Финляндии я снова купил рог нарвала. Пароход, на который мы сели в Гётеборге, должен был привезти нас в Америку. Америка и Чили тоже идут в ногу со временем и с жизнью. Когда мы приплыли к берегам Венесуэлы, тиран Перес Хименес<sup>204</sup> – баловень госдепартамента, бандит из той же шайки, что Трухильо<sup>205</sup> и Сомоса,<sup>206</sup> нагнал в порт солдат, словно на войну, лишь затем, чтобы я и Матильда не сошли на венесуэльский берег. Но когда наш пароход причалил в родном Вальпараисо, я узнал, что свобода изгнала венесуэльского деспота. Этот чванливый сатрап бежал в Майами, как одуревший от страха заяц. После спутника, взлетевшего в космос, наша планета шагает быстрее. Кто бы мог предугадать, что первым человеком, постучавшим в дверь моей каюты, чтобы поздравить меня с приездом на родину, будет советский писатель Симонов, которого я оставил на черноморском пляже?

---

<sup>204</sup> *Перес Хименес* Маркос (род. в 1914) – венесуэльский диктатор, президент Венесуэлы в период с 1953 по 1958 г.

<sup>205</sup> *Трухильо* Рафаэль Леонидас (1891–1961) – диктатор Доминиканской Республики, правивший с 1930 по 1961 г.

<sup>206</sup> *Сомоса* Анастасио (1896–1956) – диктатор Никарагуа, правивший с 1936 по 1956 г.

# Поэзия – это служение

## Тетрадь 11

### Сила поэзии

Нашей эпохе, со всеми ее войнами, революциями, великими социальными потрясениями, выпало невиданное изобилие поэзии. Любой человек вынужден теперь сталкиваться с поэзией, то наносящей ему раны, то ранимой, всюду – в уединении и в каменной громаде публичных сборищ.

Я и не думал, когда писал первые одинокие книги, что со временем буду читать свои стихи на площадях и улицах, на заводах и в парках, в актовом залах и театрах. Я побывал во всех, практически во всех уголках Чили, раздавая свою поэзию, всю без остатка, моему народу, простым людям.

Сейчас я расскажу о том, что произошло со мной на самом большом и многолюдном рынке Сантьяго – Вега Централь. С рассветом туда съезжаются грузовики, тележки, повозки из разных поселков и деревень, опоясавших прожорливую столицу. Они привозят овощи, мясо, рыбу – словом, всякую снедь. Грузчики – многочисленная рать полунищих и по большей части босоногих людей – заполняют все дешевые кафе, ночлежные дома, забегаловки по соседству с рынком.

Однажды за мной приехал незнакомый мне человек. Я сел в его машину, так и не поняв толком, зачем и куда меня везут. В кармане у меня была моя книга «Испания в сердце». По дороге я выяснил, что мне предстоит выступить перед грузчиками рынка, на встрече, организованной их профсоюзом.

Войдя в полуразвалившееся ветхое помещение, я почувствовал тот пронизывающий холод, о котором сказано в «Ноктюрне» Хосе Асунсьона Сильвы,<sup>207</sup> и не столько из-за того, что была самая середина зимы, сколько от той картины, которая представилась моим глазам. На ящиках и наспех сколоченных скамьях сидело человек пятьдесят – шестьдесят. У одних были повязаны мешки, точно фартуки, другие – в старых залатанных майках, а третьи – голые по пояс, будто им нипочем наш холодный промозглый июль. Я сел за столик, который отделял меня от такой небывалой публики, и увидел угольно-черные, пристальные глаза моего народа.

Я вспомнил, как старик Лаферте<sup>208</sup> забавно окрестил этих невозмутимых слушателей, на лице которых не дрогнет ни одна жилка. Однажды, когда мы приехали в селитряную пампу, он сказал: «Погляди, вон там, в глубине зала привалившись к колонне, на нас неотрывно глядят два „бедуина“. Им бы еще бурнусы, и они вполне сойдут за бестрепетных и пра-

---

<sup>207</sup> Хосе Асунсьон Сильва (1865–1896) – колумбийский поэт.

<sup>208</sup> Лаферте Элиас (1886–1961) – выдающийся деятель рабочего движения Чили, один из создателей Коммунистической партии Чили

воверных жителей пустыни».

Что было делать с этой публикой? О чем говорить? И что из моей жизни могло заинтересовать их? Так и не придумав ничего толкового, с трудом подавляя в себе желание немедленно удрать, я вдруг вынул книгу и сказал:

– Совсем недавно я был в Испании. Там шли бои и рвались снаряды. Послушайте, что мне удалось написать об этом!

Должен сказать, что я никогда не относил «Испанию в сердце» к числу легких книг. В ней бесспорно есть стремление к ясности, но оно погружено в водоворот глубоких и разноликих страданий.

Поначалу я думал прочесть несколько стихотворений, сказать несколько слов и попрощаться. Но все вышло не так. Читая стихотворение за стихотворением, чувствуя, как уходят в самую глубь тишины мои слова, как неотрывно смотрят на меня глаза под темными бровями, я понял, что моя книга нашла свою судьбу. Я читал и читал, замороженный звучанием поэзии, потрясенный магнетической связью, возникшей между моими стихами и этими забытыми богом людьми.

Я читал больше часа, а когда собрался уходить, с места встал один из грузчиков, у которого, как у многих, мешок был повязан фартуком.

– Хочу поблагодарить вас от имени всех, – сказал он громким голосом. – Хочу сказать, что никогда и никто не затронул так сильно паши души.

И с этими словами он разрыдался. Вслед за ним заплакали

и другие. Я вышел на улицу сквозь увлажненные взгляды и крепкие рукопожатья.

Может ли поэт оставаться прежним после того, как он прошел испытания холодом и огнем?

Когда я хочу вспомнить Тину Модотти, приходится делать такое усилие, словно ловишь горстку тумана. Хрупкая, почти незримая. Знал я ее или не знал?

Она была еще очень хороша собой – бледный овал лица в оправе темных волос, большущие черные бархатные глаза, которые все так же смотрят сквозь годы. Диего Ривера изобразил ее на одном из своих настенных панно в ореоле венка из листьев и стрел маиса.

Эта итальянская революционерка, прекрасный фотограф, приехала в Советский Союз, чтобы фотографировать людей и памятники искусства. Но, захваченная бурным ритмом социалистического созидания, она швырнула фотоаппарат в Москву-реку и поклялась посвятить жизнь самым скромным делам партии. Я познакомился с Тиной в Мексике, где она честно выполняла свою клятву, и оплакивал ее той ночью, когда она умерла.

Это случилось в 1941 году. Ее мужем был Витторио Видали – знаменитый команданте Карлос из Пятого полка. Тина Модотти умерла от разрыва сердца в такси, по дороге домой. Она знала, что у нее больное сердце, но молчала, боясь, что ее отстранят от революционной работы. Тина всегда бы-

ла готова делать то, чего сторонились другие, – убирать помещение, пешком отправиться на другой конец города, ночи напролет писать письма или переводить статьи. В испанскую войну она была медсестрой и ухаживала за ранеными республиканцами.

В ее жизни, когда она была подругой выдающегося кубинского революционера Хулио Антонио Мельи, сосланного в Мексику, произошла страшная трагедия. Тиран Кубы Херардо Мачадо отрядил из Гаваны бандитов, поручив им убить революционного вождя молодежи. И однажды вечером, когда Мелья под руку с Тиной Модотти выходил из кинотеатра, в него выстрелили из автомата. Он упал. Упала и Тина, вся в крови убитого друга. А тем временем наемные убийцы, у которых были высокие покровители, беспрепятственно скрылись. В довершение всего полицейские чиновники, покрывавшие преступников, попытались обвинить в убийстве Тину Модотти.

Силы незаметно покидали Тину, и через двенадцать лет ее не стало. Мексиканская реакция пустилась во все тяжкие, чтобы возродить клевету и создать атмосферу скандала вокруг ее смерти, по примеру былых времен, когда хотели доказать, что она замешана в убийстве Мельи. А мы с Карлосом молча сидели у гроба. Трудно было смотреть, как страдает такой сильный и мужественный человек. Его открытую рану разъедал яд мерзкой лжи, порочащей имя Тины Модотти, теперь мертвой. Команданте Карлос исходил яростью, глаза



его воспалились, а я, бессильный перед человеческой скорбью, заполнившей комнату, молча смотрел на восковую Тину в маленьком гробу.

Страницы газет были заполнены грязными измышлениями. Тину называли «таинственной женщиной из Москвы». Некоторые добавляли: «Она умерла, потому что знала слишком много». Карлос страдал так безудержно и неистово, что я решил написать стихотворение – отповедь тем, кто бесчестил нашу Тину. Я тотчас разослал стихотворение во все газеты, мало надеясь, что оно будет опубликовано. Но какое чудо! На другой день вместо обещанных накануне новых «разоблачительных подробностей» на первых полосах газет появилось мое гневное, пронизанное болью стихотворение.

Оно называлось «Умерла Тина Модотти». Я читал его тем же утром на кладбище мексиканской столицы, где мы похоронили Тину, где она покоится под плитой мексиканского гранита. На плите выгравированы эти стихи.

С той поры газеты не опубликовали ни единой строки, оскорбляющей память Тины Модотти.

Л это было в Лоте, много лет назад. На митинг собралось тысяч десять шахтеров. Главную площадь города заполнили шахтеры всего угольного края, где не стихают волнения, порождаемые извечной нищетой. Политические ораторы говорили подолгу. В раскаленном полуденном воздухе плыли запахи угля и морской соли. Рядом лежал океан, и под его

толщами на десять с лишним километров тянулись мрачные коридоры, где люди добывали уголь.

Теперь они слушали речи под слепящим солнцем. С высокого помоста мне открывалось море черных шляп и шахтерских касок. Я выступал последним. И когда сказали, что я прочту свое стихотворение «Новая песнь любви Сталинграду», произошло нечто удивительное, некое обрядовое действие, которое навсегда запечатлелось в моей памяти.

Едва прозвучало мое имя и название моего стихотворения – все, как один, молча обнажили головы. Обнажили головы потому, что после суровых политических речей должна была говорить поэзия, сама Поэзия. С высокого помоста я увидел, как согласно поднялись и опустились десять тысяч рук, – небывалым перекатом волны, ударом бесшумного моря, черной пеной безмолвного почтения.

И тогда мои стихи окрепли и звучащий в них призыв к борьбе и освобождению обрел новую силу.

А то, о чем я сейчас расскажу, произошло в годы моей юности. Я был таким, как все поэты из студентов той поры, – костлявый, полуголодный, в неизменном черном плаще. Только что издали мою книгу «Собрание закатов», и весил я меньше, чем воронье перо.

Как-то раз мы с приятелями попали в кабаре с дурной славой. То было время танго и шумных драк. Внезапно музыка оборвалась – и танго разбилось вдребезги, как бокал, запу-

щенный в стенку.

Посреди площадки, отведенной под танцы, отчаянно размахивая руками, орали друг на друга два отпетых драчуна и дебошира. Когда один надвигался на другого, тот отступал, и вместе с ним подавалась назад охмелевшая публика, стараясь укрыться за опрокинутыми столиками. Все это напоминало танец двух диких животных на прогалине лесной чащи.

Не долго думая, я сделал шаг вперед и с высоты своего худосочия обрушился на них:

– Эй, вы, поганцы, очумелое зверье, моль презренная, дайте спокойно потанцевать людям. Мы не затем пришли, чтобы глядеть на вашу драку.

Они посмотрели друг на друга с таким удивлением, словно не поверили собственным ушам. Тот, что пониже – прежде чем стать громилой, он был профессиональным боксером, – двинулся ко мне, явно намереваясь лишиться меня жизни. Так бы и вышло, не рухнул он в тот момент на пол от точного удара своего противника.

Когда поверженного чемпиона, словно мешок с картошкой вытащили из зала, со многих столов нам стали посылать бутылки с вином. Танцовщицы одаряли нас восторженными улыбками. А тот верзила, что нанес последний удар противнику, решил, что и он вправе разделить радость нашей победы. Но я резко сказал:

– Убирайся отсюда. Ты с ним из одной шайки.

Однако торжествовал я очень недолго. Миновав узкий ко-

ридор, мы увидели в дверях какую-то громаду, заслонившую нам путь. В этой громаде с талией пантеры я сразу узнал участника драки, сраженного моими словами. Он караулил нас у выхода, чтобы расквитаться со мной.

– Я тебя поджидал, – сказал он и легким толчком отбросил меня в сторону. Мои дорогие спутники пустились наутек, оставив меня один на один с моим палачом. Я поискал глазами, нет ли чего, чем можно защититься. Ничего. Решительно ничего – тяжелые мраморные плиты столов, железные стулья – их не поднимешь. Хоть бы какая ваза, или бутылка, или забытая палка. Ничего...

– Поговорим? – спросил он.

Я понял, что все мои усилия будут напрасны. Он смотрел на меня испытующе и напоминал ягуара, который готовится поймать олененка. Чувствуя, что главное – не выдавать страха, я тоже толкнул его, но он не стронулся с места. Не человек, а каменная стена.

Вдруг он откинул голову назад, и в глазах его погасла ярость.

– Вы – поэт Пабло Неруда? – спросил он.

– Да, это я.

Он опустил голову и запричитал:

– Ну до чего я невезучий! Встретиться с любимым поэтом, чтобы он мне сказал в лицо, какое я ничтожество!

Он обхватил голову руками и торопливо заговорил:

– Я настоящий подонок, а тот, другой, торгует кокаином.

Мы оба скатились – дальше некуда. В моей жизни только и есть один просвет – моя невеста, ее любовь. Посмотрите, дон Пабло, вот ее фотография. Если я скажу ей, что вы держали в руках эту фотографию, она будет рада без памяти.

Он протянул мне снимок улыбающейся девушки.

– Она меня любит из-за вас, дон Пабло, из-за ваших стихов, которые мы с ней знаем на память.

И вдруг он возьми и начни читать:

Из глубины тебя в глаза мне смотрят  
глаза еще несбывшегося сына...

В этот миг с треском распахнулась дверь, и я увидел моих приятелей, которые явились вместе с карабинерами. Я обвел взглядом их оторопевшие лица и не спеша вышел на улицу. А тот человек остался в коридоре, и мне вслед звучали слова:

Во имя этой жизни наши жизни  
должны, родная, слиться воедино...<sup>209</sup>

На этот раз он был сражен поэзией.

Самолет, пилотируемый Пауэрсом, летевшим со шпионским заданием над советской землей, упал с невероятной высоты. В поднебесье его настигли две фантастические ракеты. Журналисты тотчас устремились в глухое, спрятанное в го-

---

<sup>209</sup> «Farewell» («Прощай»), перевод С. Гончаренко.

рах место, откуда были произведены точные выстрелы.

Ракетчики – двое простых парней – жили в неоглядном море елей и снегов. Они любили яблоки, шахматы, играли на аккордеоне, читали книги и всегда были начеку. Они точно прицелились, защищая широкое небо своей родины.

Их забросали вопросами:

– Что вы любите из еды? Кто ваши родители? Нравятся ли вам танцы? Какие книги читаете?

Один из солдат ответил, что они читают стихи, и добавил, что его любимые поэты – Пушкин и чилиец Пабло Неруда.

Я испытал огромное удовольствие, узнав об этом. Мне хочется думать, что в той ракете, которая взлетела в такую непостижимую высь и заставила так низко пасть зарвавшуюся гордыню, был пылающий атом моей поэзии.

## Поэзия

...Сколько произведений искусства... Им не уместиться в нашем мире. Их надо вывешивать за окно... Сколько книг... сколько книжечек... Кто способен прочесть все это?... Если бы они были съедобны... Раздразнить бы аппетит да сделать из них салат, приправить бы, поперчить... Дальше так нельзя... Мы уже сыты ими по горло... Мир тонет в их приливной воде... Реверди<sup>210</sup> сказал мне однажды: «Я предупредил на почте, чтобы мне не посылали их домой. Нет сил раскрывать новые книги. Нет для них места... Они всюду, они карабкаются по стенам, так недолго и до беды – я боюсь, что они обрушатся мне на голову»... Все чилийцы знают нашего Хорхе Элиота... Пока Элиот не стал художником и режиссером, пока не начал писать блистательные критические статьи, он читал мои стихи... Мне это льстило... мало кто понимал их лучше. Но однажды он принялся читать мне свои стихи, и я, как последний эгоист, удрал от него, крича: «Не надо, не надо!..» Я заперся в ванной, но он, стоя под дверью, прочел все до конца... мне стало грустно... Присутствовавший при этом шотландский поэт Дональд Фрейзер сказал мне с укором: «Почему ты так обращаешься с Элиотом?...» Я ответил: «Мне страшно потерять моего читателя. Я его взлелеял. Ему знакома каждая морщинка

---

<sup>210</sup> Реверди Пьер (1889–1960) – французский поэт.

моей поэзии. У него столько талантов... Он может рисовать... может писать эссе... А я хотел удержатъ, сохранить в нем читателя, ухаживать за ним, как за редким растением... Ты понимаешь меня, Фрейзер...». Ведь, честно говоря, если все останется по-прежнему, поэты будут писать только для поэтов... Каждый поэт станет подсовывать в карман другому свои творения... свои стихи... или подложит их на тарелку соседа... Кеведо положил однажды стихи на прикрытое салфеткой блюдо короля... В этом есть свой смысл... Или в том, чтобы поэзия вышла на залитую солнцем площадь... Или в том, чтобы книги были истрепаны, замусолены пальцами человеческой толпы. Когда поэта печатают для поэта, я не чувствую никакого интереса, меня это не волнует, не зажигает, напротив, мне хочется затаяться где-нибудь среди скал, у волн, подальше от издательств, от печатных страниц... Поэзия потеряла связь с далеким читателем... Надо восстановить ее... Надо идти в неведомое, сквозь мрак, и встретиться с сердцем мужчины, с широко раскрытыми глазами женщины, с незнакомыми прохожими, которым в закатный час или в звездную ночь будет необходимо хотя бы одно-единственное твоё стихотворение... Эта встреча с непредвиденным стоит всех усилий, всего прочитанного, всего изученного... Надо затеряться среди тех, кого мы не знаем, чтобы они нашли частицу нас на улице, в песне, в листьях, которые тысячелетие за тысячелетием падают в том же лесу... чтобы люди со всей



*нежностью и верой подняли наше творение... лишь тогда  
мы – истинные поэты... И в том пребудет поэзия...*

# Неразлучно с испанским языком

Я родился в 1904 году. В 1918 году впервые напечатали мое стихотворение. В 1923 году вышла в свет моя первая книга «Собранье закатов». Эти мемуары я пишу в 1973 году. Значит, минуло пятьдесят лет с того волнующего момента, который переживает поэт при первом крике своего печатного творенья – беспокойного, живого, требующего к себе внимания, как любой новорожденный ребенок.

Когда всю жизнь проводишь с одним языком, когда видишь его во всю длину, ворочаешь с боку на бок, тормошишь, гладишь по животу, ерошишь ему волосы – это уже такая близость, при которой он становится частью тебя самого. Так у меня получилось с испанским языком. У разговорного языка свои измерения. А язык, на котором мы пишем, достигает порой самой непредвиденной протяженности. Писатель раскрывается в том, как он использует этот язык, который может быть для него одеждой или кожей собственного тела; язык со своим дыханьем, с рукавами, заплатами, пятнами крови и пота... Ведь это и есть стиль.

Я жил в эпоху, взбудораженную революциями во французской культуре. Они очень привлекали меня, но ни одна не пришлась мне впору. Уидобро, наш чилийский поэт, взял на себя заботу о французских модах и блистательно приспособил их к своему существованию и самовыражению. Мне ду-

мается, он не раз превосходил французские образцы. Нечто похожее, но более масштабное, произошло, когда в испанскую поэзию вторгся Рубен Дарио. Но Рубен Дарио – это громадный зычноголосый слон, который перебил все стекла целой эпохи испанского литературного языка, для того чтобы в нее проник свежий воздух. И он проник.

Порой нас, латиноамериканцев, и испанцев разъединяет испанский язык. Скорее, нас делит надвое дух языка. Стылая красота Гонгоры не подходит для наших широт, а ведь нет, пожалуй, испанской поэзии, даже самой новейшей, без привкуса гонгоровской пышности. Наш американский покров создан из раздробленного камня, из раскрошенной вулканической лавы, из глины, пропитанной кровью. Мы не умеем шлифовать стекло. В стихах наших изощренных приверженцев изящной словесности – гулкая пустота. Достаточно одной капли вина «Мартина Фьерро»<sup>211</sup> или темно-янтарного меда Габриэлы Мистраль, чтобы понять, что этим ювелирным поэтам самое место в салоне, где они чинно стоят, как вазы с чужеземными цветами.

После Сервантеса испанский язык покрылся позолотой, он приобрел придворную изысканность и утратил дикую силу, которой его наделили Гонсало де Берсео<sup>212</sup> и «Протопре-

---

<sup>211</sup> «Мартин Фьерро» – поэма аргентинского поэта Хосе Эрнандеса (1834–1886), посвященная жизни аргентинских пастухов – гаучо.

<sup>212</sup> Гонсало де Берсео (1195? – 1246) – испанский поэт, первый известный в истории автор стихов на испанском народном языке.

свитер Итский»,<sup>213</sup> утратил плотскую детородную страсть, что еще пылала в Кеведо. То же произошло в Англии, во Франции, в Италии. Необузданный, безудержный язык Чосера,<sup>214</sup> Рабле был выхолощен; в тончайшей петрарковской выделке засверкали всеми гранями изумруды и бриллианты, но источник подлинного величия стал иссякать.

Этот источник под стать цельному человеку, с льющейся через край щедростью и широтой чувств.

Именно эта проблема встала передо мной, хотя я не формулировал ее так, как сейчас. И если моя поэзия имеет какую-то значимость, то причиной тому ее стремление к пространству, к безграничности, стремление, которому тесно в четырех стенах. Я сам должен был перейти свою границу, но линию ее я никогда не проводил за кулисами чужестранной культуры. Я старался остаться самим собой и достичь такой же необозримой протяженности, какая есть у земли, на которой мне выпало родиться. Другой поэт нашего континента помог мне идти этим путем. Это – Уолт Уитмен,<sup>215</sup> мой товарищ из Манхаттана.

---

<sup>213</sup> «Протопресвитер Итский» – прозвище Хуана *Ruysa* (1283? – 1343?), испанского поэта, автора поэмы «Книга благой любви».

<sup>214</sup> *Чосер* Джеффри (1340–1400) – английский поэт.

<sup>215</sup> Уолт *Уитмен* (1819–1892) – североамериканский поэт.

## А страдают пусть критики

По сути, «Песни Мальдорора» – роман в духе тех, что печатались в воскресных приложениях газет. Не забывайте, что его автор Изидор Дюкас взял псевдоним «граф де Лотреамон» из романа, который был написан в 1837 году мастером авантюрно-демонических сюжетов – Эженом Сю.<sup>216</sup> Но мы знаем, что уругвайский Лотреамон ушел дальше французского Лотреамона. Он спустился куда ниже – ему хотелось стать поэтом ада. Он поднялся куда выше – ему хотелось стать проклятым архангелом. В непомерности своих страданий Мальдорор сочетает браком Небеса и Ад. Гнев, восторг и предсмертная агония нагнетают волны дюкасовской риторики. Мальдорор – это Мальдолор.<sup>217</sup>

Но Лотреамон увидел новые пути своего творчества, он отрекся от мрачного лика и написал предисловие к задуманному циклу оптимистических, жизнеутверждающих стихов, которые так и не сумел закончить. В Париже его настигла смерть. За несбывшееся обещание перемены, за порыв к доброте, к духовному здоровью поэта подвергли суровой критике. Его почитали за страдание и осудили за стремление к радости. Поэту положено мучиться и страдать, пребывать в отчаянии и неотступно писать скорбные стихи. Так счита-

---

<sup>216</sup> Эжен Сю (1804–1857) – французский писатель

<sup>217</sup> Мальдолор – от *исп.* mal dolor – великая скорбь.

ли люди определенных кругов, определенного класса. Этому категоричному повелению покорились многие поэты. Покорились непреложности страдания, которое навязывалось неписаными, но неумолимыми законами. Невидимые законы обрекли поэтов на трущобы, на рваные башмаки, на больницы, на морг. И все были довольны. Минутные слезы празднику не помеха.

С тех пор многое изменилось, ибо изменился мир. И мы, поэты, внезапно возглавили бунт радости. Писатель-мученик, писатель, распятый на кресте, – это приобщалось к ритуалу счастливого благополучия, придуманному капитализмом на его закате. Ловкие воспитатели буржуазного вкуса возвеличили страдание, утверждая, что лишь в нем источник подлинного вдохновения. Безумство и душевные муки стали рецептами поэтического творчества. Гёльдерлин – лунатик и страдалец, Рембо – неприкаянный бродяга, Жерар де Нерваль,<sup>218</sup> повесившийся на фонаре в жалком закоулке, – все они не только явили миру пароксизм красоты, но и прочертили долгий путь мучений. Этот путь в терновом венце стал неизбежностью, догмой творчества.

Дилан Томас<sup>219</sup> – последний, кому было предопределено попасть в список мучеников.

Странно, что взгляды толстокожей и отставшей от времени буржуазии еще властвуют над некоторыми умами. Над

---

<sup>218</sup> Жерар де *Нерваль* (1808–1855) – французский поэт.

<sup>219</sup> Дилан *Томас* (1914–1953) – английский поэт.

умами тех, кто не может услышать, как бьется пульс на носу нашей планеты, вдыхающей все запахи грядущего.

Некоторые критики явно принадлежат к семейству тыквенных: боясь не поспеть за модой, они изо всех сил тянутся своими усиками туда, где полыхает ее недолговечный цветок, но их корни увязают в прошлом.

Мы, поэты, имеем право быть счастливыми, если мы едины с нашим народом, с борьбой за его счастье.

«Пабло – один из немногих счастливых людей, которых я знаю», – сказал Эренбург в какой-то из своих книг. Пабло – это я. И Эренбург не ошибся.

Вот почему меня мало удивляет, что премудрые эссеисты, усердствующие в наших еженедельниках, заняты вопросом моего материального благополучия, хотя, казалось бы, личная жизнь не должна быть темой литературной критики. Я понимаю, что слишком явное счастье многим не по душе. Но дело в том, что я счастлив изнутри. У меня спокойная совесть и беспокойный ум.

И на месте критиков, пытающихся упрекать поэтов в безбедной жизни, я бы гордился тем, что их книги печатают, покупают, что они дают пищу литературной критике. Я бы радовался, что порой соблюдаются авторские права и что некоторые писатели, пусть хоть немногие, могут существовать за счет своего честного святого труда. Критики должны гордиться этим, а не «подбрасывать волосы в тарелку с супом».

Недавно я прочел несколько страниц, которые мне по-

святит священник – блистательный критик; блистательность слога не спасла его от заблуждений.

По мысли этого критика, моя поэзия перенасыщена счастьем. Он предписал мне печаль. Если следовать его взглядам, аппендицит может вдохновить на прекрасную прозу, а перитонит – на самые возвышенные гимны.

Но мой поэтический материал и поныне – это все, что вокруг меня, и все, что во мне самом. Я – всеяден. Мне нужны все чувства, люди, книги, события, битвы. Я бы съел всю землю. И выпил бы все море.



# Стихи короткие и длинные

Как поэт активный, я сумел побороть собственную самоуглубленность. Во мне самом решался спор между реальным и субъективным. Я не претендую на роль наставника, но думаю, что мой опыт может пригодиться. Давайте посмотрим, как было дело со мной.

Моя поэзия удостоивалась внимания самой высокой критики и подвергалась нападкам в злобных пасквилях. Это входит в игру. И тут сказать нечего, хотя право голоса у меня есть. Для серьезной критики мой голос – это мои книги, вся моя поэзия. Есть у меня право голоса и для враждебного пасквиля: это снова моя поэзия, мое непрерывное поэтическое творчество.

Вы будете правы, если припишете нескромности, гордыне то, о чем я скажу, но это нескромность ремесленника, труженика, который с неизменной любовью отдается одному и тому же делу.

Я доволен: так или иначе я заставил уважать, по крайней мере у себя на родине, труд поэта, профессию поэта.

В те времена, когда я только начинал писать стихи, у нас существовало два вида поэтов. Одни – вельможные стихотворцы, которых почитали за богатство, – оно помогало им добиваться заслуженного или незаслуженного признания. Другие составляли семью воинствующих бродяг от по-

эзии, героев винных погребков, пленительных безумцев и одержимых лунатиков. Не забудем и о тех, кто, подобно каторжникам на галерах, был прикован к чиновничьим стульям. Их мечту душили горы проштемпелеванной бумаги, мучительный страх перед начальством и боязнь показаться смешными.

Я ринулся в жизнь более нагой, чем Адам, но полный решимости отстоять цельность своей поэзии. Мое упорство помогло мне самому и положило конец зубоскальству многих дуралеев. Со временем те из них, у кого были сердце и совесть, как добропорядочные люди воздали должное главному, что звучало в моих стихах. Ну, а злопыхатели стали меня сторониться.

Вот так Поэзия с большой буквы обрела уважение. И не только поэзия, но и поэты. Поэты, как таковые, и поэзия, как таковая.

Это моя гражданская заслуга, которую у меня никому не отнять, и эту заслугу мне нравится носить, как орден. О других вещах можно спорить сколько угодно, но то, о чем я говорю, – принадлежит истории.

Закоренелые враги поэта хватаются за всевозможные и уже бессмысленные доводы, В молодости меня корили тем, что я вечно голоден. Теперь распускают злобные слухи о моем якобы сказочном богатстве, которым я бы не прочь обладать, хотя бы назло своим клеветникам.

Находятся и такие, что вымеряют строки моих стихов,

стараясь доказать, что я умышленно дроблю их или намеренно растягиваю. Все это сплошной вздор. Кто вправе навязать поэту стихи более короткие или более длинные, более узкие или более широкие, более красные или более Желтые? Это определяет поэт – их создатель. Определяет своим дыханием, своей кровью, своей мудростью и своим неведением, потому что на всем этом замешивается хлеб поэзии.

Поэт, который не стал реалистом, – ни живой ни мертвый. Но поэт, ставший только реалистом, – ничуть не лучше. Иррациональный поэт доступен лишь самому себе или своей возлюбленной, что весьма прискорбно. Рационального поэта поймут и ослы, что еще более прискорбно. Для этих уравнений нет готовых ответов, и ни бог, ни дьявол не дают рецептов, как писать стихи. Оба они вступают в единоборство внутри самой поэзии. Побеждает то один, то другой, но сама поэзия не знает поражений.

Честно говоря, ремеслом поэта начинают злоупотреблять. Наплодилось столько новых поэтов и начинающих поэтесс, что скоро все окажутся поэтами, а читатели переведутся. Придется посылать на поиски читателей целые экспедиции, которые пересекут пустыни на верблюдах или устремятся в небо на звездолетах.

В человеке заложена глубокая тяга к поэзии, и она породила литургии, псалмы и само содержание религий. В далекие времена поэт дерзнул посягнуть на силы природы и назвался жрецом, чтобы защитить свое поэтическое призва-

ние. Сегодня поэт, отстаивающий свою поэзию, принимает тот сан, который дают ему улица и народ. Современный гражданский поэт – наследник самого древнего священнослужителя. Но прежде поэт заключал союз с мраком, а теперь его долг – осмыслить свет.

# Оригинальность

Я не верю в оригинальность. Это еще один фетиш, созданный в нашу эпоху головокружительных разрушений. Я верю в личность, которая проступает в любом языке, в любой форме, в любом виде художественного творчества. Оригинальность, граничащая с бредом, – это современное изобретение, это надувательство из арсенала предвыборных кампаний. Находятся такие, кто мечтает быть избранным на роль Первого Поэта своей страны, своего языка, целого мира. Они-то и бегают в поисках избирателей и поливают грязью тех, кто, по их мнению, оспаривает право на скипетр. Их стараниями поэзия превращается в некий маскарад.

Л между тем главное – сохранить внутреннюю управляемость, контроль над ростом, которому способствует и природа, и культура, и общественная жизнь, стремящиеся развить все стороны поэтического таланта.

В старые времена самые благородные в взыскательные к себе поэты, например, Кеведо, писали стихи с пометкой: «В подражание Горацию», «В подражание Овидию», «В подражание Лукрецию».

Я стараюсь сохранить собственный голос, который черпает силы в собственной природе, как и все живое на земле. Несомненно, в моих первых книгах главенствует чувство. И горе поэту, не способному откликнуться песней на нежные

или яростные призывы сердца. Но накопленный мною сорокалетний опыт говорит, что в поэтическом произведении можно более осознанно властвовать над чувством. Я верю в управляемую стихийность. Для этого нужны резервы, запасы, которые следует держать под рукой, ну, скажем, в кармане, на случай крайней необходимости. В первую очередь, это запасы наблюдений над формой, запасы слов, звуков, образов – всего, что роится, точно пчелы, над поэтом. Надо ловить их на лету и прятать во внутренний карман. Насчет этого я очень ленив, но знаю, что совет мой хорош. У Маяковского была записная книжка, в которую он непрерывно заглядывал. Есть еще и запасы чувств. Как их сберечь? Надо осмыслить их в тот момент, когда они возникают. Потом, сидя перед белым листом бумаги, мы вспомним все осмысленное, и оно будет более ярким, чем породившее его чувство.

В доброй части моих произведений я хотел доказать, что поэт может писать о том, что ему указано временем, о том, что необходимо человеческому обществу. Почти все великие произведения древности созданы на заказ. Возьмем, к примеру, «Георгики»,<sup>220</sup> восхваляющие труд земледельцев в Древнем Риме. Поэт вправе писать для университета или профсоюза, для людей разных профессий и занятий. Но при этом он не теряет своей свободы. Магическое вдохновение и общение поэта с богом – вымысел корысти. В момент наивысшего творческого накала рождается то, что отчасти чуж-

---

<sup>220</sup> «Георгики» («Поэма о земледелии») написана Вергилием в 36–29 гг. до н. э.

до вдохновения, что идет от прочитанной книги, от влияния извне.

Пожалуй, я прерву эти слишком теоретические рассуждения и отдамся воспоминаниям о литературной жизни времен моей молодости.

Художники и писатели метались в глухом петерпении. В живописи и поэзии царил некий осенний лиризм. Каждый хотел быть самым большим анархистом, разрушителем, самым ярым врагом порядка. Чилийское общество лихорадило. Алессандри произносил зажигательные речи. В селитряной пампе возникли рабочие организации, благодаря которым в Чили развернулось самое значительное на континенте движение народных масс. Это были священные дни борьбы. Вождями анархистов стали Карлос Викаунья и Хуан Гандульфо. Я тотчас присоединился к студентам – анархо-синдикалистам. «Сашка Жегулев» Леонида Андреева стал моей любимой книгой. Другие увлекались порнографическими романами Арцыбашева и приписывали им идеологическое звучание. То же происходит сейчас с порнографией экзистенциалистского толка. Интеллектуалы отводили душу в ночных тавернах. Старое вино преображало нищету: она сияла чистым золотом до самого рассвета. Завсегдатаи кабачков спали днем, а ближе к ночи отправлялись туда, где вино наливали из бочек. Богемная жизнь довела до гибели необычайно одаренного поэта – Хуана Эганью. Рассказывают, что он пришел однажды в заброшенный дом и оставил

там все деньги, доставшиеся ему по наследству. Но поэзия Хуана Эганьи лунным светом пронизала всю нашу «Лирическую сельву»... Так романтично называлась большая антология чилийских поэтов-модернистов, которую составили Молина Нуньес и О. Сегура Кастро. «Лирическая сельва» – великая, всеобъемлющая и щедрая книга, Поэтический Итог целой эпохи, смятенной, означенной огромными пустотами и чистым сиянием. В те времена меня поражал человек, ставший диктатором молодого литературного поколения. Теперь о нем мало кто помнит. Звали его Алирио Ойярсун. Он был бесплотным бодлерианцем, декадентом высокой пробы, чилийским Барбой Хакобом,<sup>221</sup> мертвенно-бледным лунатиком, прекрасным и одержимым. Его глухой голос падал откуда-то с высоты его огромного роста. Алирио Ойярсун ввел особый иероглифический стиль раздумий над проблемами эстетики, которые рьяно обсуждались в литературных кругах того времени. Он сразу впадал в торжественный тон. Его высокий лоб был похож на желтый купол некоего храма мудрости. Алирио изрекал: «Круглое круга», «Дионисское Диониса», «Темное всех темнот». Но этот человек вовсе не был глуп. Он соединил в себе адово и райское начала культуры. Он был космополитом, который убил свою поэтическую сущность ради пустого теоретизирования. Говорят, что свое единственное стихотворение он написал на пари, и я не понимаю, почему его нет ни в одной антологии

---

<sup>221</sup> *Барба Хакоб* Порфирио (1883–1942) – колумбийский поэт-символист.



ЧИЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ.

# Бутылки и корабельные ростры

Скоро рождественские праздники. Каждое новое рождество приближает нас к 2000 году. Во имя грядущей радости, во имя завтрашнего мира, всеобщей справедливости и набатного звона колоколов, который возвестит год 2000-й, сражались и пели мы, поэты нашего времени.

Где-то в тридцатые годы Сократес Агирре, прекрасный и тонкий человек, под началом которого я работал в консульстве в Буэнос-Айресе, попросил меня нарядиться на рождество дедом-морозом. Многие в своей жизни я делал плохо. Но, пожалуй, хуже всего я был в роли деда-мороза. У меня отклеились накладные усы, и я совершенно запутался, распределяя подарки. А голос? Мыслимо ли мне изменить свой голос, если с самого детства по милости дождливого чилийского юга я говорю в нос так, что меня узнает любой? Правда, я пошел на хитрость – решил говорить с детьми по-английски. Но несколько пар синих и черных глаз выказали мне куда больше недоверия, чем это полагалось благовоспитанным детям.

Мог ли я подумать тогда, что кто-то из этих детей станет моим близким другом. Я говорю о своем лучшем биографе, об известной чилийской писательнице Маргарите Агирре.

У меня в доме полно больших и маленьких игрушек, без них я не мог бы жить на свете. Ребенок, не любящий игру-

шек, – не ребенок. Взрослый, не любящий игрушек, утратил в себе ребенка, который ему очень нужен. Я и дом свой построил как большую игрушку и играю в нее с утра до ночи.

Это мои собственные игрушки. Я собирал их всю жизнь со строго «научной целью» – не скучать в одиночестве. Когда-нибудь я напишу о них маленьким детям, да и детям всех возрастов.

У меня есть бутылка с игрушечным парусником внутри. Честно говоря – не одна, а много. Целая флотилия парусников, вставленных в бутылки. У каждого – свое имя, мачты, паруса, снасти, якоря, корма, нос. Некоторые приплыли сюда издалека. Один из самых красивых парусников прислали мне из Испании в счет гонорара за мою книгу «Оды изначальным вещам». На его главной мачте развевается наше чилийское знамя с маленькой одинокой звездой. Но многие парусники, чуть ли не все, смастерил Карлос Холяндер. Дон Холяндер – старый моряк, он сделал для меня миниатюрные копии знаменитых, величественных кораблей Гамбурга, Салема, Франции, которые приплыли в наши южные воды, чтобы загрузить свои трюмы селитрой или отправиться на охоту за китами.

Когда я пускаюсь в путь по долгой отлогой чилийской дороге, чтобы навестить старого моряка в южном порту Коронель, где льют дожди и стоит запах угля, я знаю, что меня ждет встреча с самой маленькой судостроительной верфью в мире. В крохотной гостиной, в столовой, на кухне, в саду

– везде собрано, выстроено в четком порядке все то, что потом оказывается в прозрачных бутылках из-под перуанской водки – писко. Дону Карлосу стоит дунуть в свой чудодейственный свисток, как в бутылку попадают палубы и паруса, мачты и реи. Даже легкий, почти незримый портовый дымок, просачиваясь сквозь его пальцы, становится новым корабликом – нарядным, сверкающим, готовым уйти в плаванье по химерическому морю.

Кораблики, сделанные скромными руками старого моряка из Коронеля, сразу отличишь от корабликов, купленных мною в Марселе или Антверпене. Он не только вдохнул жизнь в свои творения, но и рассказал о них все, что знал. На каждой бутылке – этикетка, где значится имя корабля, с которого сделана модель, перечислены все его подвиги и плаванья среди ветров и бурь, все грузы, которые он перевозил по Тихому океану, мелькая в его волнах белыми парусами, что навсегда ушли в прошлое.

В моих бутылках есть такие знаменитости, как могущественный «Потоси» и величественная «Пруссия» из Гамбурга, затонувшая в Ла-Манше в 1910 году. А как я обрадовался, когда мастер Холяндер сделал мне две модели «Небесной Марии», которая в 1882 году обернулась звездой, самой таинственной тайной.

Я не склонен раскрывать секреты мастерства, которые прячутся за прозрачным стеклом. И не стану рассказывать, как всплывают в бутылки крохотные корабли. Я – профес-

сиональный обманщик и в целях мистификации в одной из од подробно описал кропотливую и деликатнейшую работу загадочных кораблестроителей. Я рассказал о том, как они входят в бутылки и как выходят на свободу. И все же тайна осталась нераскрытой.

Мои самые большие игрушки – это ростры, украшения носовой части корабля. Как и многие мои вещи, эти корабельные ростры не раз появлялись на фотографиях в газетах и журналах. Об этих игрушках толкуют по-разному – кто благожелательно, а кто с издевкой. Те, кто ко мне расположен, понимающе смеются: «Ну и чудак! Нашел что коллекционировать!»

А злопыхатели судят по-своему. Один из них – я очень досадил ему синим флагом с белой рыбкой, развевающимся над моим домом в Исла-Негра, – сказал: «Вот у меня нет собственного флага и нет никаких ростров». Бедняга чуть не заплакал, точно завистливый мальчишка, которому вынь да положь такой же волчок, как у других ребят. А пока что мои морские ростры расплывались в улыбке, довольные тем, что вызывают неприкрытую зависть.

Правильнее назвать их корабельными рострами. Эти морские скульптуры, поясные статуи – символы океана былых времен. Строя корабль, человек прилаживал к его носовой части фигуры тотемических птиц и мифологических животных, вытесанных из дерева. Нос корабля, разрезавшего вол-

ны, имел для человека высокий смысл. А позднее, уже в XIX веке, китобойные судна стали украшаться символическими скульптурами. Это были полуобнаженные богини или республиканки во фригийских колпаках.

У меня есть статуи мужчин и женщин. Самую очаровательную – ее не раз порывался забрать Сальвадор Альенде – зовут Мария Небесная. Она принадлежала небольшому французскому судну, быть может, ничего не выдававшему в своей жизни, кроме Сены. Маленькая темная статуя вырезана из дуба; годы и плаванья превратили ее в смуглянку. Похоже, что она летит, – ее красивые одежды времен Второй Империи развеваются на ветру. На щеках у нее ямочки, а фаянсовые глаза устремлены вдаль. И вот, хотите верьте, хотите нет, – эти глаза плачут каждую зиму. Никто не может объяснить, в чем тут дело. Должно быть, прокаленное дерево чем-то пропитано и вбирает в себя много влаги? Не знаю. Знаю только, что эти прелестные французские глаза плачут; каждую зиму я вижу, как крупные прекрасные слезы скатываются по личику Небесной Марии.

И христианские и языческие образы всегда пробуждают в человеке религиозное чувство. Одна из моих статуй долгие годы стояла в саду, в самом, казалось бы, подходящем месте – лицом к морю, наклонившись вперед, словно на носу плывущего корабля. Однажды вечером мы с Матильдой обнаружили несколько женщин, преклонивших колени перед нашей статуей; возле нее горели маленькие свечи. Набож-

ные женщины перелезли к нам через забор точно так, как это делают прыткие журналисты, чтобы взять у меня интервью. Быть может, в нашем саду зарождалась новая религия? Величавая статуя очень походила на Габриэлу Мистраль, но мы все же постарались убедить набожных женщин в том, что статуя – не святая. И чтобы они не поклонялись этой морской даме, побывавшей во всех греховных морях нашей греховной планеты, я извлек ее из сада и поставил поближе к себе, у камина.

## Книги и раковины

У библиофила, если он беден, много поводов для огорчений. Про такого не скажешь, что книги выскальзывают у него из рук, – ему до них не достать: они пролетают над ним на высоте птичьего полета – на высоте своей цены.

Но порой в награду за усердие библиофилу попадается и жемчужина.

Мне помнится, с каким изумлением посмотрел на меня в 1934 году Гарсиа Рико – владелец мадридского книжного магазина, когда я предложил ему продать мне в рассрочку – двадцать песет ежемесячно – старинное издание Гонгоры, стоившее всего сто песет. По тем временам сто песет – не деньги, но у меня их не было. Я платил точно в срок на протяжении пяти месяцев. Книга была напечатана в XVII веке фламандцем Фоппенсом, который издавал испанских классиков Золотого века, используя великолепные шрифты.

Мне и сегодня нравится читать Кеведо в старинных изданиях, где строки сонетов выстроены боевыми рядами, точно несокрушимые корабли. Со временем мне удалось проникнуть в дебри книжного мира – туда вели глухие тропы окраинных книжных лавчонок и соборные нефы колоссальных книжных магазинов Франции и Англии. Руки мои покрывались пылью, но порой мне случалось обрести истинное сокровище или хотя бы радость, что я его откопал.



Звонкая монета литературных наград дала мне возможность купить несколько книг по умопомрачительным ценам. У меня образовалась солидная библиотека. Яркими молниями сверкали в ней старинные поэтические книги, а моя давняя страсть к естественным наукам обернулась полыхающим многоцветьем огромных книг по ботанике, книг о птицах, насекомых и рыбах. Разъезжая по свету, я наталкивался на удивительные книги о путешествиях, на самые великолепные издания «Дон Кихота», отпечатанные Ибаррой;<sup>222</sup> книги Данте ин-фолио, с прекрасным шрифтом «бодони»; а однажды мне попался Мольер, изданный в нескольких экземплярах «adusum delphini»<sup>223</sup> – для сына короля Франции.

Но вообще-то самое прекрасное из всего, что я коллекционировал, – это раковины. С истинным наслаждением разглядываю я их поразительное устройство: лунную чистоту, сотворенную из таинственного фарфора, и бесконечное многообразие форм – осязаемых, готических, объемных, функциональных.

Тысячи крохотных дверок подводного мира распахнулись передо мной после того, как я познакомился с доном Карлосом де ла Торре, знаменитым кубинским малакологом, который подарил мне лучшие экземпляры своей коллекции. С той поры во всех семи морях и океанах, всюду, куда забрасывала меня судьба, я выслеживал, выискивал чудесные ра-

---

<sup>222</sup> Ибарра Хоакин (1726–1785) – известный испанский книгопечатник.

<sup>223</sup> Для престолонаследника (*лат.*).

ковины. Но честно говоря, больше всего раковин я нашел в море Парижа, в череде его волн. Весь перламутр океанских вод перекочевал в Париж, в лавки натуралистов и на развалы Блошиного рынка.

Нелегко разыскивать раковины в узких расщелинах подводных скал где-нибудь в Нижней Калифорнии или Веракрусе. Куда проще разглядеть в путанице городских водорослей, среди сломанных ламп и изношенной обуви изящный силуэт *Oliva Textil*<sup>224</sup> или обнаружить вдруг кварцевое копьё *Rosellaria Fusus*, длинное, как поэма, сложенная морем. С чем сравнить радость, которую я испытал, когда в моих руках оказалась *Espondylus Roseo* – огромная раковина, униженная коралловыми шипами. А что было со мной, когда я впервые узрел *Espondylus Blanco* в белоснежных иглах, похожих на сталагмиты гонгоровской пещеры.

Некоторые из этих трофеев имеют, пожалуй, историческую ценность. В Пекинском музее из священной коробочки с раковинами Китайского моря мне преподнесли один из двух уникальных экземпляров *Thatcheria Mirabilis*. Вот так к моим сокровищам прибавилась эта чудо-раковина, которую океан подарил когда-то Китаю, а вместе с ней – стиль его храмов и пагод, выдержавший все испытания временем.

Три десятилетия я собирал свою библиотеку. На моих полках есть такие редкие книги, которые я не могу взять в

---

<sup>224</sup> Здесь и далее даются латинские названия раковин.

руки без волнения. Это Кеведо, Сервантес, Гонгора в прижизненном издании. А еще Лафорг,<sup>225</sup> Рембо, Лотреамон. Мне кажется, что пожелтевшие страницы этих книг хранят следы прикосновения рук любимых поэтов. У меня были рукописи Рембо. Поль Элюар подарил мне в день моего рождения два письма Изабеллы Рембо,<sup>226</sup> адресованные матери. Эти письма были написаны в марсельской больнице, где Артюру Рембо – вечному скитальцу – ампутировали ногу. Мои сокровища мечтали заполучить и Национальная библиотека Франции и ненасытные библиофилы Чикаго.

Я столько странствовал по свету, что моя библиотека разрослась и вышла из берегов домашней библиотеки. В один из дней я подарил большую коллекцию раковин, собранную мной за двадцать лет, и те пять тысяч томов, которые я с такой истовостью приобретал в разных странах мира. Я подарил все это Национальному университету Чили. Мой дар был встречен восторженными словами ректора.

Любой чистосердечный человек считал бы, что этот дар чилийцы примут с большой радостью. Но на свете есть люди, не верящие в чистосердечие. Нашелся один критик, подвизавшийся в официальной прессе, который написал несколько злопыхательских статей по этому поводу. Мой поступок привел его в ярость. «Когда мы преградим путь международному коммунизму?» – вопрошал он. Другой тип обрушился

---

<sup>225</sup> *Лафоре* Жюль (1860–1887) – французский поэт-символист.

<sup>226</sup> *Изабелла Рембо* – сестра поэта А. Рембо.

в парламенте на университет, принявший мои замечательные книги, и пригрозил ректору, что лишит университет государственной субсидии. Ректор в полой растерянности метался по коридорам парламента.

С тех пор минуло двадцать с лишним лет, но никто не увидел ни моих книг, ни моих раковин. Не вернулись ли они в книжные лавки и в моря-океаны?

## Разбитые стекла

Три дня назад, после долгого перерыва, я снова открыл двери своего дома в Вальпараисо. Стены его были испещрены глубокими трещинами. Осколки стекла выстлали пол печальным ковровым узором. Лежащие на полу часы упрямо показывали время, когда началось землетрясение. Сколько здесь было прекрасных вещей, а теперь Матильда выметает метлой все, что от них осталось. Сколько удивительных творений превратила в мусор, в обломки содрогнувшаяся земля.

Мы должны убрать, привести все в порядок, начать все сызнова. Нелегко отыскать лист чистой бумаги среди этого разгрома, а еще труднее найти собственные мысли.

Мои последние работы – перевод «Ромео и Джульетты» и большая поэма о любви, которую я решил написать в старинном ритме и пока еще не закончил.

Ну что ж, моя поэма о любви, восстань из груды разбитого стекла, пришел час слагать песни.

Помоги мне, поэма о любви, восстановить целостность Жизни и воспеть страдание.

Это правда, что мир еще не избавился от войн, еще не отмылся от крови, не очистился от ненависти. Это правда.

Но правда еще и то, что мы все явственнее понимаем одну истину: в зеркале мира отражается насилие, и лик его про-

тивен ему самому.

Я все так же верю в возможность любви. И твердо знаю, что ценой страданий, крови и разбитых стекол люди достигнут взаимопонимания.

# Матильда Уррутиа, моя жена

Моя жена – из провинции, как и я сам. Она родилась в южном чилийском городе Чильян, который славится народной керамикой и печально известен страшными землетрясениями. Все, что я мог сказать о Матильде, есть в моей книге «Сто сонетов о любви».

Быть может, стихи эти выразили, что она значит для меня. Нас соединили земля и жизнь.

И хотя это мало кого интересует, мы – счастливы. Большую часть нашего общего времени мы проводим на безлюдном побережье Чили. И не летом, когда иссушенная солнцем земля становится желтой, как в пустыне, а зимой, когда дождь и холод, и в странном цветенье все одевается в зеленое и желтое, синее и багряное. Порой мы покидаем наш дикий и одинокий океан и едем в суматошный город – в Сантьяго, где нам обоим тяжело, где мы приобщаемся к сложной жизни других.

У Матильды сильный голос, и она поет песни на мои стихи.

Я посвящаю ей все, что пишу, и все, что имею. Не так уж много, но она довольна.

Сейчас она в саду, и я вижу, как ее крохотные туфельки утопают в размякшей глине. А теперь ее маленькие руки погрузились в глубь разросшегося куста.

От земли ее глаза и голос, ее руки и ноги. Они принесли мне все корни, все цветы, все благоухающие плоды счастья.



## Изобретатель звезд

В номере одного из парижских отелей крепко спал человек. Он был заядлым полуночником, и не удивляйтесь, если я скажу, что его невозможно разбудить даже в полдень.

Но на сей раз ему пришлось проснуться: внезапно рухнула стена слева, и тут же обвалилась та, что напротив его кровати. Нет, это не бомбардировка. Сквозь образовавшееся отверстие в комнату пролезли усатые рабочие с отбойными молотками и принялись его тормошить.

– Eh, lève-toi, bourgeois!<sup>227</sup> Выпей с нами за компанию!

Хлопнула пробка шампанского. В комнату вошел мэр города с трехцветной лептой через плечо. Духовой оркестр грянул первые аккорды Марсельезы. По какому поводу? Оказывается, прямо под комнатой нашего сони встретились два участка новой линии парижского метро.

С той самой минуты, когда этот человек поведал мне свою историю, я решил стать его другом, вернее соучастником, на худой конец – его учеником. Раз в его жизни происходят такие невероятные события, а мне не хотелось упускать ни одного из них, – я решил ездить за ним повсюду. Федерико Гарсиа Лорка, замороженный фантазией этого удивительно-го человека, последовал моему примеру.

Однажды в Мадриде мы с Федерико сидели в пивном баре

---

<sup>227</sup> Эй ты, буржуй, вставай! (франц.)

рядом с фонтаном Кибелы, и вдруг перед нами предстал наш парижский лежебока. Он был при полном параде, как всегда, но мы сразу почувствовали, что с ним что-то неладно. Оказывается, снова произошло невероятное событие. Он сидел спокойно в номере самой скромной гостиницы и только было собрался привести в порядок нотные записи... Да, я ведь забыл сказать, что он был замечательным композитором. Ну так что же стряслось?

– Около гостиницы остановился экипаж. Я услышал шаги на лестнице, потом шум в соседней комнате. И почти тут же новый жилец захрапел. Сначала негромко, но вскоре все кругом начало дрожать. Шкафы и стены сотрясались в такт чудовищного храпа.

Наверняка это был какой-то дикий зверь. Когда храп обернулся грохотом огромного водопада, нашему другу стало ясно, – это Рогатый Кабан – людоед. Во многих странах от его оглушительного храпа рушились дворцы, приходили в негодность дороги, вскипало море. Какая страшная угроза нависла над миром! Что несет Европе это мерзкое чудовище?

Каждый день он рассказывал нам жуткие подробности о великом храпуне. А мы – Федерико, Рафаэль Альберти, скульптор Альберто, Фульхенсио Диас Пастор, Мигель Эрнандес и я – ждали нашего друга с нетерпением и провожали, надеясь на скорую встречу.

Настал день, когда он сказал, улыбаясь во все розовоще-

кое лицо:

– Страшная опасность позади. Немецкий граф Цепеллин согласился увезти на дирижабле это чудовище из Европы и сбросить в бразильской сельве. Громадные деревья его прокормят. Да ему и не выпить зараз всю воду из Амазонки. Пусть оттуда раскатывается его громовой храп по всей земле.

Федерико чуть не задохнулся от смеха. Он слушал, закрыв от удовольствия глаза. Потом наш приятель стал рассказывать, как он однажды хотел послать телеграмму, но телеграфист убедил его в том, что не следует посылать телеграммы, а надо писать письма, потому что люди пугаются всякий раз, когда им приносят эти крылатые вести, и даже были случаи смерти от инфаркта. Потом последовал рассказ о том, как однажды в Лондоне на распродаже чистопородных лошадей, куда его привело обыкновенное любопытство, он помахал рукой своему приятелю, и аукционист, увидя его поднятую руку, присудил ему за десять тысяч фунтов кобылу, которую Ага Хан<sup>228</sup> хотел купить за девять тысяч пятьсот.

– Мне пришлось тащить кобылу в отель и вернуть ее на следующий день.

Теперь великий сочинитель небылиц не расскажет нам ни про кабана, ни про кого другого. Он умер у нас, в Чили. Этот орбитальный, странствующий по земле чилиец, этот распахнутый настежь музыкант и щедрый рассказчик неве-

---

<sup>228</sup> Ага Хан – глава одной из мусульманских сект – секты исмаилитов.

рогатых историй звался при жизни Акарио Котапос. Мне довелось сказать последнее слово на похоронах Акарио, которого нельзя похоронить в памяти. Я сказал только одну фразу: «Сегодня мы предаем мраку светящегося человека, который каждый день дарил нам новую звезду».

## Элюар великолепный

Мой добрый товарищ Поль Элюар умер совсем недавно. В нем была такая целостность, такая материальность, что мне мучительно трудно свыкнуться с его смертью. Элюар – лазорево-розовый нормандец, сильный и хрупкий человек. В первую мировую войну он дважды был отравлен газом, и потому у него дрожали руки. При мысли об Элюаре мне всегда виделась яркая синева неба, тихая глубокая вода и нежность, знающая свою силу. Поэзия Элюара чиста и прозрачна, словно капли весеннего дождя, стучащие в оконные стекла. Можно подумать, что его поэзия чужда политике, что он – аполитичный поэт. Неверно. Элюар всегда был един с народом Франции, с его борьбой и его разумом.

Он был стойким, незыблемым, в чем-то сродни французским башням. Его истовое стремление к ясности противостоит истовой ограниченности, с которой мы сталкиваемся то и дело.

В Мексике, куда мы приехали вместе, я впервые увидел Элюара на краю мрачной пропасти. Грусть и мудрость всегда соседствовали в его душе, а тут на него напала тоска.

Я затащил этого истинного француза в такую даль, а сам в тот день, когда мы хоронили Клементе Ороско, заболел и слег в постель с тяжелым тромбофлебитом на четыре месяца. Поль Элюар чувствовал себя одиноким, беспросвет-

но одиноким, бесприютным странником, ослепшим в пути. Он никого не знал. Двери домов не распахивались ему навстречу. Он тяжело переживал смерть жены и страдал без людей, без любви. Он говорил мне: «Жизнь нужно видеть не одному, а с друзьями, и мы должны участвовать во всех ее проявлениях. Мое одиночество преступно, неправдоподобно».

Я призвал друзей, и мы заставили его сдвинуться с места. С неохотой отправился он в путь по дорогам Мексики, но на одном из поворотов встретил свою любовь, свою последнюю любовь – Доминик.

Мне очень трудно писать о Поле Элюаре. Я по-прежнему вижу его живым; он всегда будет рядом со мной. Электрические всполохи глубинной синевы не погаснут в его глазах, что смотрели в самую широкую ширь из самой дальней дали.

Он плоть от плоти французской земли, где лавры и корни сплетают воедино свое благоуханное естество. Камня и вода подняли его ввысь, и к нему устремились вьюнки, издревле несущие сияние, птичьи гнезда, цветы и прозрачность песни.

Прозрачность – вот оно, найденное слово! Его поэзия была горным хрусталем, водой, застывшей на миг в поющем потоке.

Поэт любви, достигший зенита, чистоты полуденного ковра, бросил свое сердце посреди Франции в ее самые трагические дни, и из этого сердца вырвалось пламя, зовущее

к борьбе.

Просто и органично пришел Элюар в ряды коммунистической партии. Он знал: быть коммунистом – это значит утверждать всей своей поэзией и своей жизнью нетленные ценности человечества и человечности.

Не думайте, что Элюар был меньшим политиком, чем поэтом. Меня не переставала восхищать поразительная четкость его диалектического мышления. Вместе мы обдумывали, обсуждали разные проблемы нашего времени, разные дела, разные человеческие характеры и судьбы, и ясность его мысли помогала и помогает мне во многом.

Элюар не заблудился в дебрях сюрреалистического иррационализма, потому что он не был подражателем. Он был творцом, и, будучи им, он изрешетил пулями своего ясного и чистого ума обреченный на гибель сюрреализм.

Элюар – друг мой насущный. Мне так не хватает хлеба его нежности. Никто не может дать то, что он унес; его братская деятельная дружба была великим благом моей жизни.

Башня Франции, брат мой! Я склоняюсь над твоими закрытыми глазами и всегда буду видеть в них свет, величие, простоту, добро, душевную прямоу и чистосердечие, которыми ты украсил землю.

# Пьер Реверди

Я никогда бы не назвал магической поэзию Пьера Реверди. Это слово стало в наши дни общим местом – оно похоже на шляпу ярмарочного фокусника: лесной голубь не взмлет из ее пустоты.

Реверди был материальным поэтом, он прикоснулся к несметному количеству земных и небесных вещей и каждой дал имя. Дал имя явности и сиянию мира.

Его поэзия подобна кварцевой жиле – подземной, искрящейся, неиссякаемой. Она отсвечивает жестким блеском угольно-черной руды, с трудом добытой из земной тверди. Порой она взлетает огненной искрой, порой прячется в темной галерее рудника, уходя от света, но сливаясь с собственной правдой. Быть может, эта правда, это единство плоти поэзии с природой, это ревердианское спокойствие, эта неизменная верность самому себе – причина того, что о нем забыли. Постепенно его поэзию стали воспринимать как нечто очевидное, простое, привычное – как дом, река, как знакомая улица, которая всегда перед глазами.

Но теперь, когда он ушел, когда он отдан тому безмолвию, что сильнее его собственного безмолвия – гордого и честного, мы поняли, что Реверди – нет, что погасло неповторимое сияние, оно погребено под землей и в небесах.

И я говорю, что его имя воскреснет и восставшим ангелом



опрокинет врата несправедливого забвения.

Без торжественных фанфар, в ореоле звенящей тишины, в ореоле своей великой и неизбывной поэзии он предстанет перед нами в день Страшного суда, в день Праведного суда и ослепит нас безыскусной вечностью своих творений.

## Ежи Борейша

В Польше меня уже не встретит Ежи Борейша.<sup>229</sup> Ему, старому польскому эмигранту, выпала судьба участвовать в восстановлении своей родины. Когда после долгой разлуки с Варшавой Ежи солдатом ступил на ее улицы, он увидел лишь груды развалин. Не было ни домов, ни деревьев. Его никто не ждал. Но он – неумный, неустанный – стал работать плечо к плечу со своим народом. В его голове рождались самые грандиозные планы. Польский Дом печати – его идея. Этажи этого дома стремительно поднялись ввысь; прибыли могущественные ротационные машины; и теперь в этом доме печатают сотни тысяч книг и журналов. Одержимый, земной, Ежи Борейша умел делать явью то, что могло показаться химерой, призрачной мечтой. Непостижимо жизнестойкая Польша облекала в плоть его самые дерзновенные планы – они сбывались, как желания в сказках.

Я не знал его. И поехал знакомиться с ним туда, где он меня ждал, – на север Польши, в край Мазурских озер.

Выйдя из машины, я увидел небритого человека в шортах неопределенного цвета. Он тотчас загремел на испанском языке, выученном по учебникам: «Пабло, ты имеешь усталость. Тебе надо получать отдых». Но он не дал мне никакой

---

<sup>229</sup> Ежи Борейша (1905–1952) – польский публицист, литературовед, деятель культуры.

возможности «получать отдых». Ежи говорил объемно, многогранно, речь его полнилась самыми неожиданными переходами, междометиями. Ему удавалось в одно и то же время рассказать о семи планах, поделиться мыслями о прочитанных книгах, которые по-новому толковали жизнь и историю. «Истинным героем был Санчо Панса, а не Дон Кихот, Пабло». Для него Санчо – голос народной правды, средоточие его мира и его эпохи. «Когда Санчо у власти, все идет хорошо, потому что у власти – народ».

Чуть свет он вытаскивал меня из постели и с криком: «Тебе надо получать отдых», – увозил куда-нибудь в лес, чтобы среди елей и сосен я увидел монастырь религиозной секты, которая в прошлом столетии покинула Россию и до сих пор сохранила все свои обряды. Монашки принимали его как ниспосланную им благодать. Ежи был с ними сама почтительность, само внимание.

В нем была нежность и воля. Он пережил страшные годы. Однажды Борейша показал мне револьвер, которым собственноручно застрелил нацистского преступника.

У Ежи сохранилась записная книжка нациста, в которую тот аккуратно заносил все свои злодеяния. Такое-то количество повешенных стариков и детей, такое-то количество изнасилованных девочек. Нациста схватили в той самой деревне, где он вершил свои преступления. Выступали свидетели. Ему прочли все, что было в его записной книжке. Наглый убийца ответил одной фразой: «Если бы мне дали возмож-

ность, я повторил бы все снова». Я держал в руках и записную книжку и тот револьвер, что лишил жизни отпетого преступника.

В Мазурских озерах, которым нет числа, ловят угрей. Мы отправлялись на рыбалку в рассветную рань, и очень скоро угри лежали перед нами – трепещущие, мокрые, похожие на черные узкие ремни.

Я привык, к тем озерам, тем пейзажам, к рыбакам. С утра до ночи мой неутомимый друг заставлял меня подниматься, спускаться, бегать, грести, знакомиться с людьми и деревьями. И все это под крик: «Тебе надо получать отдых! Для отдыха нет лучшего места во всем свете!»

Когда я уезжал, он подарил мне копченого угря, самого длинного из всех, что я когда-либо видел.

Эта странная трость весьма осложнила мою жизнь. Я большой охотник до копченых угрей и мечтал съесть моего угря как можно скорей. Ведь он был вне подозрений, он попал ко мне прямо из озера, минуя всех посредников, минуя прилавки магазинов. Но как назло, в меню ресторана пашей гостиницы неизменно красовался копченый угорь, и не было случая ни днем, ни вечером приняться за собственного угря. Мысли о нем стали преследовать меня.

Ночью я вытаскивал его на балкон, где было прохладно, а в полдень посреди самой оживленной беседы я спохватывался, что он висит на солнце. У меня начисто пропал интерес к беседе, и я влетал на балкон, чтобы перенести

свое сокровище в какое-нибудь прохладное место, скажем, в платяной шкаф.

В конце концов мне встретился любитель копченых угрей, и я, не без сожаления, подарил ему своего угря – самого длинного, самого нежного и самого вкусного.

Теперь великий Борейша, мудрый и пылкий мечтатель и творец, худой и деятельный Дон Кихот, такой же поклонник Санчо Пансы, как и другой Дон Кихот, впервые обрел покой. Он лежит в тени деревьев, которая всегда была ему по душе. И рядом с его покоем продолжает строиться мир, которому он отдал всю свою взрывную силу, весь свой неугасимый огонь.

# Дёрдь Шомльо

Я люблю в Венгрии тугое сплетение жизни и поэзии, истории и поэзии, времени и поэта. В других краях об этом сплетении толкуют с большей или с меньшей долей наивности, с большей или меньшей долей несправедливого заблуждения. А в Венгрии каждый поэт, еще до своего рождения, завербован эпохой. Аттила Йожеф,<sup>230</sup> Эндре Ади,<sup>231</sup> Дьюла Ийеш<sup>232</sup> – естественный итог великой встречи Долга и музыки, родины и мрака, любви и страдания.

На моих глазах за двадцать лет уверенно поднялся во весь могучий рост Дёрдь Шомльо.<sup>233</sup> В его поэзии слышатся нежные, взлетающие ввысь звуки скрипки, это поэт, думающий о себе и о судьбах других людей; это венгерский, насквозь венгерский поэт в щедрой готовности разделить мечты и действительность своего народа. Это поэт самой действенной любви, самой стремительной решимости; на его стихах, принадлежащих миру, печать великой самобытной поэзии его родины.

Шомльо – молодой и уже зрелый поэт – достоин пристального внимания нашей эпохи. Его спокойная, прозрачная по-

---

<sup>230</sup> Аттила *Йожеф* (1905–1937) – венгерский поэт.

<sup>231</sup> Эндре *Ади* (1877–1919) – венгерский поэт и публицист.

<sup>232</sup> Дьюла *Ийеш* (род. в 1902 г.) – венгерский поэт.

<sup>233</sup> Дёрдь *Шомльо* (род. в 1920 г.) – венгерский поэт.

Эзия пьянит, как вино из виноградин, созревших на золотых  
песках.

# Квазимодо

Земля Италии хранит в своем пречистом чреве голоса древних поэтов. Когда я шел по ее лугам, когда бродил по ее паркам, где искрится вода, когда гулял по песчаному берегу маленького синего океана, мне казалось, что подо мной изначальная материя алмазов, тайные кладовые хрусталя – все сияние, сбереженное веками. Италия дала европейской поэзии форму, звук, изящество и порыв; она освободила ее от единообразия, от корявости, прикрытой военными доспехами и грубой рясой. Свет Италии преобразил лохмотья трубадуров и железную утварь героического эпоса в многоводный поток шлифованного алмаза.

Нас, поэтов, лишь недавно встретившихся с культурой, поэтов, пришедших из стран, где антологии открываются стихами восьмидесятых годов прошлого столетия, поразили даты в итальянских поэтических сборниках – год 1230, год 1310, год 1450, и среди них – ослепительные терцины, истовое убранство, глубина и ювелирная точность Данте Алигьери, Кавальканти,<sup>234</sup> Петрарки, Полициано.<sup>235</sup>

Эти поэты наделили флорентийским светом нашего нежного и могущественного Гарсиласо де ла Вега, благодушного

---

<sup>234</sup> *Кавальканти* Гвидо (1255 или 1259–1300) – итальянский поэт.

<sup>235</sup> *Полициано* Анджело (1454–1494) – итальянский поэт.



Боскана,<sup>236</sup> озарили Гонгору, обвели темной каймой сатиры меланхолию Кеведо, отлили форму для сонетов Шекспира и воспламенили поэтическое вдохновение Франции, где расцвели розы Ронсара и Дю Белле.<sup>237</sup>

Словом, трудно быть поэтом тому, кто родился в Италии, – он наследник целого небосвода ярких поэтических светил.

Я давно знаю Сальваторе Квазимодо<sup>238</sup> и могу сказать, что его поэзия проникнута сознанием долга, который нам показался бы фантасмагорией, тяжелым пылающим бременем. Квазимодо – европеец, воистину обладающий знаниями, чувством меры, всем арсеналом человеческого разума. И хоть ему, итальянцу из самого сердца Италии, выпало быть в наше время главной фигурой, подборником пусть прерывающегося, но неисчерпаемого классицизма, он не стал пленником собственной крепости. Квазимодо – всеобъемлющий поэт, он не делит мир на Запад и Восток, он считает наивысшим долгом современного человека – стереть границы, рассекающие мировую культуру, и утвердить, отстоять, как неделимое благо, поэзию, свободу, истину, мир и радость.

В Квазимодо сошлись краски и звуки умиротворенной пе-

---

<sup>236</sup> *Боскан Альмогавер* Хуан (Н92? – 1542) – испанский поэт.

<sup>237</sup> *Дю Белле* Жоашен (1522–1560) – французский поэт.

<sup>238</sup> Сальваторе *Квазимодо* (род. в 1901 г.) – итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1959 г.).

чали. Но его печаль не безысходное сомнение Леопарди,<sup>239</sup> а жизнеутверждающая сосредоточенность вечерней земли, вечерняя благодать природы, когда все запахи, голоса, краски и колокольный звон оберегают усилия самых глубинных семян. Я люблю сосредоточенный слог этого большого поэта, его классическую строгость и его романтизм, я восхищаюсь его самобытностью в вечном движении красоты, и еще – его умением превращать все в подлинную и проникновенную поэзию.

Я поднимаю над океаном, над разделившим нас расстоянием венок из душистых листьев Араукании – пусть его подхватят ветры и жизнь, пусть украсят чело Сальваторе Квазимодо. Это не Аполлонов лавровый венец, который мы не раз видели на портретах Франческо Петрарки. Этот венок – дар наших нехоженных лесов, он из безымянных листьев, окропленных росой чилийских рассветов.

---

<sup>239</sup> Леопарди Джакомо (1798–1837) – итальянский поэт.

## Вальехо жив

Был еще один человек – Сесар Вальехо. Мне не забыть его большой бронзово-желтой головы, похожей на те, что видны в окнах древнего Перу. Вальехо был серьезен и чист. Он умер в Париже. Умер от грязного воздуха и грязной реки, из которой вытащили столько утопленников. Сесар Вальехо умер от голода и удушья. Если бы мы привезли его на родину, если бы дали возможность дышать воздухом перуанской земли, он бы, наверно, жил и пел. Я написал в разные годы два стихотворения о моем близком друге, моем добром товарище. В них, мне думается, отражена биография нашей беспорядочной дружбы. Первое стихотворение – «Ода Сесару Вальехо» – включено в книгу «Оды изначальным вещам». Последние годы в мелкой литературной войне, которую затеяли мелкие воители с острыми клыками, используют имя Вальехо, тень Вальехо, небытие Вальехо, поэзию Вальехо против меня и моей поэзии. Обычная история. Главное – уязвить тех, кто много работал. Сказать: «Этот нехорош, зато хорош – Вальехо». Умри Неруда, они бы швырнули им в живого Вальехо.

Второе стихотворение, озаглавленное только одной буквой «V», вошло в мою «Книгу сумасбродств».

Чтобы найти то, что не поддается словам, найти связующую нить между человеком и его творчеством, я говорю

о тех, с кем меня надолго или ненадолго свела судьба. Какую-то часть жизни мы прожили вместе, но я их пережил. Я не знаю другого пути, чтобы постичь то, что называют «тайной поэзии» и что я бы назвал «поэтической ясностью». Есть же все-таки связь между руками и их творением, между глазами, нутром, кровью человека и его трудом! У меня нет готовой теории. Я не ношу под мышкой догм, чтобы в случае чего обрушить их на чью-то голову. Как почти все люди, в понедельник я вижу все светлым, а во вторник – темным. Мне думается, этот год – черно-белый. А грядущие будут ярко-синего цвета.

# Габриэла Мистраль

Я уже говорил, что познакомился с Габриэлой Мистраль в моем родном городе Темуко. С этим городом она рассталась навсегда. Когда я увидел ее впервые, Габриэла уже была на середине своей многотрудной и трудовой жизни и своим внешним видом походила на монахиню, на игуменью, у которой во всем строгий порядок.

В нашем Темуко она написала поэмы о сыне. Написала их прозой – чистой, отточенной, искрометной, той прозой, которая была самой проникновенной поэзией. В поэмах о сыне она, незамужняя женщина, говорила о беременности, о родах, о материнской заботе. И вот по городу поползли какие-то смутные слухи, что-то нелепое, наивно-грубое; возможно, ей причинили боль пересуды жителей Темуко, – я-то знаю этих озорных, дерзких на язык лесорубов и железнодорожников, которые называют хлеб хлебом и вино вином.

Габриэла оскорбилась и не забыла об оскорблении до самой смерти.

Спустя годы она написала к первому изданию своей замечательной книги пространное и бесполезное предисловие, в котором вернулась к тому, что когда-то о ней говорили, о чем шептались в горах на самом краю света.

Когда Габриэла Мистраль, увенчанная Нобелевской премией, одержавшая столь памятную победу, возвращалась из

Европы, она должна была проехать через Темуко. Каждый день ее выходили встречать целыми школами. Школьницы прибежали на станцию в росинках дождя, с охапками мокрых, трепещущих копиуэ. Копиуэ – цветок чилийского юга, прекрасный и дикий лепесток непокорной Араукании. Ожидания были напрасны. Габриэла проехала через город ночью, она выбрала неудобный поезд, лишь бы не принять цветов Темуко.

Все так. Но говорит ли это плохо о Габриэле Мистраль? Нет. Это говорит лишь о том, что раны в тайниках ее души не заживали, не могли зарубцеваться. Это значит, что в душе великой поэтессы противоборствовали, как во всех человеческих душах, любовь и злоба.

Для меня у Габриэлы всегда была открытая товарищеская улыбка – белозубая, точно полоска муки на темном, как ржаной хлеб, лице.

Так какой же ценный металл, какие вещества плавилась в печи ее творчества? Из каких тайн слагалась ее вечно скорбящая поэзия?

Я не стану доискиваться ответа, да и уверен, что не нашел бы его, а если б нашел, то не сказал бы об этом.

Настал сентябрь и зацвели юйё. Вся земля устлана желтой зыбью. А на берегу четвертые сутки бьется в неумной ярости южный ветер, наполняя ночь звучным движением. Океан – зеленое разверстое стекло и титаническая белизна.

Ты приходишь к нам, Габриэла, любимая дочь чилийских

юйё, береговых скал, исполинского ветра. И мы встречаем тебя с радостью. Никто не забудет твоих стихов, воспевших колючий кустарник и снега Чили. Ты – чилийка. Ты принадлежишь народу. Никто не забудет твоих строк о босоногой детворе. Никто не забыл твоего «Проклятого слова». Ты всегда защищала мир. За это и за многое другое мы любим тебя.

Ты возвращаешься, Габриэла, к желтым юйё, к колючим кустарникам твоей родины Чили. И мне подобает встретить тебя добрым словом – правдивым, цветущим и суровым, созвучным твоему величию и нашей нерасторжимой дружбе. Врата, сложенные из камня и весеннего цветенья, распахнулись тебе навстречу. И нет ничего милее моему сердцу, чем видеть, как твоя широкая улыбка сливается со священной землей, которая расцветает и поет, когда на ней трудится наш народ.

Мне выпало разделить с тобой ту суть и ту правду, что обретут уважение благодаря нашему голосу и нашим делам. Пусть покоится твое чудесное сердце, пусть оно живет, сражается, творит и поет на земле нашей родины, отрезанной от мира Андами и океаном. Я целую твой благородный лоб и склоняюсь перед твоей необъятной поэзией.

# Висенте Уидобро

Выдающийся чилийский поэт Висенте Уидобро, который тешил себя, чем только мог, всю свою жизнь досаждал мне своими каверзами и по-детски наивными анонимками, обвиняющими меня в плагиате. Уидобро – один из многих неисправимых эгоцентристов. Эгоцентризм – лишь форма самозащиты, которую избрали писатели во времена, предшествующие первой мировой войне, в ту противоречивую эпоху, когда они не имели никакого общественного веса. Вызывающее самовозвеличивание латиноамериканских писателей – отзвук сумасбродств Д'Аннунцио<sup>240</sup> в Европе. Этот итальянский писатель, большой потрошитель и враг мелкобуржуазных устоев, оставил в Америке вулканический след мессианства. Одним из самых ревностных его последователей был Варгас Вила.

Мне трудно говорить плохо о Висенте Уидобро, который удостоил меня великой чести – всю жизнь он вел со мной демонстративную чернильную войну. Он сам присвоил себе титул «Бога Поэзии» и полагал, что я, по молодости, не имею права занять хоть какое-то место на его Олимпе. Мне так и не довелось понять, чем, собственно, занимались на этом Олимпе. Приближенные Уидобро «креасьонировали»,

---

<sup>240</sup> Д'Аннунцио Габриэле (1863–1938) – итальянский поэт-декадент, в конце жизни – официальный бард фашистской Италии.



«сюрреализировали», набрасывались на все, что им перепадало из Парижа. Ну а я – поэт из глуши, непоправимо провинциальный, полудикий, – не мог дотянуться до их высот.

Уидобро не довольствовался славой высокоодаренного поэта, каким он и был на самом деле. Ему хотелось стать «сверхчеловеком». Было что-то ребячливое, по-детски прекрасное в его выходках. Случись ему дожить до наших дней, он наверняка бы затребовал, чтобы его первым послали на Луну. Я даже вижу, как он старательно доказывает ученым, что на всей Земле только он с его черепом, уникальным по форме и податливости, годится для полета в космической ракете.

Некоторые анекдотические истории раскрывают его характер. Вернувшись в Чили после войны, незадолго до своей смерти, он показывал всем и каждому заржавевший телефон и с гордостью говорил: «Я сам отнял его у Гитлера. Это был любимый телефон фюрера». Однажды, посмотрев на плохую, выполненную в академических традициях скульптуру, он сказал: «Какой ужас. Это еще хуже, чем у Микеланджело». А вот что он выкинул в Париже в 1919 году. Взял и опубликовал брошюру, озаглавленную «Finis Britanniae»,<sup>241</sup> в которой предрекал близкое крушение Британской империи. Его пророчество осталось незамеченным и, чтобы привлечь к себе внимание, он решил исчезнуть. Тогда им заинтересовалась вся пресса: «Чилийский дипломат похищен

---

<sup>241</sup> Конец Британии (*лат.*).

при неизвестных обстоятельствах». Несколько дней спустя Уидобро обнаружили лежащим у дверей его собственного дома. «Меня похитили английские бойскауты, – заявил он полицейским, когда очнулся. – Они привязали меня к столбу в каком-то подземелье и заставили прокричать чуть ли не тысячу раз подряд: „Да здравствует Британская империя!“ И снова лишился чувств. Полицейские поинтересовались, что у него в свертке, который он не выпускал из рук. Оказалось, что это новая пижама, купленная им три дня назад в одном из лучших магазинов Парижа. Тут все и раскрылось. Эта история стоила Уидобро одной дружбы. Художник Хуан Грис, который слепо поверил в похищение и извелся, рисуя себе ужасы империалистического насилия над чилийским поэтом, не простил ему обмана.

Поэзия Уидобро подобна хрусталу. Она сверкает всеми гранями, в ней – завораживающая радость. Его стихам присущ истинно европейский блеск, который он собирает в кристаллы и рассыпает в игре, исполненной изящества и ума.

Всякий раз, когда я читаю и перечитываю стихи Уидобро, меня поражает их прозрачность. Этот образованнейший поэт, который следовал всем литературным модам смятенной эпохи, хотел отвернуться от величия природы, но вся его поэзия пронизана неумолчным пением воды, шелестом листвы, порывами ветра и глубинной человечностью, в конце жизни целиком овладевшей его творчеством.

От изящнейших, офранцузенных стихов до основных произведений, в которых заключена могущественная стихия, вся поэзия Уидобро – борьба между игрой и огнем, между побегом от действительности и добровольным приходом на ее плаху. Эта борьба – подлинный спектакль, и Уидобро ведет ее на глазах у всех, почти осознанно, с ослепляющей прямоотой.

Нет сомнения, что мы сторонились его поэзии, потому что были слишком трезвы. Со временем мы все сошлись на том, что худший враг Висенте Уидобро – это Висенте Уидобро. Смерть погасила его противоречивое, подвластное игре существование. Смерть опустила завесу на его брентную жизнь и раздвинула другую, чтобы явить нам на все времена его ослепительный талант. Я предложил установить ему памятник, как и Рубену Дарио. Но наши правители не спешат возводить памятники творцам, они щедры на монументы, лишённые смысла.

Едва ли мы можем считать Уидобро политической фигурой, хотя он и совершал налеты на территорию революции. Во взглядах Уидобро была непоследовательность балованного ребенка. Но все это в прошлом, все за облаком пыли, и мы сами бы оказались непоследовательными, если бы стали наносить булабочные уколы этому поэту, рискуя повредить его прекрасные крылья. Скажем лучше, что стихи Уидобро об Октябрьской революции и на смерть Ленина – его главный вклад в пробуждение человечества.

Уидобро умер в 1948 году, в Картахене, вблизи от Исла-Негра, успев написать перед смертью несколько самых пронзительных и глубоких стихотворений из всех, которые мне случалось читать. Незадолго до своей кончины он пришел ко мне в гости вместе с моим добрым другом – аргентинским издателем Гонсало Лосадой. Мы с Уидобро говорили как поэты, как чилийцы, как друзья.

# Мои литературные недруги

Я думаю, что конфликты, как большие, так и малые, происходили и будут происходить у писателей во всех частях света.

История литературы нашего континента изобилует великими самоубийцами. В России застрелился Маяковский, которого травил завистники.

Мелкие писательские стычки перерастают на латиноамериканской земле в непримиримую вражду. А зависть нередко становится профессией. Говорят, что это чувство унаследовано нами от потрепанной Испании колониальных времен. Мы нередко обнаруживаем у Кеведо, у Лопе и у Гонгоры раны, которые они нанесли друг другу. Золотой век с его фантастическим взлетом человеческого интеллекта – несчастная эпоха, вокруг его дворцов бродит голод.

За последние годы латиноамериканский роман обрел новые измерения. Везде и всюду встречаешь имена Габриэля Гарсиа Маркеса, Хуана Рульфо, Варгаса Льосы, Эрнесто Сабато, Хулио Кортасара, Карлоса Фуэнтеса, чилийского писателя Хосе Доносо. Их успех окрестили «латиноамериканским бумом». Но кое-кто говорит, что эти писатели занимаются саморекламой.

Я знаком почти со всеми этими писателями, и, на мой взгляд, все они отличаются духовным здоровьем и духовной

щедростью. С каждым днем мне все яснее, что некоторые из них должны были покинуть родину, чтобы спокойно работать вдали от политических распрей и клокочущей зависти. Эти писатели поступили правильно: на чужбине они написали самые значимые, самые глубокие книги о правде и мечте нашего континента.

Я не сразу решился рассказать о своих столкновениях с крайностями человеческой зависти. Мне вовсе не хотелось бы выглядеть самовлюбленным эгоистом, сосредоточенным только на себе. Однако на мою долю выпало встретиться с такими оголтелыми, с такими красочными завистниками, что промолчать – грешно.

Случалось, мои неотступные преследователи злили меня. Но, по сути дела, они, сами того не желая, занимались пропагандой моих стихов, как будто служили в конторе по рекламе моего имени.

Трагическая смерть одного из моих самых мрачных недругов образовала в моей жизни какую-то пустоту. Этот человек сражался со мной по любому поводу, и когда все оборвалось, я заскучал.

Сорокалетняя литературная война – случай особый. И я, не без удовлетворения, берусь восстановить подробности битвы, которую человек вел против собственной тени, ибо я не принимал в ней никакого участия.

Мой враг основал двадцать пять журналов (он был их бес-

сменным редактором) только для того, чтобы уничтожить меня как поэта, доказать, что я исписался, чтобы обвинить в самых несусветных преступлениях, изменах, тайных или явных пороках, плагиате, сенсационных сексуальных извращениях. С завидным усердием он распространял не лишённые юмора памфлеты и репортажи. А в довершение всего появилась его увесистая книга «Неруда и я», наспигованная оскорблениями и проклятиями по моему адресу.

Мой противник, чилийский поэт, превосходивший меня годами, был человеком крайне упорным и категоричным, скорее способным на жест, чем на что-то глубокое, основательное. Таких писателей, яростно эгоцентричных, самовлюбленных, полно на нашем континенте. Их самодовольство и жестокость проявляются по-разному, но в каждом трагически проступает родство с Д'Аннунцио.

В наших бедных краях мы, поэты, полуголодные, оборванные, случалось, мародерствовали в жестокие часы рассвета, среди блевотины пьяниц. В этой жалкой обстановке литература порождала самых невероятных проходимцев, вызывала к жизни призраков плутовского романа. Безудержный нигилизм, ложный ницшеанский цинизм побуждали многих наших писателей прятаться под маской преступной вседозволенности. Для скольких это оказалось самым коротким путем к преступлению, к разрушению собственной личности.

Именно в этой среде возник и мой легендарный против-

ник. Поначалу он обхаживал меня, пытаясь вовлечь в свою игру. Но мне, мелкобуржуазному провинциалу, это было не по душе. Я не осмеливался, а главное, не хотел хитрить, изворачиваться. А наш герой умел пользоваться случаем и знал все ходы и выходы. Он жил в мире постоянного фарса, непрерывно мошенничая с самим собой, разыгрывая из себя опасную личность. Это стало его профессией и его самозащитой.

Пора назвать нашего героя, его имя – Перико де Палотес. Это был сильный волосатый человек, старавшийся произвести впечатление и красноречием и всем своим видом. Когда мне было лет восемнадцать или девятнадцать, он захотел издавать со мной на пару литературный журнал, который должен был состоять из двух разделов. В одном он, Перико, на все лады – стихами и прозой – твердил бы, что я – великий и гениальный поэт, а в другом я бы трубил по всему свету, что он – человек безграничного ума и таланта. Словом, все бы устроилось в лучшем виде.

Как молод я ни был, затея эта показалась мне бредовой. Но разубедить его стоило больших усилий. Палотес был невероятно хватким издателем. Удивительно, как только он выколачивал деньги для своих литературных затей невысокого пошиба.

Перико орудовал в какой-нибудь дальней провинции по четко разработанному плану. Заранее составлялся длинный список, куда входили врачи, адвокаты, дантисты, агрономы,



учителя, инженеры, местное начальство и прочие. Палотес представлял перед ними в ореоле написанных им книг, изданных им журналов, собраний сочинений. Неискушенные люди видели в нем посланника мировой культуры и считали себя польщенными, когда он с невозмутимым видом принимал их скромные подношения. Под напором его высокопарного красноречия каждая избранная им жертва чувствовала себя жалкой мошкой. Как правило, Палотес уходил с деньгами, даруя мошке радость приобщения к великой Мировой Culture.

Порой Перико де Палотес появлялся в южных краях Чили в качестве специалиста по сельскохозяйственной рекламе и предлагал жившим в глухомани землевладельцам издать красочные проспекты их владений с фотографиями коров и самих хозяев. Чего стоил один его наряд – штаны для верховой езды, высокие, за колено, сапоги и немыслимая экзотическая накидка. То лестью, а то и угрозой опубликовать что-нибудь порочащее Перико неизменно добивался успеха и уезжал с чеком в кармане. Землевладельцы – люди скупые, но трезвые – спешили всучить ему деньги, лишь бы поскорее отделаться от него.

Тяга к преступному и в литературе и в жизни – вот, пожалуй, главное, что характеризовало этого человека, нищестанствующего философа и неисправимого графомана. У Перико де Палотеса, бахвала и фанфарона, долгое время была небольшая свита из каких-то бедолаг, всячески превозно-

сивших его. Но жизнь обычно жестоко расправляется с теми, кто играет в случай.

Я долго колебался, прение чем написать эти страницы, и причина тому – трагический конец моего злобного недруга: он покончил жизнь самоубийством. Но, повинувшись велению времени и места, я все же пишу об этом. Горный хребет ненависти рассекает страны, говорящие на испанском языке. Упорная зависть разъедает писательскую жизнь. Есть только один способ покончить с этой разрушительной яростью – выставить на свет божий ее поражения.

Такой же оголтелой и до смешного упорной была литературно-политическая кампания, которую развернул против меня и моего творчества некий уругваец сомнительной репутации с галисийской фамилией Рибейро. Этот субъект уже много лет публикует на испанском и французском языках злобные статьи, не оставляя от меня живого места. Поразительно то, что он в своей антинерудовской деятельности не только изводит груды типографской бумаги, что обходится ему не дешево, но и тратится на дорогостоящие поездки, дабы уничтожить меня самым жестоким образом.

Едва стало известно, что Оксфордский университет присвоил мне звание «Doctor honoris causa»,<sup>242</sup> как этот странный тип собрался в Англию. Уругвайский стихоплет, выдвигавший против меня фантастические обвинения, решил рас-

---

<sup>242</sup> Почетный доктор (*лат.*).

правиться со мной прямо в стенах университета. Почтенные сэры весело смеялись над нелепыми обвинениями уругвайца, когда я сразу же после торжественной церемонии, еще облаченный в алую тогу, пил с ними традиционное порто.<sup>243</sup>

Еще большей авантюрой была его поездка в Стокгольм в 1963 году. Прошел слух, что я получу Нобелевскую премию, и неутомимый уругваец обошел всех членов Шведской академии, дал интервью шведским газетам и заявил по радио, что я – один из убийц Троцкого. Он пускал в ход все средства, доказывая, что я решительно не достоин столь высокой награды.

С годами стало ясно, что этому человеку очень не повезло: он попусту тратил деньги и силы в Оксфорде и в Стокгольме.

---

<sup>243</sup> Порто – красное вино, производящееся в португальском городе Порто.

# Критика и самокритика

Надо сказать, судьба подарила мне несколько хороших критиков. Я не имею в виду хвалебные речи на литературных банкетах или поношения тех, кого я невольно восставил против себя.

Речь о другом. Среди книг о моей поэзии – оставим в стороне то, что написано чрезмерно пылкой молодежью, – я называю лучшей работу советского критика Льва Осповата. Этот человек, овладевший испанским языком, сумел рассказать не только о содержании и звуковом строе моей поэзии, он наделил ее перспективой грядущего и высветил северным сиянием своего мира.

Эмир Родригес Монегаль,<sup>244</sup> первоклассный критик, озаглавил книгу о моем творчестве «Недвижный странник». С первого взгляда ясно, что Родригес Монегаль смотрит в корень. Он сразу понял, что я люблю путешествовать, не выходя из дому, не покидая родины, не отстраняясь от самого себя. (В иллюстрированном издании прекрасного детективного романа «Лунный камень» – оно есть в моей библиотеке – мне очень нравится один рисунок. На этом рисунке пожилой джентльмен, набросив плед, или пальто, или что-то еще, сидит у камина; в одной руке у него книга, в другой – трубка, а рядом дремлют две собаки. Вот так бы и мне сидеть у

---

<sup>244</sup> Эмир Родригес Монегаль (род. в 1921 г.) – уругвайский критик.

камина, у моря, курить трубку, читать книги, которые я с таким трудом собрал в своем доме, и чтобы у ног лежали две собаки.)

Книга Амадо Алонсо<sup>245</sup> «Поэзия и стиль Пабло Неруды» была бы интересна для многих. Она привлекает страстным желанием найти во тьме непознанного соотношение между словом и ускользящей действительностью. Помимо всего, труд Алонсо – первое проявление серьезного интереса к творчеству современного поэта, пишущего на испанском языке, и это для меня большая честь.

Чтобы осмыслить мою поэзию и написать о ней, многие критики обращались ко мне за помощью. Амадо Алонсо тоже атаковал меня вопросами и припирали к стене, требуя ясности, на которую я в те времена не всегда был способен.

Одни считают, что я – сюрреалист, другие – что я реалист, а третьи – что я вообще не поэт. Все они отчасти правы и отчасти ошибаются.

«Местоительство – Земля», как и «Попытка бесконечного человека», написана, по крайней мере начата, до апогея сюрреализма, но стоит ли доверяться датам? Ветры мира разносят повсюду молекулы поэзии, легкой, как цветочная пыльца, и тяжелой, как свинец. Семена падают в свежую борозду или бьют по голове, они могут принести весну или

---

<sup>245</sup> Амадо Алонсо (1856–1952) – испанский философ, литературный критик, лингвист.

сражение, цветы или снаряды.

Надо сказать, хотя это и не по моей части, что я не приемлю рассуждений о реализме, когда дело касается поэзии. У поэзии нет резона быть ниже или выше реализма, но она может быть антиреалистичной. На это у нее есть все основания, на это у нее есть все безрассудство, ибо она – поэзия.

Я люблю книгу – материальный итог поэтического труда, густой лес литературы, я люблю в книге все, вплоть до ее корешка, но только не теоретические ярлыки. Я люблю книги без теоретизирования и дефиниций, как сама жизнь.

Мне нравится положительный герой Маяковского и Уолта Уитмена, иными словами, герои, открытые без рецептов и приобщенные к тайнам нашей земной жизни, способные страдать и делить с нами хлеб и мечты.

Социалистическое общество переросло нереальные представления, рожденные в эпоху, торопившую время, когда этикетки ценили выше самих вещей, оставляя в стороне их суть. Главная задача писателей – писать хорошие книги. Да, мне нравится положительный герой, открытый в развороченных окопах гражданских войн американцем Уолтом Уитменом или советским поэтом Маяковским, но в моем сердце есть место для скорбного героя Лотреамона, для вздыхающего рыцаря Лафорга и всеотрицающего воителя Шарля Бодлера. Осторожно! Не режьте пополам яблоко творчества: так можно рассечь сердце, и тогда мы погибнем. Осторожно! Мы должны дать место поэту не только на улице и в строю,

ему нужен свет и мрак.

Быть может, на протяжении всей истории долг поэта оставался неизменным. Поэзия во все времена считала для себя честью выйти на улицы и сражаться. Поэт не испугался, когда его называли бунтовщиком. Поэзия всегда бунт. Поэт не испугался, когда его обвинили в разрушении устоев. Жизнь оставляет позади окостеневшие структуры и создает новые кодексы для человеческой души. Весна – великая смутьян-ка, и ее семена летят отовсюду; экзотичны все идеи; каждый день мы ждем великих сдвигов, великих перемен миропорядка.

Я отдал все, что имел. Я бросил свою поэзию на арену, и из ее ран текла моя кровь. Я выстрадал все предсмертные муки и воспел все подвиги, все, что видел и пережил. То по одной причине, то по другой – меня не понимали, но так ли это плохо?

Один эквадорский критик сказал, что в книге «Виноградники и ветер» наберется не более шести страниц подлинной поэзии. Очевидно, эквадорцу не по душе моя насыщенная политикой книга. Точно так же некоторые критики, сверхзоркие в политике, с презрением отнеслись к книге «Место-жительство – Земля», считая ее туманной и нарочито усложненной. Даже такой знаток, как Хуан Маринельо,<sup>246</sup> осудил в свое время эту книгу во имя высоких принципов. Я думаю,

---

<sup>246</sup> Хуан Маринельо (1898–1977) – кубинский политический и общественный деятель, литературовед и публицист.

те и другие ошибаются, и источник их ошибок – один.

Я сам критиковал свою книгу «Местожителство – Земля». Но имел в виду не поэзию, а глубоко пессимистический настрой стихов. Можно ли забыть юношу из Сантьяго, который несколько лет назад покончил с собой, оставив мою книгу раскрытой на скорбном стихотворении «Стать тенью».

Я верю, что право на существование имеют и «Местожителство – Земля» – мрачная, но очень важная для моего творчества книга, и «Виноградники и ветер» – книга широких просторов и яркого света. И я нисколько не противоречу самому себе.

Признаться, я отдаю некоторое предпочтение книге «Виноградники и ветер», может, потому, что она самая сложная, или потому, что ее страницы – путешествие по всему свету. В ней – пыль многих дорог и вода многих рек, в ней – люди, традиции, новые земли, которые я не знал и которые открылись мне в странствиях. Это, повторяю, одна из моих самых любимых книг.

У «Книги сумасбродств» не очень сильный голос, она мало поет, но зато лучше всех прыгает в высоту. Ее «прыгучие» строки отстаивают самую совершенную дерзость, они легко перелетают через все, что зовется порядком, правилами, уважительностью, сообразностью. Эта книга мне очень близка из-за ее непочтительности к почтению, и она, несомненно, занимает одно из главных мест в моей поэзии. На мой взгляд, «Книга сумасбродств» доставляет много хлопот,



но в ней есть тот самый солоноватый привкус, который при-  
сущ правде.

В «Одах изначальным вещам» я решил осмыслить перво-  
зданность, первородное естество многих вещей. Мне захо-  
телось наново назвать названное, воспетое, затверженное. Я  
поставил себя на место ребенка, который мучительно грызет  
карандаш, обдумывая начало сочинения о солнце, о школе,  
о часах, о своем доме. Мне надо было сказать обо всем, при-  
коснуться ко всему, что есть на земле и в воздухе, и выразить  
это поэтическим словом, самым чистым и нетронутым.

Одного уругвайского критика покорило, что я дерзнул  
сравнить в стихах камни с утятами. Он заявил, что утятам и  
прочей мелкой живности не место в поэзии. До какого лег-  
комыслия дошел этот словоплет! Хотеть, чтобы мы, поэты,  
писали только на возвышенные темы. Пустая затея. Мы сде-  
лаем поэзией самые простые вещи, как бы их ни презирали  
поборники изысканного вкуса.

Буржуазия требует отгородить поэзию от действительно-  
сти. Поэт, называющий хлеб хлебом и вино вином, опасен  
для умирающего капитализма. Спокойнее, когда поэт счита-  
ет себя, как Висенте Уидобро, «маленьким богом». Такая  
поэзия удобна правящим классам. Поэт умилен своей боже-  
ственной отстраненностью, и нет нужды подкупать его или  
обезвреживать. Он сам себя продал небу. А между тем земля  
идет своим путем, сквозь трепет и сиянье.

В наших латиноамериканских странах живут миллионы неграмотных. Низкий уровень культуры – наследие и привилегия феодализма – старательно сохраняется. Семьдесят миллионов неграмотных – это великая преграда, и мы можем сказать, что наши читатели еще не родились. Мы должны ускорить эти роды, чтобы латиноамериканцы читали нас и поэтов всего мира. Пусть явится долгожданный свет из чрева Латинской Америки!

Многие латиноамериканские литературные критики с готовностью прислуживают своим владетельным хозяевам. В 1961 году, к примеру, вышли в свет три мои книги: «Песня о подвиге», «Камни Чили» и «Торжественные песни». На протяжении целого года чилийская критика и словом не упомянула об этих книгах.

Когда впервые была опубликована моя поэма «Вершины Мачу-Пикчу», никто не дерзнул написать о ней в чилийской печати. Издатель поэмы обратился в редакцию самой объемистой газеты – «Меркурио», которая существует около ста пятидесяти лет. Он хотел поместить платное объявление о выходе книги. Объявление приняли, но с условием: мое имя будет опущено.

- Так ведь автор – Неруда! – возмутился Нейра.
- Это несущественно.

Словом, по объявлению «Меркурио» выходило, что поэма «Мачу-Пикчу» анонимное произведение. Спрашивается, чему научилась эта газета за сто пятьдесят лет, если она до

сих пор не умеет уважать правду, факты и поэзию?

Порой яростные нападки на меня были вызваны причинами, далекими от классовой борьбы. За сорок лет моей трудовой жизни я получил много литературных премий и мои книги переводились на самые удивительные языки мира, но не было дня, чтобы я не почувствовал легкого или весьма ощутимого укола человеческой зависти. Взять хотя бы историю с моим домом в Исла-Негра. Я купил этот дом в пустынном месте, где не было ни людей, ни водопровода, ни электричества. Выходили мои книги, и я сумел переустроить дом по своему вкусу, привез туда любимые деревянные статуи, снятые со старинных парусников; эти статуи нашли у меня приют и покой после долгих странствий по морям.

Однако люди не могут примириться с тем, что поэт, чьи книги издаются во всех частях света, получает материальное вознаграждение, которого заслуживают все писатели, все музыканты, все художники. Реакционные, отставшие от времени писаки, которые без конца готовы почитать Гёте, отказывают нынешним поэтам в праве на жизнь. Они приходят в ярость оттого, что у меня есть машина. И считают, что машины могут быть только у коммерсантов, спекулянтов, владельцев публичных домов, ростовщиков и прочих мошенников.

Чтобы разозлить их еще больше, я подарю свой дом в Исла-Негра народу. Там будут проходить профсоюзные встречи, туда приедут отдыхать шахтеры и крестьяне. И моя поэ-

зия будет отомщена.

## Еще один новый год

Однажды журналист спросил меня:

– Каким вы видите мир в наступившем году?

Я ответил:

– Именно в этот момент, пятого января, в девять часов двадцать минут утра, мир кажется мне розовым и голубым.

И тут ни при чем ни литература, ни политика, ни мое настроение. Просто я стою у распахнутого окна, и в глаза мне бьет розовое сиянье цветов, а дальше, за цветами, в голубом объятии сливаются океан и небо.

Но и я и все мы знаем, что у мира есть другие краски. Можно ли забыть цвет крови, которая бессмысленно проливается во Вьетнаме? Можно ли забыть цвет деревень, сожженных напалмом?

Отвечаю и на другой вопрос журналиста. Как и в минувшие годы, в эти новые триста шестьдесят пять дней я опубликую новую книгу. В этом я уверен. Я ее лелею, я с ней ссорюсь, я пишу ее каждый день.

– О чем эта книга?

Что мне ответить? Все мои книги об одном и том же. Я всегда пишу одну и ту же книгу. Пусть не взыщут мои друзья, что в новом году с его новыми днями мне нечего будет подарить им, кроме моих стихов, все тех же новых стихов.

Ушедший год принес всем нам, жителям Земли, новые по-

беды – победы на великих дорогах космоса. Весь год мы испытывали желание летать. В мечтах мы стали космонавтами. Завоевание космических высот принадлежит всем землянам, и не суть важно, кто раньше – советские или американские космонавты – отведал лунного винограда и опоясал себя ореолом лунного сиянья.

Нам, поэтам, принадлежит львиная доля открытых сокровищ. От Жюль Верна, который соединил механику с вековой мечтой о космосе, до Жюль Лафорга, до Генриха Гейне и Хосе Асунсьона Сильвы (не забудем о Бодлере, воспевшем пагубные чары Луны) – мы, поэты, раньше других обратили свой взор к этой бледноликой планете и сложили о ней стихи.

Идут годы. Ты снашиваешься – в печали, в радости, в цветенье. Время уносит и приносит человеческие жизни. Все чаще на твоём пути – разлука. Друзья попадают в тюрьму и выходят на волю, кто-то уезжает в Европу, кто-то из Европы, а за кем-то приходит смерть.

Тот, кто умирает вдали от тебя, вроде не умирает, а живет в памяти таким, каким был всегда. С годами у поэта начинается складываться антология, посвященная умершим друзьям. Но я не стал составлять эту траурную антологию – из страха перед однообразием, которое есть в человеческой скорби об ушедших. Зачем превращаться в список покойников, как бы дороги они тебе ни были? В 1928 году на Цейлоне я написал «Уход Хоакина» – элегию на смерть моего доброго товарища

и поэта Хоакина Сифуэнтеса Сепульведы, и несколько лет спустя – в 1934 году в Барселоне – стихотворение «Альберто Рохас Хименес пролетает». В те времена мне думалось, что больше у меня никто не умрет. Но я потерял многих. Рядом с Чили, на одном из холмов Кордовы, – могила моего лучшего аргентинского друга Родольфо Араоса Альфаро. Его вдова – наша чилийская писательница Маргарита Агирре.

В минувшем году ветер унес Илью Эренбурга – моего любимого друга, человека хрупкого сложения, решительного защитника правды, смелого крушителя лжи. В том же году в той же Москве похоронили поэта Овадия Савича. Его переводы стихов Габриэлы Мистраль и моих стихов не только точны и красивы, в них – озаряющая любовь к поэзии. И тот же ветер смерти унес моих братьев – поэтов Назыма Хикмета и Семена Кирсанова. И многих, и многих...

Горькое событие прошлого года – совершенное с ведома властей – убийство Че Гевары в Боливии, печальнейшей стране. Телеграмма о его смерти шаровой молнией ворвалась в мир. Тысячи элегий пытались воспеть его трагическую и героическую судьбу. Отовсюду хлынули потоки стихов в его память, не всегда стоящие вровень с великой скорбью. Я получил телеграмму с Кубы. Меня просили написать стихи о Че Геваре. До сих пор они не написаны. По-моему, такие стихи должны выразить не только незамедлительный протест, они должны глубоко осмыслить весь трагизм этой истории. Я буду думать над стихотворением, пока оно не вызреет в

моей крови и моих мыслях.

Меня глубоко взволновало то, что я – единственный поэт, которого цитирует в своем «Дневнике» великий партизанский вожак. Помню, как Че Гевара в присутствии Ретамара говорил мне, что много раз читал «Всеобщую песнь» первым прославленным и скромным бородачам Сьерра-Маэстры. Должно быть, предчувствуя гибель, он привел в своем «Дневнике» строки из «Песни Боливару»: «...маленький труп отважного капитана...»



# Нобелевская премия

У моей Нобелевской премии долгая история. Многие годы мое имя называлось среди кандидатов на премию, но это ни к чему не приводило.

В 1963 году все было куда серьезнее. По радио несколько раз сообщили, что моя кандидатура обсуждается в Стокгольме и что я – наиболее вероятный претендент на Нобелевскую премию. Вот тогда мы с Матильдой применили план № 3 по домашней обороне. Мы повесили на старые ворота огромный замок и запаслись продуктами и красным вином. Я раздобыл несколько детективных романов Симонова на случай нашего затворничества.

Журналисты не замедлили явиться, но были остановлены. Им помешал замечательный бронзовый замок. Они кружили возле каменной ограды, точно ягуары. На что они надеялись? Что я мог сказать им о дебатах, которые вели шведские академики на другом конце света? Но журналисты не оставляли надежды «выжать воду из сухой палки».

В тот год на южном побережье Тихого океана была поздняя весна. Безлюдные дни сблизили меня с весной, которая оделась, пусть с опозданием, в лучший наряд к своему безлюдному празднику. За лето тут не выпадет ни одного дождя; земля – корявая, каменистая, глинистая, не проглянет и зеленая былинка. Зимой морские ветры выпускают на во-

лю ярость и соленую пену огромных волн. Зимой природа красуется страданием – она жертва грозной стихии.

Великая труженица весна одевает землю золотисто-желтым покровом из бесчисленных цветков. Крохотные и неодолимые, они опоясывают скалы, снова устилают склоны, подступают к самой воде и, бросая вызов, отстаивая право на существование, дерзко желтеют посреди дороги. Столько времени жили эти цветы потаенной жизнью, столько времени, отвергнутые бесплодной землей, не смели ей перечить, что теперь не знает удержу их желтое раздолье.

Но вот цветы начинают меркнуть, угасать, и все окрашивается в густо-фиолетовое. Желтое солнце весны становится синим, а потом – багряным. Почему уступают место друг другу эти крохотные, несчетные, неизвестные венчики? Сегодня на ветру вспыхивают одни краски, завтра – другие. Словно на пустынных холмах сменяются державные флаги Весны; словно вторгшиеся войска спешат поднять боевые знамена.

В эту пору на побережье зацветают кактусы. Маленькие, круглые, они не похожи на утыканые шипами, граненые кактусы-великаны, что встают грозными колоннами на дальних отрогах Анд. Я видел наши береговые кактусы все в алых бутонах, будто чья-то рука окропила их горячей жертвенной кровью. Потом бутоны раскрываются, и тысячи багряных цветов пламенеют на фоне огромных морских круч, увенчанных белой пеной.

Старая агава, что растет у меня в саду, выбросила из своих

недр цветов-убийцу. За десять лет это огромное мясистое, сине-желтое растение стало выше меня ростом. Теперь оно расцвело, чтобы умереть. Его могучее зеленое копьё – метров семь в высоту – перехвачено в нескольких местах сухими кольцами, припорошенными золотистой пылью. Потом исполинские листья начнут подламываться, и агава погибнет.

Рядом с умирающей агавой рождается другой исполин. Его не знают в чужих странах. Он растет только здесь, на наших южных берегах. Его имя чаууаль (*puya chilensis*). Когда-то чаууалу поклонялись арауканы. Давно уже нет отважной Араукании – кровь, смерть, время, а следом и эпические песни Алонсо де Эрсильи завершили историю древнего племени цвета темной глины, которое однажды очнулось от геологического сна, чтобы защитить свою родину. Когда я снова вижу эти цветы, встающие над веками неведомых темных смертей, над тяжелыми пластами забвения, пропитанного кровью, мне кажется, что расцветает прошлое нашей земли, расцветает вопреки тому, что мы есть и чем мы стали сегодня. Лишь земля остается собой, сохраняет свою суть.

Но я забыл рассказать о растении.

У него острые зубчатые листья, и оно принадлежит к семейству бромелиевых. Зеленым костром полыхает растение по обочинам дорог, собрав в сердцевине изумруд таинственных шпаг. И вот из него взмывает ввысь один-единственный гигантский цветок, одна гроздь, одна зеленая роза – огромная, в рост человека. Сотни мелких соцветий соединил в се-

бе этот одинокий цветок, этот зеленый храм в золотистой пыльце, сияющий в ярких отсветах моря. Нигде я не видел такого огромного зеленого цветка, похожего на одинокий памятник морской волне.

Крестьяне и рыбаки моей страны давно забыли, как зовутся многие наши цветы. Постепенно уходили из людской памяти имена этих цветов, в они, перестав собой гордиться, прятались в путани трав, словно камни, что несет река со снежных вершин к безвестным берегам океана. Наши крестьяне и рыбаки, шахтеры и контрабандисты приговорены к своей суровой судьбе, они готовы к поражению, к смерти и к воскрешению трудных дел своих. Неведома участь героев на неоткрытых землях. В них самих, в их песнях – лишь отсветы безымянной крови, сиянье цветов, у которых нет имени.

Моим садом завладел один из таких цветов – синий, с длинным, стройным, глянцевым и крепким стеблем. На конце стебля трепещет, покачивается великое множество инфрасиних и ультрасиних цветочков; не знаю, кому еще из смертных суждено увидеть такой совершенный синий цвет. Может, он откроется совсем немногим? И останется незримым для тех, кому не захочет явиться бог синевы? А вдруг причина всему – моя радость, рожденная одиночеством и гордым сознанием того, что мне выпала встреча с этой синевой, с этими синими волнами, с синей звездой в ту пустынную весну?

Напоследок я расскажу о доках. Не знаю, где еще рас-

тут эти цветы. Миллионы зеленых треугольных пальцев впи-  
ваются в береговой песок. Весна унизала их амарантовы-  
ми перстнями невиданной красоты. В дни запоздалой вес-  
ны вся Исла-Негра сияет этими цветами, чье греческое имя  
aizoaseae. Они выплеснулись на берег морским нашествием,  
щедрым даром подводной зеленой пещеры, соком пурпур-  
ных гроздей, хранящихся в подвалах Нептуна.

В эти минуты по радио объявили, что Нобелевскую пре-  
мию получил греческий поэт. Журналисты мгновенно уле-  
тучились. И к нам с Матильдой вернулся покой. Мы торже-  
ственно сняли замок со старых ворот, чтобы весь мир снова  
входил в наш дом без стука, без предупреждения. Как весна.

Вечером нас посетил шведский посол с супругой. Уве-  
ренные в том, что я стану лауреатом Нобелевской премии,  
они привезли целую корзину вина и *delikatessen*,<sup>247</sup> чтобы от-  
праздновать мою победу. Наш ужин вовсе не был грустным,  
и мы выпили по бокалу вина за греческого поэта Сефери-  
са,<sup>248</sup> достойного высокой награды. Перед самым уходом  
посол отвел меня в сторону.

– Журналисты наверняка захотят, чтобы я дал интервью, –  
сказал он. – Объясните мне, кто такой Сеферис?

– Не знаю, – откровенно признался я.

Честно говоря, любой писатель нашей планеты, что зовет-  
ся Землей, хотел бы получить Нобелевскую премию – и тот,

---

<sup>247</sup> Деликатесы (*шведск.*).

<sup>248</sup> *Сеферис* Георгос (1900–1971) – греческий поэт, дипломат.

кто молчит об этом, и тот, кто это отрицает.

Что касается Латинской Америки, то ее страны имеют своих кандидатов, свою тактику и свои планы получения вожаемой награды. Должно быть, по этой причине премии не получили и те, кто ее вполне заслуживает. Например, Ромуло Гальегос.<sup>249</sup> Его обширное творческое наследие достойно самой высокой оценки. Но Венесуэла – страна нефти, иными словами, страна звонкой монеты, и именно с ее помощью венесуэльцы решили добиваться премии. Один из венесуэльских послов в Швеции считал своей главной задачей сделать Нобелевским лауреатом Ромуло Гальегоса. Он устраивал пышные приемы, печатал в стокгольмских типографиях произведения шведских академиков в переводах на испанский язык. Наверно, такая прыть насторожила сдержанных и осмотрительных шведов. Ромуло Гальегос так и не узнал, что, быть может, чрезмерное усердие венесуэльского посла помешало ему получить давно заслуженную литературную награду.

В Чили, не помню по какому поводу, мне рассказали грустную историю в оправе жестокого юмора. Герой истории – Поль Валери.<sup>250</sup> О нем говорили как о самом вероятном кандидате Нобелевской премии. И вот в то утро, когда Шведская академия должна была принять окончательное ре-

---

<sup>249</sup> Ромуло *Гальегос* (1884–1969) – венесуэльский писатель, государственный и политический деятель.

<sup>250</sup> Поль *Валери* (1871–1945) – французский поэт.

шение, Поль Валери, не зная, как успокоиться, кликнул собаку, взял трость и вышел из загородного дома на прогулку.

Он вернулся только в полдень к обеду. Еще в дверях он спросил секретаршу:

– Никто не звонил?

– Звонили, мосье. Несколько минут назад звонили из Стокгольма.

– И что просили передать? – спросил он, не скрывая радости.

– Шведская журналистка интересовалась, как вы относитесь к движению женщин за равноправие.

Сам Валери рассказывал об этом с легкой иронией. Но что бы там ни было, а выдающийся французский поэт, мастер, достигший совершенства, так и не получил Нобелевской премии.

Что касается меня, нельзя не признать, что я всегда относился трезво и сдержанно к Нобелевской премии. В книге одного чилийского эрудита, задавшегося целью возвеличить Габриэлу Мистраль, нашу суровую соотечественницу, я прочел ее многочисленные письма, адресованные в разные места. При всей их благородной сдержанности, они были продиктованы вполне естественным желанием – приблизиться к заветной цели: Нобелевской премии. Эти письма научили меня осторожности. С тех пор, как мое имя стали называть среди кандидатов (а это было не раз и не два), я не приезжал в Швецию, хотя меня тянуло туда с юношеских лет, когда

мы с Томасом Лаго<sup>251</sup> гордо называли себя учениками отлученного от церкви пастора, заядлого пьяницы по имени Йёст Берлинг.<sup>252</sup>

Да и вообще мне наскучило ходить в кандидатах чуть ли не каждый год. Меня раздражало, что на этих ежегодных состязаниях мое имя использовалось так, будто я – скаковая лошадь. Но чилийские писатели, да и все, кому не лень, считали, что Шведская академия наносит им личное оскорбление. Словом, при такой ситуации не трудно было попасть в смешное положение.

В конце концов, как все знают, в 1971 году меня наградили Нобелевской премией. Я только-только приехал в Париж в качестве посла Чили, когда мое имя снова замелькало в газетах. Мы с Матильдой ничуть не обрадовались. Привычка к ежегодным разочарованиям сделала нас нечувствительными ко всему, что касалось этой премии. Как-то в октябрьский вечер в столовую вошел Хорхе Эдварде – советник нашего посольства по культуре и писатель. С присущей ему осмотрительностью он предложил мне довольно скромное пари. Если мне дадут премию, я устраиваю обед в самом лучшем парижском ресторане и приглашаю его с женой. Если нет, то

---

<sup>251</sup> Томас Лаго (род. в 1903 г.) – чилийский писатель и этнограф, Друг юности П. Неруды.

<sup>252</sup> Йёст Берлинг – герой романа «Сага о Йёсте Берлинго» шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858–1940).



он платит за обед, на котором буду я с Матильдой.

– Согласен, – сказал я. – Мы отлично пообедаем за твой счет.

На следующий день мне стало известно, по какой причине Эдварде решил заключить это пари. Оказывается, ему из Стокгольма позвонила знакомая журналистка и писательница, которая сказала, что, судя по всему, на этот раз Пабло Неруда получит Нобелевскую премию.

Начались бесконечные звонки. Звонили журналисты из Буэнос-Айреса, из Мексики и особенно из Испании, где это считалось совершившимся фактом. Я, разумеется, отказывался от каких-либо объяснений по этому поводу, но в душе росло невольное беспокойство.

В тот вечер ко мне в гости пришел Артур Лундквист<sup>253</sup> – единственный шведский писатель, с которым я дружил. Три или четыре года назад его избрали в Академию. В Париже он был проездом, по пути на юг Франции. После ужина я рассказал ему о том, как мне трудно разговаривать с зарубежными журналистами, которые заранее сделали меня лауреатом Нобелевской премии.

– Я прошу тебя, Артур, об одном одолжении. Если все окажется правдой, скажи мне раньше, чем об этом узнает печать. Я сам хочу сообщить Сальвадору Альенде, вместе с которым мы прошли годы трудной борьбы. Он будет рад первым узнать о премии.

---

<sup>253</sup> Артур Лундквист (род. в 1906 г.) – шведский писатель и поэт.

Академик и поэт Лундквист посмотрел на меня своими шведскими глазами и крайне серьезно проговорил:

– Я ничего не могу тебе сказать. Если что-нибудь будет, тебя сразу известит король Швеции или шведский посол в Париже.

Все это происходило 19 и 20 октября. А 21-го утром салоны посольства начали заполнять журналисты. Операторы шведского, немецкого, французского телевидения, операторы из латиноамериканских стран не скрывали своего нетерпения, которое грозило вылиться в бунт против моего упорного молчания. Но я молчал, потому что ничего не знал. В половине двенадцатого мне позвонил шведский посол. Он попросил принять его, ни слова не сказав, по какому поводу. Его звонок не утихомирил страсти, поскольку встреча с ним должна была произойти двумя часами позже. Телефон по-прежнему разрывался.

Но вот одна из парижских радиостанций передала новость последней минуты: «Нобелевская премия за 1971 год присуждена чилийскому поэту Пабло Неруде». Я тотчас спустился вниз, чтобы лицом к лицу встретиться с многочисленной армией журналистов, фотографов, работников телевидения. К счастью, в посольство пришли мои старые друзья – Жан Марсенак и Луи Арагон. Марсенак, французский поэт, которого я люблю по-братски, кричал от радости. Да и Арагон был доволен куда больше, чем я сам. Оба они помогли мне справиться с журналистами.

Я недавно перенес операцию, был еще слаб, с трудом держался на ногах и неуверенно двигался. В тот вечер к ужину собрались мои друзья: Матта<sup>254</sup> приехал из Италии, Гарсиа Маркес – из Барселоны, Сикейрос – из Мехико, Мигель Отеро Сильва<sup>255</sup> – из Каракаса, Артуро Камачо Рамирес<sup>256</sup> – из самого Парижа, Кортасар – из своего тайного убежища. И еще чилиец – Карлос Васальо, вместе с ним мы должны были поехать в Стокгольм.

На моем столе росли горы поздравительных телеграмм. (До сих пор я прочел не все и не на все успел ответить.) Среди бесчисленных писем было одно весьма любопытное и грозное. Его прислал из Голландской Гвианы некий господин негритянского происхождения с крупными чертами лица, если верить вырезке из газеты, которую он приложил к своему посланию. В письме говорилось приблизительно следующее: «Я представитель антиколониального движения в Джорджтауне. Я просил пригласить меня на церемонию, которая состоится в Стокгольме по случаю вручения Вам Нобелевской премии. В шведском посольстве меня предупредили, что по протоколу на этом акте обязателен фрак. У меня нет денег на фрак, и я не стану брать его напрокат. Американец, добившийся свободы, не может унижить себя и надеть ношеное платье. В этой связи я хочу сообщить Вам, что

---

<sup>254</sup> Матта Роберто (род. в 1912 г.) – чилийский художник.

<sup>255</sup> Мигель Отеро Сильва (род. в 1908 г.) – венесуэльский писатель и поэт.

<sup>256</sup> Артуро Камачо Рамирес (род. в 1909 г.) – колумбийский поэт.

на скромные деньги, которые мне удалось скопить, я приеду в Стокгольм, чтобы выступить в печати и разоблачить империалистический характер церемонии, которая состоится в честь самого антиимпериалистического и самого народного поэта в мире».

В ноябре мы с Матильдой поехали в Стокгольм. С нами отправились и наши старые друзья. Нас поместили в роскошный «Гранд-отель». Из окон открывался вид на прекрасный холодный город, на королевский дворец. В «Гранд-отеле» жили и другие лауреаты этого года – физики, химики, врачи и так далее. Это были очень разные по характеру люди. Одни – велеречивые и церемонные, другие – простые и скромные, словно рабочие или механики, по чистой случайности очутившиеся вне стен своих цехов. Вилли Брандта в отеле не было, он должен был получить Нобелевскую премию, премию мира – в Норвегии. Я жалел об этом, потому что именно с ним мне очень хотелось познакомиться и поговорить. Потом я видел его на приемах, но нас всегда разделяли какие-то люди.

Торжественной церемонии предшествовала репетиция, которая по шведскому протоколу проходила в том зале, где вручалась премия. Было забавно видеть, как мы, вполне серьезные люди, не успев встать с постели, спешили выйти из гостиницы, чтобы в точно назначенный час попасть во дворец, подняться по указанным лестницам, ничего не перепу-

тать, вовремя свернуть направо или налево, а потом взойти на сцену и сесть именно в то кресло, которое нужно будет занять в день вручения премии. И все это – перед телевизионными камерами, в огромном пустом зале, где, навевая грусть, красовались пустой трон короля и почетные места для королевской семьи. Я так и не понял, зачем шведскому телевидению вздумалось снимать репетицию спектакля, в котором участвовали такие никудышные актеры.

Премию вручали в день святой Люции. Утром меня разбудили голоса: из коридора доносилось нежное пение. Потом белокурые скандинавские девушки в венках и с зажженными свечами вошли в мою комнату. Они принесли мне завтрак и подарок – большую прекрасную картину, на которой было изображено море.

А позднее случилось то, что взволновало всю стокгольмскую полицию. Дежурный администратор передал мне письмо. Оно было подписано все тем же неумным антиколониалистом из Голландской Гвианы. «Я только что прибыл в Стокгольм, – сообщалось в письме, – я не смог организовать пресс-конференцию, но, как человек революционного действия, предпринял другие меры. Нельзя допустить, чтобы Пабло Неруда – поэт униженных и угнетенных – получал премию во фраке». Вот почему он купил зеленые ножницы, чтобы на глазах у всей почтенной публики «отрезать у фрака фалды и прочие висюльки». «Полагаю своим долгом преду-

предить Вас об этом. Когда Вы увидите, что в зале со своего места встает темнокожий человек с большими зелеными ножницами, Вам будет известно, что за этим последует».

Я отдал столь странное письмо сопровождавшему меня дипломату из протокольного отдела и сказал ему с улыбкой, что первое письмо от этого чудака я получил еще в Париже и что, на мой взгляд, не стоит принимать всерьез эту ерунду. Молодой швед не разделял моего мнения.

– В нашу напряженную эпоху могут произойти самые неожиданные вещи. Мой долг – предупредить полицию Стокгольма, – сказал он и тут же удалился, чтобы выполнить то, что полагал своим долгом.

Нужно упомянуть, что со мной в Стокгольм приехал известный венесуэльский писатель и блистательный поэт Мигель Отеро Сильва. Этот человек для меня – не только совесть и ум нашего континента, он мой близкий друг и верный товарищ. До торжественной церемонии оставались считанные часы. За обедом я сказал, что шведы встревожены письмом, которое прислал мне житель Джорджтауна. Мигель Отеро Сильва – он обедал вместе с нами – хлопнул себя по лбу:

– Так ведь письмо написал я, чтобы подразнить тебя, Пабло. Что теперь делать с полицией? Она же ищет несуществующего человека?

– Тебя посадят в тюрьму. На такую шутку способны только дикари, и ты понесешь достойное наказание, – сказал я

ему.

В эту минуту вернулся мой шведский покровитель. Он уходил доложить начальству о письме. Не долго думая, мы признались ему во всем:

– Это неуместная, дурацкая шутка. Автор письма сидит за одним столом с нами.

Бедняга снова заторопился куда-то. Но полиция, разыскивающая негра из Джорджтауна, успела побывать во всех гостиницах Стокгольма.

Все меры предосторожности были соблюдены. Когда мы с Матильдой входили в зал, где состоялась церемония, когда выходили из зала, где был дан бал, к нам, вместо привычных портье, спешили молодые люди – дюжие русоволосые телохранители, которым было приказано не подпускать ко мне человека с зелеными ножницами.

На традиционной церемонии вручения Нобелевской премии была весьма многочисленная дисциплинированная и благовоспитанная публика, вежливо аплодировавшая только там, где полагалось. Стареющий монарх протягивал каждому из нас руку, вручал диплом, медаль и чек, и мы возвращались на сцену, украшенную цветами, теперь менее неприятную, чем в дни репетиции. В креслах сидели все Нобелевские лауреаты. Говорят (а может, просто хотели порадовать Матильду), что шведский король уделил мне больше времени, чем другим, что он дольше, чем другим, жал мне руку и что вообще проявил ко мне особую симпатию. Долж-

но быть, это отзвук далеких времен, когда короли позволяли себе быть любезными с трубадурами. Так или иначе, но ни один другой король не пожимал мне руку ни наспех, ни с почтением.

Эта строгая протокольная церемония, несомненно, была очень торжественной. Похоже, торжественность, сопровождающая многие важные события нашей жизни, никогда не исчезнет. Должно быть, она нужна людям. И все же я почувствовал, что есть весьма забавное сходство между парадом Нобелевских лауреатов и вручением премий ученикам в маленьком провинциальном городке.



## Чили-Чико

Я покидал Пуэрто-Ибаньес, потрясенный огромным озером Генерал Каррера, чьи отливающие металлом воды – воистину пароксизм природы – сравнимы лишь с бирюзой моря у берегов Варадеро на Кубе или с нашим озером Пет-роуэ. Потом был яростный водопад Гио-Ибаньес – монолитный, устрашающий в своем величии. Я покидал этот край, ошеломленный разобщенностью и нищетой его людей. Они не знают электрического света, а рядом – грандиозные запасы энергии, они одеты в тряпье, а рядом – безбрежье овечьих отар, дающих великолепную шерсть. В мыслях об этом я добрался до Чили-Чико.<sup>257</sup>

И там, на исходе дня, меня ждал великий закат. Нестихающий ветер кромсал кварцевые облака. Потоки синевы окружили огромную белую глыбу, и ветер долго держал ее на весу между небом и землей.

Пастбища, посевы – все там боролось за жизнь под ударами студеного ветра. Вокруг поднимались суровые скалы Кастильо, точно башни с готическими шпилями, гранитными зубцами, вырезанными самой стихией. Снежные треугольники и квадраты лежали на своевольных вершинах Айсена, то круглых как шар, то плоских, похожих на огромные столы.

---

<sup>257</sup> Чили-Чико – один из пяти географических районов Чили, включающий провинции Вальдивия, Осорно и Льянпуюэ.

Л небо творило закат из тончайшего шелка и металлов и, желтое, струилось в высоте, точно огромная птица, парящая над чистым пространством. Все менялось внезапно, сразу, – становилось широченной пастью кита, огненным леопардом или светящимся абстрактным полотнищем.

Я понял, что распахнувшаяся надо мной бескрайность делает меня свидетелем пылающего величия Айсена с его скалами, водопадами и миллионами мертвых обугленных деревьев, которые обвиняют своих давних убийц, с его безмолвием, где рождается новый мир и все уже готово к торжественному действию земли и неба. Но не было там приюта, не было общего порядка, устроенности – не было человека. А тем, кто живет в таком одиночестве, нужно единение, неоглядное, как их просторы.

Я ушел, когда догорал закат и упала ночь – внезапная и синяя.

# Знамена сентября

Сентябрь на юге нашего континента – цветущий, раздольный. А еще это месяц знамен.

В начале прошлого века, в 1810 году, в сентябре на многих землях Южной Америки вспыхнули, разгорелись восстания против испанского господства.

В сентябре мы, латиноамериканцы, празднуем годовщины освобождения наших стран, чествуем национальных героев и встречаем весну, которая в щедрости своей пересекает Магелланов пролив и цветет даже в Южной Патагонии и на мысе Горн.

Важнейшую роль в истории сыграла эта непрерывная цепь революций, которые вызревали на всем континенте – от Мексики до Аргентины и Чили.

Наши вожди несхожи между собой. Боливар<sup>258</sup> – знатный дворянин и воин, наделенный пророческим озарением; Сан-Мартин<sup>259</sup> – гениальный военачальник, армия которого пересекла самые грозные и высокие горы планеты, чтобы завоевать свободу Чили; Хосе Мигель Каррера<sup>260</sup> и Бернардо

---

<sup>258</sup> *Боливар* Симон (1783–1830) – один из выдающихся руководителей борьбы за независимость Латинской Америки.

<sup>259</sup> *Сан-Мартин* Хосе де (1778–1850) – национальный герой Аргентины, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке.

<sup>260</sup> *Хосе Мигель Каррера* (1785–1821) – чилийский политический и военный деятель, один из руководителей борьбы за независимость страны.

О'Хиггинс<sup>261</sup> – создатели первой чилийской армии, равно как и первых типографий и первых декретов об отмене рабства, которое в Чили ликвидировали на много лет раньше, чем в Соединенных Штатах.

Хосе Мигель Каррера, Боливар и некоторые другие вожди освободительной войны происходили из знатных крепольских семей, их интересы резко сталкивались с интересами испанцев, хозяйничавших в Латинской Америке. Неорганизованный народ был рабски послушен воле испанских властителей. Такие люди, как Боливар и Каррера, которые читали энциклопедистов и обучались в испанских военных академиях, разбили стену глухой изоляции и невежества, чтобы пробудить дух патриотизма.

Жизнь Хосе Мигеля Карреры была недолгой и ослепительной, как молния. Я назвал старые мемуары о Хосе Мигеле Каррере «Несчастливый гусар» и опубликовал их несколько лет назад. Каррера, человек яркий и самобытный, подобно громоотводу, притягивающему электрические заряды, навлекал на себя множество бед. Кончилось тем, что его расстреляли в Мендосе по приказу властей только что провозглашенной Республики Аргентины. Горя желанием свергнуть испанское господство, Каррера повел за собой темных индейцев аргентинской пампы. Он осадил Буэнос-Айрес и чуть было не взял его штурмом. Но более всего ему хоте-

---

<sup>261</sup> Бернардо О'Хиггинс (1776–1842) – государственный и военный деятель Чили, один из руководителей войны за независимость Латинской Америки.

лось освободить Чили, и во имя этой заветной цели он воевал, организовывал геррильи, которые привели его на эшафот. Бурные годы борьбы за независимость поглотили одного из самых блистательных и отважных ее сыновей. История обвиняет в этом кровавом деянии О'Хиггинса и Сан-Мартина. Но история сентября, месяца весны и национальных знамен, простирает крылья над памятью всех трех героев сражений, развернувшихся среди вечных снегов и необозримых просторов пампы.

О'Хиггинс, другой освободитель Чили, был скромным человеком. Он прожил бы тихую и незаметную жизнь, не случись ему в семнадцать лет встретить в Лондоне старого революционера, который объездил всех европейских правителей в поисках помощи великому делу освобождения Америки. Революционера звали Франсиско де Миранда,<sup>262</sup> среди его друзей была весьма благоволившая к нему русская императрица Екатерина II. С русским паспортом Франсиско де Миранда прибыл в Париж и свободно входил в кабинеты европейских министров.

Встреча Миранды с О'Хиггинсом весьма романтична, вполне в оперном стиле эпохи. О'Хиггинс был незаконным сыном ирландского офицера, ставшего впоследствии испанским вице-королем и губернатором Чили. Франсиско де Ми-

---

<sup>262</sup> Франсиско де *Миранда* (1750–1816) – венесуэльский патриот, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке, участник Великой французской революции.

ранда заинтересовался юношей, сумел выяснить тайну его происхождения и понял, какую роль О'Хиггинс может сыграть в освободительной борьбе. Историками описана та сцена, в которой Миранда рассказывает О'Хиггинсу, кто его отец, и призывает юношу присоединиться к борцам за свободу. Молодой О'Хиггинс, рыдая, падает на колени и, обняв Миранду, обещает немедленно отправиться на родину, в Чили, чтобы возглавить восстание против испанских угнетателей. Именно О'Хиггинс добился окончательной победы в борьбе с испанскими колонизаторами, и его считают основателем нашей республики.

Миранда, захваченный в плен испанцами, умер в страшной тюрьме Ла Каррака в Кадисе. Тело генерала Французской революции, наставника революционеров, завязали в мешок и сбросили с высоты в море.

Сан-Мартин, изгнанный своими соотечественниками, умер в Булони-сюр-Мер, во Франции, одиноким неприкаянным стариком.

О'Хиггинс, освободитель Чили, умер в Перу, вдали от всего, что было дорого его сердцу, отверженный креольскими латифундистами, которые очень скоро захватили власть в свои руки.

Совсем недавно, попав в Лиму, я посетил Исторический музей Перу. Там я увидел картины, написанные генералом О'Хиггинсом в последние годы жизни. На всех картинах – Чили, чилийская весна, листья и цветы весеннего сентября.

В эти сентябрьские дни мне вспоминаются имена героев, события, страдания и страсти той мятежной поры. Спустя столетие наши народы снова поднимаются на борьбу, яроственный ветер и гнев снова колышат наши знамена. Много переменилось с тех далеких времен, но история следует своим путем, и новая весна вступает на бескрайние просторы нашей Америки.

# Престес

Ни у одного из руководителей коммунистических партий латиноамериканского континента не было в жизни стольких опасностей, невероятных и героических событий, сколько у Луиса Карлоса Престеса. Правда этой жизни и ее легенда давно преодолели идеологические заслоны. Подвиги, совершенные Престесом – воином и политическим деятелем Бразилии, – сделали его живым воплощением античного героя.

Когда ко мне в Исла-Негра пришло приглашение посетить Бразилию и познакомиться с Престесом, я тотчас собрался в путь. Я узнал, что буду единственным зарубежным гостем, и это мне польстило. Я понял, что и мне выпало счастье присутствовать при его воскрешении.

Престес только что вышел из тюрьмы, где пробыл более десяти лет. Столь длительные сроки заключения – обычная вещь в «свободном мире». Мой товарищ Назым Хикмет просидел шестнадцать или семнадцать лет в турецкой тюрьме. Да и теперь, когда я пишу эти строки, семь парагвайских коммунистов томятся за решеткой. Более двенадцати лет эти погребенные заживо люди не имеют никакой связи с внешним миром. Бразильские власти выдали гестаповцам жену Престеса, немку по происхождению. Нацисты заковали ее в цепи и на корабле повезли на мученическую смерть. Она была обезглавлена нацистами после того, как родила дочь в тю-



ремном дворе. Теперь девочка живет со своим отцом, ее вырвала из лап гестапо неутомимая женщина – донья Леокадия Престес, мать вождя. О Престесе, о трагических судьбах его близких помнили все долгие годы его тюремного заточения.

Я был в Мексике, когда умерла донья Леокадия Престес. Она объездила весь мир, добиваясь освобождения сына. Генерал Ласаро Карденас, бывший президент Мексиканской республики, послал телеграмму бразильскому диктатору с просьбой выпустить Престеса из тюрьмы на несколько дней, чтобы он смог присутствовать на похоронах матери, Генерал Карденас лично гарантировал возвращение Престеса в тюрьму, но Жетулио Варгас<sup>263</sup> ответил отказом.

Разделяя негодование всего мира, я написал стихи, посвященные донье Леокадии и ее сыну. В этих стихах я клеймил бразильского диктатора.

Я прочитал стихотворение над могилой благородной женщины, которая безуспешно стучала во все двери мира, чтобы освободить сына. Оно начиналось сдержанно:

Женщина, ты возвеличила величье Америки,  
ты дала ей самую могучую прозрачную реку,  
ты дала ей огромное дерево с несчетными корнями —  
сына, достойного великой родины.

С каждой строкой стихотворение становилось все более

---

<sup>263</sup> Жетулио Варгас (1883–1954) – президент Бразилии с 1930 по 1945 и с 1951 по 1954 г.

гневым обличением бразильского диктатора.

Я читал его повсюду, его напечатали на листовках и почтовых открытках, которые облетели весь континент.

Как-то раз, попав в Панаму, я прочел его на поэтическом вечере, вслед за любовными стихами. Жара стояла страшная, и в переполненном зале нечем было дышать. Я начал читать стихи против президента Варгаса и почувствовал, что у меня пересохло в горле. Остановившись, я взял стакан и в этот момент увидел устремившегося ко мне человека в белом костюме. Приняв его за служащего, я протянул ему стакан, чтобы он налил воды. Но человек в белом отпрянул в сторону и, обернувшись к публике, закричал возмущенным, срывающимся голосом:

– Как посол Бразилии, я протестую!.. Престес – уголовный преступник!..

Его слова потонули в оглушительном свисте. Внезапно посреди зала встал студент-негр, широкий, как шкаф. Он рванулся к трибуне, вытянув руки так, словно сейчас схватит посла за горло. Я кинулся к послу и, к счастью, сумел помочь ему уйти из зала без оскорбительного для его сана скандала.

После всего этого бразильцы считали совершенно естественным, что я приеду к ним из Неда-Негра и приму участие в народном торжестве. Я был потрясен, увидев стадион «Пакаэмбо» в Сан-Паулу, весь заполненный людьми. Там, говорят, собралось более ста тридцати тысяч человек. Люди на дальних трибунах казались крохотными. Я стоял рядом

с Престесом. Маленький, худощавый, он был словно святой Лазарь, только что вышедший из могилы и приодетый к празднику. Лицо его отличалось той прозрачной белизной, какая бывает у заключенных. Его напряженный взгляд, большие фиолетовые круги под глазами, заострившиеся черты лица, сдержанное достоинство – все напоминало о долгих годах мученической жизни. Но говорил он спокойно, как генерал, одержавший победу.

Я прочел посвященное ему стихотворение, которое написал за несколько часов до прихода на стадион. Жоржи Амаду вставил лишь одно португальское слово «pedreiros».<sup>264</sup> Несмотря на все мои страхи, бразильцы поняли стихотворение на испанском языке. Я читал медленно, и следом за каждой строкой раздавался гром аплодисментов. Эти аплодисменты нашли глубокий отклик в моей поэзии. Поэт, которому довелось читать свои стихи перед ста тридцатью тысячами людей, не может остаться прежним и не может писать по-прежнему.

И наконец я встретился с легендарным Луисом Карлосом Престесом в домашней обстановке, у его друзей. Престес – невысокого роста, худой, лицо белое, как папиросная бумага; во всем его облике – графическая четкость старинной миниатюры.

При всей своей сдержанности он был со мной очень сердечен. Думаю, он проявил ко мне ласковое расположение, ка-

---

<sup>264</sup> Каменшики.

кое мы, поэты, встречаем довольно часто, ту снисходительность – мягкую и отстраненную, что в ходу у взрослых, когда они разговаривают с детьми.

Престес пригласил меня пообедать на следующей неделе. Но произошла беда, которую я могу приписать злему року или моей безответственности. Дело в том, что в португальском языке есть суббота и воскресенье, а вместо понедельника, вторника, среды и так далее, будь они неладны, – «второй день», «третий день», «четвертый день». «Первого дня», как такового, не существует. Я запутался в подсчетах и не понял, о каком дне идет речь.

Загорая на пляже с красивой бразильской приятельницей, я то и дело напоминал себе, что завтра встреча с Престесом. На следующий день – «четвертый» – выяснилось, что Престес ждал меня к обеду в «третий день», в те самые часы, когда я нежился на пляже Ипанема. Он спрашивал обо мне всюду, но никто не знал, где я. К обеду были приготовлены, в соответствии с моими вкусами, превосходные вина, которые так трудно было найти в Бразилии. Мы должны были обедать вдвоем.

Каждый раз, вспоминая эту историю, я готов умереть со стыда. Чего я только не выучил в жизни, а запомнить дни недели по-португальски не сумел.

# Кодовилья

Когда я уезжал из Сантьяго, мне сказали, что со мной хочет поговорить Викторิโอ Кодовилья.<sup>265</sup> Я поехал к нему. Мы всегда были добрыми друзьями. До самой его смерти.

Викторิโอ Кодовилья был представителем III Интернационала, со всеми характерными для этой эпохи чертами. Он был тверд и категоричен, имел огромное влияние на людей и легко подчинял их своей воле. Когда Кодовилья появлялся на собрании, возникало ощущение, что у него все уже обдумано и решено. Других он слушал вежливо, порой нетерпеливо, но потом давал непреложные указания. Это был удивительно способный человек, умевший мыслить масштабно. Он не знал отдыха в работе и требовал того же от своих товарищей. Мне он казался чем-то вроде могущественной машины, решающей политические проблемы времени.

Со мной Кодовилья был по-особому внимателен и мягок. Практичный, трезвый, он всегда отличался глубокой человечностью и тонким художественным чутьем и потому с пониманием относился к ошибкам и слабостям творческой интеллигенции. Но это не мешало ему быть жестким, твердым в политике.

---

<sup>265</sup> Викторิโอ *Кодовилья* (1894–1970) – видный деятель аргентинского и международного коммунистического и рабочего движения; был Председателем Коммунистической партии Аргентины.

Надо сказать, что Кодовилья отличался большим жизненным. Мне нравилось, как он сражался в свое время против ханжеского пуританства некоторых наших коммунистов. Кодовилья смотрел на вещи шире нашего учителя, великого чилийца Лаферте, стоявшего у истоков нашей партии, но несколько ограниченного в житейских вопросах.

\* \* \*

Многие думают или думали, что я крупная политическая фигура. Не знаю, откуда взялась эта странная легенда. Однажды я с самым искренним удивлением обнаружил свою фотографию – маленькую, как почтовая марка, – на развороте журнала «Лайф», который представлял читателям вождей мирового коммунизма. Забавно было видеть свою физиономию между фотографиями Престеса и Мао Цзэ-дуна. Но я не стал объясняться с редакцией, потому что не выношу опровержений в печати. К тому же было приятно лишний раз убедиться в неосведомленности ЦРУ, имеющего пять миллионов агентов, разбросанных по всем частям света.

Мое самое продолжительное общение с политическим лидером Китая состоялось на приеме в Пекине. Я выпил бокал вина, чокнувшись с самим Мао Цзэ-дуном на официальном приеме. Мао Цзэ-дун весело глянул на меня, подарил мне улыбку – благосклонную и одновременно ироническую – и дольше обычного задержал мою руку в своей. А потом вер-

нулся к столу.

# Сталин

Сколько я ни приезжал в СССР, мне не довелось увидеть даже тех советских деятелей, которые считались досягаемыми. Сталина я видел много раз, но издалека – на трибуне Мавзолея, где в день 1 Мая или 7 Ноября стояли все руководители страны. Как член комитета по международным премиям, которые тогда назывались Сталинскими, я провел в Кремле много часов, но так и не встретился со Сталиным в коридоре, да и сам он ни разу не зашел к нам во время наших заседаний или в обед и не позвал к себе, чтобы познакомиться. Премии, как правило, присуждались единодушно, однако при обсуждении кандидатур не однажды разгорались упорные дискуссии. У меня сложилось впечатление, что кто-то из секретариата комитета успевал в самый решающий момент сбегать к великому человеку. Но честно говоря, я не помню, чтобы с его стороны возникали какие-то возражения, и не помню также, чтобы он, находясь поблизости, показал, что знает о нашем присутствии. И все же у меня состоялось заочное знакомство с этим загадочным человеком, который, быть может, возвел таинственность в систему. До сих пор не знаю, как объяснить все это. Мы ехали в Москву с Луи Арагоном и его женой Эльзой, чтобы принять участие в работе Комитета по Сталинским премиям. Снежные заносы задержали нас в Варшаве, и мы поняли, что вовремя не приедем. Один из



сопровождавших нас советских товарищей взялся передать в Москву имена кандидатов, которых собирались выдвинуть мы с Арагоном и которые потом были одобрены членами комитета. Самое любопытное в этой истории то, что наш советский спутник, переговоривший по телефону с Кремлем, отозвал меня в сторону и сказал:

– Поздравляю вас, товарищ Неруда. Товарищ Сталин, прочитав список кандидатов, воскликнул: «Почему здесь нет Пабло Неруды?»

На следующий год я получил Международную премию «За укрепление мира между народами». Возможно, я ее заслужил, но и сейчас мне не понять, как этот недостижимый человек узнал о моем существовании.

В те времена мне рассказывали и о других подобных поступках Сталина.

А вот еще случай. После смерти Маяковского его злобствующие враги, люди реакционных взглядов, всячески пытались очернить его память, стереть имя поэта с карты советской литературы. Но произошло событие, разбившее их планы. Лиля Брик, женщина, которую любил Маяковский, направила Сталину письмо, в котором говорилось о позорных нападках на поэта и со всей страстью защищалось его творчество. Противники поэта – посредственные литераторы – думали, что они неуязвимы, потому что действуют сообща. Но они просчитались. Сталин написал на письме: «Маяковский был и остается лучшим, талантливым поэтом нашей со-

ветской эпохи».

Со временем возникли музеи Маяковского, появились его памятники и многочисленные издания его замечательных стихов. Недруги поэта были повергнуты.

Многие считали меня убежденным сталинистом. Фашисты и реакционеры числили сталинским бардом. Но меня это не особенно задевало. Трудно разобраться, что к чему, в такое дьявольски запутанное время.

Самая глубокая трагедия для нас, коммунистов, заключалась в том, что мы поняли, что наши противники правы в оценке некоторых аспектов деятельности Сталина. На смену открытиям, потрясшим паши души, пришло болезненное состояние умов. Одни чувствовали себя обманутыми и волей-неволей принимали доводы врагов, переходили на их сторону. Другие считали, что XX съезд – великое свидетельство силы и цельности коммунистической партии, которая выстояла, несмотря ни на что, и, не испугавшись ответственности, явила миру историческую правду.

И если мы действительно ответственны, то теперь, зная все, можем самокритично проанализировать прошлое: ведь самокритика и анализ – главные элементы нашего учения – вооружат нас и не позволят повториться подобному.

И вот моя позиция: темные стороны периода культа личности, о которых я не знал долгие годы, не могли вытеснить из моей памяти образ Сталина, который сложился у меня с самого начала, – образ строгого к себе, как анхорет, челове-

ка, титанического защитника русской революции. Помимо всего, война возвеличила этого невысокого человека с большими усами; с его именем бойцы Красной Армии шли на штурм гитлеровской крепости и не оставили от нее камня на камне.

Но я написал лишь одно стихотворение, посвященное Сталину – этой сильной личности. По случаю его смерти. Стихотворение можно найти в любом собрании моих сочинений. Эта смерть получила космический резонанс. Содрогнулась человеческая сельва. И мое стихотворение отразило вселенскую панику тех дней.

## Урок скромности

Габриэль Гарсиа Маркес с возмущением рассказал мне о том, что в русском переводе его чудесной книги «Сто лет одиночества» выкинули несколько эротических пассажей.

– Это очень плохо, – сказал я московским издателям.

– Книга нисколько не проиграла, – ответили мне, и я подумал, что они сделали это без злого умысла. Но все-таки сделали.

Как это понять? Во мне все меньше говорит социолог. Не касаясь сейчас принципов марксизма и того, что я против капитализма и твердо верю в социализм, хочу сказать, что мне все труднее разобраться в противоречиях, которые раздирают человечество.

Мы, поэты нашей эпохи, должны были выбирать. И сделанный выбор не сулил дороги, устланной розами. Жестокие, бессмысленные войны, постоянный гнет, агрессивная власть денег, все проявления несправедливости стали еще очевиднее. Как и приманки отживающей системы – так называемая «свобода», секс, насилие и те блага, что оплачиваются в удобную для всех рассрочку.

Поэты нашего времени пытались избавиться от смятения. Одни ушли в мистику, погрузились в сон разума. Других заморозила молодежь, поднявшая на щит разрушительное насилие. Они стали поборниками незамедлительного дей-

ствия, не задумываясь над тем, что в нашем воинствующем мире это приводит к репрессиям и бесплодным мукам.

В моей партии, Коммунистической партии Чили, я нашел немало простых людей, далеких от тщеславия, от стремления к власти, от корыстных интересов. Я счастлив, что узнал честных людей, которые борются за всеобщую честность, иными словами – за справедливость.

У меня не было никаких осложнений с моей партией, которая, при всей своей скромности, сумела добиться замечательных побед для народа Чили, для моего народа. Что мне еще сказать? Я стремлюсь только к одному – быть таким же простым, как мои товарищи. Таким же стойким и непобедимым, как они. Еще многому можно научиться у скромности. И ничему не научит гордыня индивидуализма, которая замыкается в скепсисе, чтобы не встать на сторону человеческого страдания.

# Фидель Кастро

Спустя две недели после победного вступления в Гавану Фидель Кастро приехал ненадолго в Каракас. Он хотел публично выразить благодарность правительству и народу Венесуэлы за помощь, за оружие, которое получили кубинские революционеры. Эту помощь оказал, разумеется, не Бетанкур, только что избранный на пост президента, а его предшественник – адмирал Вольфганг Ларрасабаль. Ларрасабаль, дружески настроенный к венесуэльским левым кругам, включая и коммунистов, проявил солидарность с кубинскими революционерами.

Мне редко случалось видеть, чтобы так горячо принимали политических деятелей, как принимали в Венесуэле молодого вождя кубинской революции. Фидель говорил четыре часа подряд на огромной площади Эль-Силенсио – в самом сердце Каракаса. Я был в числе двухсот тысяч человек, которые, стоя, в полном молчании, слушали его длинную речь. Для меня, как и для многих, речи Фиделя Кастро были откровением. Когда он говорил перед огромной толпой, я понял, что для Латинской Америки наступила новая эпоха. Мне понравилась свежесть, необычность его языка. Даже лучшие политические и профсоюзные лидеры громоздят нередко штампованные фразы. Речи их могут иметь глубокий смысл, но слова – избитые, затертые – теряют первозданную силу. Фи-

дель не признает ораторских штампов. Его язык прост и убедителен. Похоже, он сам учится, когда говорит и учит.

Президента Бетанкура на митинге не было. Его напугала мысль о встрече с жителями Каракаса, где он никогда не пользовался популярностью. Стоило Фиделю произнести это имя, как раздавались громкие крики и свист, которые он пытался унять движением руки. Думается, в тот день определились враждебные отношения между Бетанкуром и кубинским революционером. Лично я думаю, что та памятная речь, тот энтузиазм, который рождал искрометный, блистательный Фидель в многотысячной толпе, та самозабвенность, с которой его слушали в Каракасе, уязвили, опечалили Бетанкура, политического деятеля старого склада, привыкшего к пышной риторике, к комитетам и подкомитетам, к закрытым заседаниям. С того самого дня Бетанкур люто преследовал все, что, на его взгляд, имело прямое или косвенное отношение к Фиделю Кастро или к кубинской революции.

На другой день после митинга мы были за городом на пикнике. Неожиданно к нам подъехали мотоциклисты и передали приглашение в кубинское посольство. Оказывается, меня разыскивали весь день и лишь случайно узнали, где я. Прием был назначен на вечер, и мы с Матильдой направились прямо в посольство. На улицах, прилегающих к нему, столпился народ, и мы едва пробились к входу. Приглашенных было так много, что они заполнили и сад и все залы.

Мы шли по залам через заслоны рук с бокалами коктейлей. Кто-то повел нас по коридорам, потом по лестнице на второй этаж. Наверху нас ждала Селия – друг и личный секретарь Фиделя. Матильда осталась с ней. Меня пригласили в соседнюю комнату, которая могла быть спальней садовника или шофера. В комнате стоял маленький столик и кровать. Кто-то ушел, не успев убрать ее, и даже подушка валялась на полу. Я подумал, что меня проведут в какую-нибудь другую комнату, более подходящую для встречи с кубинским вождем. Но нет. Неожиданно распахнулась дверь, и я увидел Фиделя Кастро, который сразу заполнил собой все пространство. Он был выше меня на целую голову.

– Привет, Пабло! – сказал он, устремившись ко мне, и стиснул меня в своих объятиях.

У него оказался удивительно высокий голос. Да и облик Фиделя чем-то соответствовал его голосу. Фидель не производил впечатления высокого мужчины, скорее, он выглядел высоким ребенком, у которого вдруг вытянулись ноги, а лицо, с редкой юношеской бородой, осталось ребячьим.

Вдруг, точно его ударило электрическим током, он выпустил меня из объятий и метнулся в противоположный угол. Только теперь я заметил пробравшегося сюда фоторепортера, который наводил на нас камеру. Рывком очутившись возле него, Фидель схватил его и встряхнул. Камера упала на пол. Я подскочил к Фиделю и взял за руку, испуганный жалким видом коротышки-фоторепортера, которому не удава-



лось отбиться. Кончилось тем, что Фидель просто выставил его за дверь. Потом повернулся ко мне, улыбаясь, поднял фотоаппарат и бросил на постель.

Не обмолвясь ни словом о случившемся, мы заговорили о плане создания агентства печати для всей Латинской Америки. Возможно, этот разговор породил агентство Пренса Латина. Вскоре мы – он через одну дверь, я через другую – вернулись туда, где шел прием.

Час спустя, когда мы с Матильдой ехали в гостиницу, я вспомнил испуганное лицо фоторепортера и подумал о быстроте реакции, которой обладает партизанский вожак. Он мгновенно спиной почувствовал присутствие чужого человека.

Это была моя первая встреча с Фиделем Кастро. Почему он так решительно не хотел этой фотографии? Кроется ли здесь какая-то политическая подоплека? Я и теперь не могу взять в толк, по какой причине наша беседа была столь таинственной.

Моя первая встреча с Че Геварой была иной. Она состоялась в Гаване. Он пригласил меня в министерство финансов или экономики – сейчас не припомню, – и я явился к нему около часа ночи. Мы условились на двенадцать, но я опоздал: сидел в президиуме на одном собрании, которое очень затянулось.

Че Гевара был в сапогах, в походной военной форме, с

пистолетами за поясом. Все это не вязалось с обстановкой банковского помещения.

Гевара был смуглым, говорил не торопясь, с явным аргентинским акцентом. С этим человеком хотелось беседовать не спеша, в пампе, под открытым небом, за горячим мате. Он говорил короткими фразами, заканчивая их улыбкой, как бы приглашая собеседника высказать свое мнение.

Мне польстило то, что сказал Гевара о моей книге «Всеобщая песнь». Он читал ее вечерами партизанам Сьерра-Маэстры. Прошли годы, но меня и сейчас пронизывает дрожь при мысли о том, что мои стихи были с ним до самой смерти. Режи Дебре<sup>266</sup> рассказал мне, что в горах Боливии Гевара до последнего часа хранил в вещевом мешке две книги: арифметический задачник и «Всеобщую песнь». В ту ночь я услышал от Че Гевары слова, которые меня озадачили, и, быть может, они отчасти объясняют его судьбу. Мы говорили о возможном нападении американцев на Кубу. Он то смотрел на меня, то переводил взгляд на темное окно. Я видел на улицах Гаваны в разных местах мешки с песком. Внезапно Че Гевара сказал:

– Война... Война... Мы против войны, но коль скоро мы воюем, нам без нее нельзя. В любой момент мы к ней готовы.

Он размышлял вслух, разъясняя это себе и мне. Я был потрясен. Для меня война – угроза. Для него – неизбежность,

---

<sup>266</sup> Режи Дебре – современный французский политолог, автор работ о революционном движении в Латинской Америке, написанных с ультралевых позиций.

судьба.

Мы простились, и больше я его не видел. Потом был бой в боливийской сельве и трагическая гибель Гевары. В моей памяти он остался тем задумчивым человеком, у которого во всех его героических битвах рядом с оружием было место для поэзии.

Латинская Америка очень любит слово «надежда». Нам нравится, что нас называют «континентом надежды». Кандидаты в депутаты, сенаторы и президенты именуют себя «кандидатами надежды».

На самом деле эта надежда – нечто вроде обещанного рая, обещанного вознаграждения, которое все откладывает. Откладывается до следующих выборов, до следующего года, до следующего века.

Когда свершилась кубинская революция, миллионы латиноамериканцев разом очнулись от сна. Они не решались поверить. Подобного не было в летописях континента, который жил в безнадежных мечтах о надежде.

И вот кубинец Фидель Кастро, о котором прежде никто не знал, хватает надежду за волосы или за ноги и, не дав ей улететь, сажает за свой стол – за стол в доме народов Латинской Америки.

С той поры мы далеко шагнули вперед по пути к надежде, ставшей явью. Но у нас тревожно замирает сердце. Соседняя страна – очень могущественная империалистическая страна – хочет раздавить Кубу, уничтожить надежду. Латиноамери-

канцы каждый день читают газеты и каждый вечер слушают радио. И вздыхают с удовлетворением: Куба существует. Вот и еще один день. Еще один год. Еще одно пятилетие. Нашу надежду не обезглавили. Она будет жить.

# Письмо

Уже давно писатели Перу, среди которых у меня много друзей, просили, чтобы мне дали перуанский орден. Признаться, я всегда видел в орденах что-то смешное. Те немногие, что у меня есть, повесили мне на грудь без любви, просто они полагались по должности, за консульскую службу, словом, тут действовала бюрократическая рутина. Однажды, когда я был в Лиме, Сиро Алегрия, большой писатель, автор романа «Голодные собаки», бывший тогда председателем Ассоциации перуанских писателей, добился, чтобы мне пожаловали перуанский орден. Моя поэма «Вершины Мачу-Пикчу» стала частью перуанской жизни; возможно, я сумел выразить чувства перуанцев, дремавшие, точно камни великого и древнего сооружения. К тому же тогдашний президент – архитектор Белаунде Тери – был моим другом и читал мои стихи. И хотя революция, изгнавшая Белаунде из страны, неожиданно дала правительство, готовое открыть новые пути в перуанской истории, я по-прежнему считаю архитектора Белаунде человеком безупречно честным, но пытавшимся решать проблемы почти химерические, и это увело его от ужасающей действительности страны, отгородило от народа, который он глубоко любил.

Я подумал – пусть меня наградят, раз орден дают не за дипломатическую службу, а за стихи. Помимо всего – и это

немаловажно – в отношениях между народами Чили и Перу есть еще незажившие раны. И разве только дипломаты, спортсмены и государственные деятели должны залечивать их? У поэтов на то больше оснований – их душам ни к чему пограничные столбы и заслоны.

Тогда же я поехал в США на конгресс Пен-клуба. Среди приглашенных были мои друзья – аргентинские писатели Эрнесто Сабато и Виктория Окампо, уругвайский критик Эмир Родригес Монегаль, мексиканский романист Карлос Фуэнтес и Артур Миллер.<sup>267</sup> Приехали писатели почти из всех социалистических стран Европы.

В первый же день я узнал, что на конгресс приглашены и кубинские писатели. В Пен-клубе недоумевали, почему не приехал Карпентьер, и попросили меня выяснить, в чем дело. Я связался с представителем агентства Пренса Латана в Нью-Йорке, который обещал передать все Карпентьеру.

В ответе, полученном через Пренса Латина, сообщалось, что Карпентьер не мог приехать потому, что приглашение пришло слишком поздно и не были готовы американские визы. Кто-то явно путал. Визы предоставили три месяца назад, и тогда же было послано приглашение. Очевидно, в последний момент было решено не ехать.

В США я делал то, что всегда. Мой первый поэтический вечер состоялся в Нью-Йорке; народу собралось так много, что на площади перед театром установили телевизионные

---

<sup>267</sup> Артур Миллер (род. в 1915 г.) – американский драматург.

экраны, чтобы меня могли видеть и слышать тысячи людей – те, кто не попал внутрь. Я был взволнован, что мои резко антиимпериалистические стихи нашли такой отклик у такого числа американцев. В те дни мне многое открылось: и в Вашингтоне, и в Калифорнии студенты и простые люди горячо принимали мои стихи, бичующие империализм. Я убедился воочию, что те североамериканцы, которые были врагами народов Латинской Америки, – враги своего народа.

У меня брали интервью. В журнале «Лайф» на испанском языке, которым руководит группа латиноамериканских выскочек, исказили и искромсали мои мысли. И не исправили, когда я попросил. Вроде бы ничего страшного. Всего-навсего выпустили два абзаца: в одном я осуждал войну во Вьетнаме, а в другом – недавнее убийство негритянского лидера. Лишь несколько лет спустя журналистка, редактировавшая текст интервью, сказала, что фразы выпустили намеренно.

В Соединенных Штатах я узнал, что мои товарищи, американские писатели, – и это делает им честь – добились моей визы на въезд в страну ценой больших усилий. Они, по-моему, даже пригрозили госдепартаменту опубликовать протест Пен-клуба, если мне не разрешат приехать на конгресс. Одна из самых уважаемых американских поэтесс, почтенная Мариан Мур – она умерла несколько месяцев спустя – сказала на вечере, где ее чествовали, как она счастлива, что американские поэты, сплотившись, сумели добиться моего приезда. Говорят, ее взволнованные, прочувственные слова вы-

звали овацию.

И вот по возвращении в Чили из страны, где я сражался и как поэт и как политик, неустанно призывая к защите и поддержке кубинской революции, я получил то знаменитое письмо, в котором некоторые кубинские писатели пытались обвинить меня не в чем ином, как в предательстве и угодничестве. Непостижимо, но факт. Орден за «Мачу-Пикчу», участие в конгрессе Пен-клуба, мои заявления в печати и поэтические вечера, мои дела и слова, сказанные в самом логове врага против североамериканской системы, – все было перевернуто и поставлено под сомнение.

Когда я пришел в дом на улице Театинос в Сантьяго-де-Чили, чтобы обсудить эту историю в Центральном Комитете партии, там уже было свое мнение о письме, по крайней мере по поводу его политической стороны.

– Это выступление и против нашей партии, – сказали мне.

То было сложное время. Возникали разногласия между коммунистами Кубы, Венесуэлы, Мексики и других стран. Позднее, при трагических обстоятельствах, кубинцы разошлись с боливийцами.

Коммунистическая партия Чили решила торжественно наградить меня недавно учрежденной медалью Рекабаррена, которой удостоивают лучших чилийских коммунистов. Трезвый, обдуманый ответ.

Паша коммунистическая партия действовала разумно, она стояла на том, что любые разногласия требуют глубоко-



го анализа. Сегодня от этих разногласий не осталось и следа. Между двумя ведущими партиями Латинской Америки существует полное взаимопонимание и братские отношения.

Что касается меня, я по-прежнему тот, кто написал «Песню о подвиге». Я все так же люблю эту книгу. Она не дает мне забыть, что я – первый поэт, воспевший в целой книге кубинскую революцию. Я понимаю, конечно, что и революция, и те, кто ее делает, могут совершать ошибки и несправедливости. Неписанные законы, управляющие человеческим поведением, касаются и революционеров и контрреволюционеров. Никто не может избежать промахов. Слепая точка, маленькая слепая точка не имеет особой значимости в контексте великих дел. Я, как и раньше, чту, люблю и воспеваю кубинскую революцию, кубинский народ и его благородных героев.

Но у каждого свои слабости. У меня их много. Я, к примеру, не премину сказать, что я – стойкий борец-революционер. Должно быть, поэтому, а может, причиной тому какая-то иная слабинка в моем характере, но ни сегодня, ни в будущем я не протяну руки никому, кто обдуманно или необдуманно поставил свою подпись под письмом, которое по-прежнему кажется мне позорным.

# Родина желанная и суровая

## Тетрадь 12

### Экстремизм и шпионы

В прошлом анархистам – и так же поступят завтра их анархистствующие последователи – ничего не стоило перейти на удобные позиции анархо-капитализма, прибежища вольных стрелков от политики, псевдонезависимых и леваков. Капитализм считает главным врагом коммунистов и не зря в первую очередь берет их на прицел. Бунтари-индивидуалисты легко попадают на лезье многоопытной реакции, которая называет их героическими защитниками священных принципов. Реакционеры знают, что бунт одиночек, бунт индивидуалистов не опасен и что только организованные массы, только высокое классовое сознание могут изменить жизнь общества.

Все это мне стало ясно во время гражданской войны в Испании. Некоторые антифашистские анархические группировки разыгрывали карнавальное действо, когда силы Гитлера и Франко подступали к Мадриду. Речь, конечно, не о таких отважных анархистах, как Дуррути и его каталонцы, которые самоотверженно дрались за Барселону.

Но в тысячу раз хуже экстремистов – шпионы. Случается, в революционные партии проникают вражеские агенты, оплачиваемые полицией, реакционными партиями или правительствами чужих стран. Одних агентов засылают с провокационными целями, других – для длительного, терпеливого наблюдения. Возьмем классический пример с Азефом. До свержения царизма он принимал участие во многих террористических акциях и не однажды сидел в тюрьме. Воспоминания начальника тайной полиции, опубликованные после революции, подробно раскрывают деятельность Азефа как агента охраны. Этот странный человек – он участвовал в убийстве великого князя – сочетал в себе террориста и доносчика.

Весьма любопытная история произошла в Лос-Анджелесе, или в Сан-Франциско, или в каком-то другом городе Калифорнии. В разгар маккартизма там арестовали всю местную партийную организацию – семьдесят пять коммунистов. На каждого имелось пронумерованное, тщательно оформленное досье со всеми подробностями. Так вот, все семьдесят пять человек оказались агентами полиции. ФБР пошло на такую роскошь – из людей, не знавших друг друга, создало собственную маленькую «коммунистическую партию», чтобы потом разыграть спектакль их ареста и приписать себе сенсационную победу над несуществующим противником. Чего только не делали в ФБР, придумали даже пресловутый кочан капусты, в котором якобы хранил сверхсекретные до-

кументы некий Чалмерз – бывший коммунист, купленный за доллары полицией. На счету ФБР есть страшные преступления, такие, как казнь или убийство супругов Розенберг, которое вызвало негодование всего человечества.

Вражеским агентам труднее было пробраться в Коммунистическую партию Чили, созданную пролетариатом, партию с большим политическим опытом. А вот признание геррильи в Латинской Америке распахнуло двери доносчикам всех мастей. В стихийно возникавших молодежных организациях нелегко было обнаружить и разоблачить шпионов. Вот почему партизанским вожакам приходилось быть начеку, они должны были остерегаться собственной тени. Культ риска в известной мере порожден стремительными безрассудными теориями партизанской войны, заполонившими Латинскую Америку. Мне кажется, убийство Че Гевары, его героическая смерть завершила эту эпоху. Но долгое время сторонники геррильистской тактики забрасывали латиноамериканский континент тезисами и декларациями, в которых утверждалось, что революционная народная власть будет принадлежать не эксплуатируемым классам, а группам вооруженных партизан. Эта идея порочна, она политически несостоятельна: партизанский вожак может обладать масштабным политическим мышлением, пример тому – Че Гевара. Но это случай особый и не частый. Всегда ли бывшие партизаны, только потому, что они были самыми отважными, или потому, что им посчастливилось избежать смерти, или потому,

что они целились лучше других, должны управлять государством?

А теперь я расскажу о том, что случилось со мной. Я только вернулся в Чили из Мексики. Однажды на собрании ко мне подошел человек средних лет. Этаким современный кабальеро, одетый с иголки, в пенсне на носу, которое придает людям весьма респектабельный вид. Очень учтиво он сказал:

– Дон Пабло, я никак не решался подойти к вам, хотя именно вам обязан жизнью. Я один из тех беженцев, которых вы спасли от концлагеря, от газовой печи и отправили на пароходе «Виннипег» в Чили. Я каталонец и масон. У меня здесь неплохое положение. Работаю экспертом по санитарному оборудованию в одной из лучших чилийских фирм.

Он рассказал мне, что у него хорошая квартира в центре Сантьяго. Что его сосед – знаменитый чемпион по теннису Иглесиас – мой школьный товарищ. Они много говорят обо мне и вот решили пригласить в гости на обед. Для этого он и пришел.

Квартира каталонца была примером благосостояния нашей мелкой буржуазии. Прекрасная мебель; гора золотистой паэлья.<sup>268</sup> Иглесиас тоже обедал с нами. Мы смеялись, вспоминая старый лицей в Темуко, игры в его темных подвалах, где мы натыкались на летучих мышей. В конце обеда госте-

---

<sup>268</sup> Паэлья – испанское национальное блюдо типа плова.

приимный каталонец произнес короткую речь и подарил мне две великолепные фотографии – Бодлера и Эдгара По. Обе фотографии и теперь хранятся в моей библиотеке.

Вскоре нашего каталонца разбил паралич, у него отнялись руки и ноги, он лишился речи. Лишь говорящие что-то глаза устремлялись в тоске то к жене-республиканке, прожившей безупречную жизнь, то к моему другу Иглесиасу. Но речь к каталонцу не вернулась. Он умер.

Когда дом каталонца заполнили друзья, венки и слезы, Иглесиасу позвонил таинственный, не назвавший себя человек. «Мы знаем, – сказал он, – что вы были в большой дружбе с покойным. Он говорил о вас самые лестные слова. Если вы хотите сделать благое дело в память о вашем друге, откройте его несгораемый шкаф и достаньте железную коробочку. Я позвоню вам через три дня».

Жена покойного не захотела и слушать Иглесиаса. Смерть мужа оказалась для нее страшным ударом. Ей было ни до чего; она переехала в пансион на улице Санто-Доминго. Хозяином пансиона был югослав, участник антифашистского сопротивления, человек, закаленный в борьбе. Вдова попросила его привести в порядок бумаги покойного мужа. Югослав нашел коробочку и с большим трудом открыл ее. И что же там оказалось! Бумаги, из которых следовало, что покойный каталонец был фашистским агентом. Копии писем, в которых сообщались имена испанских эмигрантов; эти люди, нелегально вернувшиеся в Испанию, были арестованы или

убиты. В коробочке хранилось письмо, в котором Франсиско Франко лично благодарил каталонца за верную службу. И донесения, которые помогли нацистам потопить суда, уходившие из чилийских портов с грузами. Одной из жертв стал наш красавец фрегат «Лаутаро» – гордость чилийского флота. Он вез селитру и затонул сразу же по выходе из порта Токопилья. Погибли семнадцать моряков. Одни утонули, другие сгорели заживо.

Таковы были злодейские подвиги улыбчивого каталонца, который пригласил меня однажды отобедать в его доме.

# Коммунисты

*...Прошло немало лет с той поры, как я вступил в партию... Я доволен... Коммунисты – тесная семья... У них дубленая кожа и закаленное сердце... Все точат зубы на коммунистов... Именно на коммунистов... Да здравствуют спириты, монархисты, юродивые, преступники всех мастей... Да здравствует философия гуманная и бесхребетная... Да здравствует собака, которая лает и кусает; да здравствуют похотливые астрологи, порнография, цинизм; да здравствуют раки, что пятятся назад; да здравствуют все, кроме коммунистов... Да здравствуют пояса целомудрия, консерваторы, полтыщи лет не моющие свои идеологические ноги... Да здравствуют виши в нищих поселках, бесплатные общины могилы; да здравствует анархо-капитализм; да здравствуют Рильке<sup>269</sup> и Андре Жид<sup>270</sup> со своими мальчиками; да здравствует мистицизм любого толка... Всё пригодно... Все – герои... Пусть выходят все газеты... Пусть публикуют всех, кроме коммунистов... Всем без разбору открыта дорога в освобожденный Санто-Доминго... Все могут радоваться смерти кровавого диктатора Трухильо, все, кроме коммунистов, которые упорно боролись против него... Да здравствует карнавал... последние дни кар-*

---

<sup>269</sup> Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт.

<sup>270</sup> Андре Жид Поль Гийом (1869–1951) – французский писатель.



навала... Есть маски на выбор... Маски христианских идеалистов, маски крайне левых, маски благотворительных дам и милосердных матрон... Но смотрите в оба – сюда нельзя пускать коммунистов... Плотнее закройте двери... Не оплошайте... У коммунистов нет прав ни на что... Займемся субъективным, сущностью человека, сущностью сущности... И всем будет хорошо... У нас есть свобода... Свобода без границ... Они ее не признают, они не ведают, что это такое... Свобода, чтобы заняться сущностью... Сущностью сущности...

Так пролетели последние годы... Вышел из моды джаз, пришел соул,<sup>271</sup> мы тонули в постулатах абстрактной живописи, нас потрясла война, нас убивали на войне... А тут все оставалось по-прежнему... А может, не по-прежнему?... Столько речей о духе, о возвышенном, столько полицейских дубинок, и все равно никак не ладится, не клеится... Хоть тресни, не клеится... Провалились все расчеты... Народ выступает организовано... Не прекращаются стачки и партизанские бои... Куба и Чили добились независимости... Сколько людей поют «Интернационал»... Как это странно... Как досадно... Поют на разных языках, поют на испанском языке Латинской Америки... Надо принять срочные меры... Надо запретить... Надо больше говорить о возвышенном... Чаще петь хвалу свободному миру... Чаще пус-

---

<sup>271</sup> Соул – особый вид джаза, созданный нигерийско-американским музыкантом и поэтом, выступавшим под псевдонимом Сан Ра (Солнце Ра).

кать в ход дубинки... Надо не жалеть долларов... Дальше так нельзя... Между свободой дубинки и страхом Хермана Арсиньегаса<sup>272</sup>... И теперь эта Куба... В нашем полушарии, в сердцевине яблока ту же песнь поют кубинские бородачи... Какой нам толк от Христа?... Какая помощь от священников?... Теперь никому нельзя верить... Даже священникам... Они не понимают в наших делах... Не видят, как падают в цене наши акции...

...А между тем люди карабкаются по Солнечной системе... Оставляют следы башмаков на Луне... Всюду борьба за перемены, и лишь старые системы цепляются за прошлое... Их жизнь началась в огромной паутине средневековья... Эта паутина тверже стали... И все же есть люди, верящие в перемены, они добились перемен, добились их торжества, их расцвета... Черт возьми!.. Весна – неодолима!

---

<sup>272</sup> Херман Арсиньегас (род. в 1900 г.) – колумбийский писатель, автор эссе «Между свободой и страхом».

## Поэтика и политика

Почти весь 1969 год я провел в Исла-Негра. С утра океан начинает фантастически разрастаться. Кажется, он без устали месит тесто. Во все стороны растекается мучнисто-белая пена, она поднялась на студеном дрожжах океанских глубин.

Неподвижная туманная зима. Каждый день к ее расстилающейся красоте мы прибавляем огонь, разведенный в камине. В белизне прибрежных песков нам видится извечно пустынный мир, каким он был без людей и без шумных дачников. Не подумайте, однако, что мне противна летняя сумятица толпы. Едва наступает лето, девушки уже на пляже, а мужчины и дети опасливо входят в воду и тут же выскакивают на берег, спасаясь от быстрой волны. Вот так воскресает древний, зародившийся в глубине веков, танец человека у моря, быть может, самый первый танец человека.

Зимой дома в Нела-Негра укутаны в ночную тьму. Свет горит у меня одного. Порой мне чудится, что кто-то есть в доме напротив. Я вижу освещенное окно. Но это мираж. В доме капитана никого нет. Просто свет моего окна отражается в его окнах.

Все дни минувшего года я уходил работать в облюбованный мною уголок. Попасть туда нелегко, удержаться – еще труднее. Что-то вдруг заинтересовало моих собак – Панду и Джоу-Ту. Оказывается, шкура бенгальского тигра, разо-

стланная на полу в маленькой комнате. Я привез ее из Китая сто лет тому назад. У шкуры нет когтей, и она полысела, хотя мы с Матильдой не раз колдовали над ней, чтобы ее не съела моль.

Мои собаки с удовольствием ложатся на шкуру своего давнего врага. Они мгновенно засыпают, как победители, уставшие от жестокой схватки. Неспроста лежат они поперек двери: наверно, не хотят, чтобы я отрывался от дела.

Каждую минуту в доме что-то происходит. В дальней комнате звонит телефон. Что сказать? Меня нет. Снова звонок. Что сказать? Я здесь.

Меня нет. Я здесь. Я здесь. Меня нет. Вот так идет жизнь поэта, для которого безлюдная Исла-Негра перестала быть уединенным уголком.

Меня постоянно спрашивают, особенно журналисты, над чем я работаю, что пишу. Какой несерьезный вопрос. Ведь, честно говоря, я неотступно делаю одно и то же. И не переставал делать одно и то же. Поэзию.

С большим опозданием я узнал, что то, что я делаю, что пишу, называется поэзией. Меня никогда не занимали теоретические ярлыки и дефиниции. Мне смертельно скучны эстетические споры. Нет, я не умаляю достоинства тех, кто в них участвует, просто у меня нет любопытства к свидетельству о рождении той или иной книги и ко всему, что напишут о ней *post mortem*.<sup>273</sup> «Пусть мной не правит ничто

---

<sup>273</sup> После смерти (*лат.*).

извне», – сказал Уолт Уитмен. Теоретические искания, при всей их значимости, не должны заслонять наготу литературного творчества.

За год я исписываю несколько тетрадей. Вот они здесь, эти тетради, скрепленные зеленой нитью моих строк. Многие стали книгами, перешли в чудесной метаморфозе из неподвижности к движению, из личинки к светлячку.

Разразившаяся политическая буря оторвала меня от моих дел. Я вновь вернулся к людскому множеству, которое было главным учителем моей жизни.

Я прихожу к людям с робостью, присущей поэту, с боязнь робкого человека, но, попав в их круг, сразу чувствую себя преображенным. Я – частица великого большинства, я – еще один лист огромного древа человечества.

Одиночество и людская толпа, люди, – вот о чем должен и сегодня думать поэт нашей эпохи. В одиночестве моя жизнь обогатилась битвой волн, опрокидывающихся на чилийский берег. Меня поразили и вдохновили сражающиеся волны и сраженные скалы, неизбывность жизни океана, совершенный строй «Странствующих птиц»,<sup>274</sup> сияние морской пены.

Но самому главному я научился у морского прибоя человеческих жизней, у нежности, которую увидел в тысячах глаз, устремленных ко мне. Быть может, не всем поэтам суж-

---

<sup>274</sup> «Странствующие птицы» – поэма в прозе чилийского поэта Педро Прадо (1886–1952).

дено понять их великий наказ, но тот, кому это выпало, навсегда сохранит его в своем сердце и воплотит в своем творчестве.

И нет более памятной, более проникновенной минуты для поэта, чем та, в которую он стал надеждой многих людей.

# Кандидат в президенты

Однажды утром – это было в 1970 году – в мое морское убежище, в Исла-Негра, приехали Генеральный секретарь нашей партии и еще несколько товарищей. Они предложили мне стать кандидатом в президенты республики и сказали, что моя кандидатура будет выдвинута на обсуждение шести или семи партий Народного единства. Все было подготовлено, продумано – программа, характер будущего правительства и его первоочередные задачи. До этого момента у каждой партии Народного единства, за исключением коммунистов, был свой кандидат, и каждая хотела сохранить именно его. Мы поняли, что необходимо выдвинуть единого кандидата, которого поддержат все левые партии и который станет кандидатом Народного единства. Пока мы обсуждали эту проблему, правые уже вовсю развернули предвыборную кампанию. И если бы мы не объединились в предвыборной борьбе, нас ждало бы серьезное поражение.

Коммунисты решили выдвинуть своего кандидата, с тем чтобы ускорить сплочение всех левых сил. Когда я принял предложение моих товарищей, моей партии, ее позиция стала для меня более ясной. Если бы силы Народного единства не пришли к согласию, наша партия боролась бы за мою кандидатуру до самого конца, но мы были готовы голосовать за кандидата, который получит поддержку всех этих сил.

Это был поистине героический шаг, побудивший всех остальных действовать сообща. Когда я сказал товарищу Корвалану, что принимаю предложение партии, мне было ясно, что партия со временем может и снять мою кандидатуру, если не осуществятся надежды на то, что левые объединятся вокруг кандидата коммунистов. Все искали нашей поддержки, даже некоторые кандидаты от христианских демократов, но не хотели поддерживать нас, коммунистов.

Моя кандидатура, возникшая в то морское утро в Исла-Негра, разожгла огонь надежды. Не было места, куда бы меня не звали. Я был растроган приемом, который мне оказывали тысячи и тысячи простых людей – мужчин и женщин. Меня обнимали и целовали со слезами на глазах жители окраин Сантьяго, шахтеры Кокимбо, горняки, добывающие медь в раскаленной пустыне, крестьянки с детьми на руках, ждавшие моего приезда. Это были люди, бедствующие на всем пространстве страны, от истоков реки Био-Био до земель у Магелланова пролива. С ними я говорил, им читал стихи, и они слушали меня, стоя в размякшей глине, под проливным дождем, под студеным, пронизывающим ветром Антарктики.

Я был полон воодушевления. Каждый раз сходилось все больше народа, все больше женщин. Меня все чаще пугала и завораживала мысль о том, что будет, если я вдруг стану президентом этой самой строптивой, драматически запутанной, влезшей в долги и, пожалуй, самой неблагодарной рес-



публики. Ведь у нас президентов встречают овациями лишь в первый месяц, а терзают – надо не надо – остальные пять лет и одиннадцать месяцев.

# Предвыборная кампания Альенде

В один из счастливых дней пришла весть – кандидатом от всего Народного единства станет Сальвадор Альенде. С одобрения моей партии я тотчас снял свою кандидатуру. Это произошло на митинге, где собралась огромная ликующая толпа. Следом за мной выступил Альенде и дал согласие быть кандидатом от Народного единства. Митинг проходил в парке. Люди были везде, где только можно, даже на деревьях. В зеленой листве виднелись головы и ноги. Нашим бывалым чилийцам все нипочем.

Я знал нового кандидата. Мне трижды довелось сопровождать его в предвыборных кампаниях – читать стихи и говорить речи перед людьми, живущими на нашей суровой, вытянутой в длину земле. Три раза подряд – с промежутком в шесть лет – выставлялась кандидатура моего упорного товарища. На четвертый он одержал победу.

Арнолд Беннетт<sup>275</sup> или Сомерсет Моэм – не вспомню, кто из них, – рассказывал, что ему как-то довелось спать в одной комнате с Уинстоном Черчиллем. И вот он своими глазами видел, как Черчилль, еще не очнувшийся толком от сна, протянул руку к ночному столику, взял огромную гаванскую сигару и тотчас закурил ее. Такое может позволить себе пещерный человек, обладающий железным здоровьем.

---

<sup>275</sup> Арнолд Беннетт (1867–1931) – английский писатель.

По своей выносливости Альенде превосходил всех, кто его сопровождал. У него был редкий дар, которому позавидовал бы сам Черчилль: он засыпал сразу, стоило ему только захотеть. Альенде спал глубоким сном, приткнувшись в углу машины, пока мы ехали по бескрайним выложенным землям чилийского севера. Потом вдруг появлялось впереди красное пятно, и через минуту-другую мы видели, что это группа в пятнадцать – двадцать человек: мужчины, женщины, дети; в руках у всех флаги. Машина останавливалась, Альенде тер глаза и выходил к людям, ожидавшим его под отвесными лучами солнца. Они пели вместе чилийский гимн. Потом он произносил выразительную, живую и краткую речь и возвращался в машину, которая увозила нас вперед по бесконечно долгим дорогам Чили. Без всякого труда Альенде снова погружался в сон. Каждые полчаса все повторялось снова: люди, флаги, пение, речь и опять сон.

В те изнуряющие, трудные месяцы Альенде был неутомим: он встречался с тысячами и тысячами чилийцев, пересаживался с автомобиля на поезд, с поезда на самолет, с самолета на пароход, с парохода на лошадь. Те, кто его сопровождал, уставшие, обессиленные, едва поспевали за ним. Когда Альенде стал законным президентом Чили, его потрясающая работоспособность привела к инфаркту его нескольких соратников.

## Посольство в Париже

Приступив к обязанностям посла в Париже, я быстро понял, что мне придется дорого заплатить за собственную сутность. Я согласился принять этот пост, не слишком раздумывая, вновь подчинившись велению жизни. Меня радовала мысль, что я буду представлять одержавшее победу народное правительство, которое пришло на смену стольким бездарным и лживым правительствам. А в глубине души пряталось еще и желание войти с полномочиями посла в здание чилийского посольства, где мне пришлось проглотить столько оскорблений в те времена, когда я организовывал отъезд испанских республиканцев в Чили. Все мои предшественники на этом посту так или иначе участвовали в преследованиях, которым я подвергался со стороны правительства: каждый из них приложил руку к тому, чтобы унижить меня, причинить мне зло. И вот теперь преследуемый должен был сесть в кресло своих преследователей, обедать за их столом, спать в их постели и распахнуть окна, чтобы новый воздух мира проник в здание старого посольства.

Но со свежим воздухом все оказалось весьма сложно. Нас с Матильдой обдало салонной затхлостью, едва мы – это было мартовским вечером 1971 года – переступили порог спальни и улеглись на досточтимые кровати, где когда-то встретили свою смерть со смирением или в муках некоторые

послы и супруги послов.

В этой спальне вполне можно было поселить воина и заодно его коня. Нашлось бы место, где кормить коня и где почитать воину. Потолки – высоченные, слегка декорированные. Мебель – сплошной плюш цвета сухих листьев, ужасающая бахрома. Словом, все достопримечательности определенного стиля, его роскоши и его увядания. Ковры, которые могли быть красивыми лет шестьдесят назад. А сейчас они приобрели цвет, который бывает у всех затоптанных ковров. И пропитанный нафталином запах ушедших в небытие бесед.

В довершение всего мы встретились с весьма нервным персоналом, который успел подумать о чем угодно, только не об отоплении гигантской спальни. Мы с Матильдой оченели от холода в первую ночь, проведенную в посольстве. На вторую ночь отопление заработало, но за шестьдесят лет пришли в негодность фильтры. Вместе с теплым воздухом в спальню проникал угарный газ. Нельзя было жаловаться на холод, но зато у нас стучало в висках, мы испытывали какое-то щемящее чувство тоски – верный признак угара. Пришлось открыть окна и впустить холодный зимний воздух. Быть может, так мстили старые послы новоиспеченному дипломату, который занял их место, не имея ни должностных заслуг, ни достойной родословной.

Мы решили, что нам нужно найти дом, где будет зелень листвы, вода, птицы, свежий воздух. Мысль об этом доме со временем стала навязчивой идеей. Мы, как пленники, ли-

шенные свободы, искали и искали свежий воздух за пределами Парижа.

Пост посла – это было что-то новое и очень хлопотное для меня. Но таящее вызов. В Чили произошла революция. Революция на чилийский лад, которую повсюду анализировали, о которой повсюду спорили. Ее внутренние и внешние враги точили на нее зубы, пытаясь ее уничтожить. Сто восемьдесят лет подряд моей страной правили одни и те же правители под разными ярлыками. Все при них оставалось по-прежнему: лохмотья, жилища, недостойные людей, дети без школ и башмаков, тюрьмы и полицейские дубинки для устрашения моего бедного народа.

Теперь мы могли дышать и петь. Именно это нравилось мне в моем новом положении.

В Чили назначения на дипломатические посты утверждались сенатом. Правые всячески восхваляли меня как поэта; они даже произносили речи в мою честь. Разумеется, эти речи они с особым удовольствием произнесли бы на моих похоронах. Я прошел всего большинством в три голоса, когда мое назначение послом было поставлено на голосование в сенате. Правые и кое-кто из христианских лицемеров голосовали против, прячась за безымянные черные шары.

Прежний посол увесил стены фотографиями всех своих предшественников, присовокупив к ним и собственный портрет. Это была внушительная коллекция вполне зауряд-

ных людей, за исключением двух-трех, среди которых следует назвать прославленного Блест Гану<sup>276</sup> – нашего чилийского Бальзака. Я велел снять всю эту галерею призраков и заменить их портретами более интересных личностей. На стене появились гравюрные портреты пяти национальных героев, давших Чили знамя, независимость и национальное самознание. И еще три фотографии моих современников: Агирре Серды – прогрессивного президента республики, Луиса Эмилио Рекабаррена – основателя Коммунистической партии и Сальвадора Альенде. Стены посольства стали выглядеть несравненно лучше.

Не знаю, что по этому поводу думали секретари посольства, ибо почти все они придерживались правых взглядов. Реакционные партии за сто лет сумели завладеть административным аппаратом страны. Даже на должность портье назначались только консерваторы или монархисты. В свою очередь демохристиане, называвшие себя поборниками «революции в условиях свободы», проявляли в этом деле такую же ретивость, как и все прежние реакционеры. Со временем эта параллель стала еще более очевидной, и в конце концов обе линии совпали.

Весь высший чиновничий аппарат, все архипелаги государственных учреждений были битком набиты служащими, инспекторами, советниками из правых, как будто в Чили не одержал победы Альенде и Народное единство, как будто в

---

<sup>276</sup> *Блест Гана* Альберто (1830–1920) – чилийский писатель

новом правительстве не было социалистов и коммунистов.

Именно поэтому я попросил, чтобы советником посольства назначили одного из моих приятелей – профессионального дипломата и видного писателя Хорхе Эдвардса. Его семья принадлежала к реакционной чилийской олигархии, но сам он был человеком левых взглядов, хотя и не состоял ни в какой политической партии. Мне необходим был умный, опытный советник, которому я мог бы полностью доверять. Хорхе Эдварде был поверенным в делах на Кубе. До меня дошли слухи о каких-то возникших у него осложнениях, но я не придавал им особого значения, поскольку знал Эдвардса как человека прогрессивных взглядов.

Мой запальчивый советник прибыл взвинченный, задержанный. Он рассказал мне обо всем, что у него произошло. У меня сложилось впечатление, что по-своему были правы обе стороны, порой это случается в жизни. Постепенно Хорхе Эдварде пришел в себя, перестал кусать ногти и стал работать в полную силу. У меня наконец появился умный, способный и верный помощник. В течение двух лет напряженной работы в посольстве Хорхе Эдварде был моим лучшим товарищем и, наверно, единственным в этом огромном учреждении дипломатом, которому можно было доверять.

Когда одна из компаний США наложила эмбарго на чилийскую медь, по всей Европе прокатилась волна негодования. Дело не столько в том, что газеты, телевидение и ра-



дио уделили много внимания этой проблеме, главное, что мы вновь почувствовали, что на нашей стороне общественное мнение, представляющее народное большинство.

Грузчики Франции и Голландии отказались разгружать медь в своих портах в знак протеста против происков империализма. Это благородное проявление солидарности взволновало весь мир. Такая солидарность глубже раскрывает сущность истории нашего времени, нежели лекции, прочитанные с университетских кафедр.

Я вспоминаю эпизоды, более скромные и еще более трогательные: на следующий день после наложения эмбарго на чилийскую медь простая француженка из провинциального городка прислала нам билет в сто франков из собственных сбережений, чтобы помочь делу защиты чилийской меди. Из французского местечка мы получили письмо, подписанное почти всеми его жителями: мэром, кюре, рабочими, спортсменами, учащимися. В этом письме они выразили солидарность с чилийским правительством.

Из Чили приходили письма от сотен друзей, знакомых и незнакомых, которые поздравляли меня с тем, что мы отстаиваем нашу медь от посягательств международных пиратов. В те дни одна чилийская крестьянка прислала мне посылку, в которой был тыквенный сосуд для мате, четыре агвиата<sup>277</sup> и несколько головок зеленого чеснока. Политический вес Чили вырос необычайно. Мы стали страной, которая *су-*

---

<sup>277</sup> Агвиат – дикорастущий томат.

*ществовала.* Прежде мы были незаметными, затерянными среди других слаборазвитых стран. Теперь мы впервые обрели собственное лицо, и вряд ли кто-нибудь в мире посмел бы не признать величия нашей борьбы за претворение в жизнь национальных идеалов.

Все, что происходило на моей родине, трогало, воодушевляло народ Франции и всей Европы. На массовых собраниях, на студенческих ассамблеях, в книгах, которые издавались на разных языках, – везде о нас говорили, нас изучали, нас фотографировали. Мне приходилось сдерживать нетерпеливых журналистов, которые хотели знать все обо всем и даже больше того. Президент Альенде приобрел всемирную известность. Всюду восхищались стойкостью и организованностью нашего рабочего класса.

После возникновения конфликтов, связанных с национализацией нашей меди, во всем мире еще больше возросло чувство горячей симпатии к Чили. Все поняли, что мы сделали гигантский шаг на пути к завоеванию новой независимости нашей родины. Без каких бы то ни было ухищрений народное правительство вернуло чилийцам чилийскую медь и тем самым утвердило наш суверенитет.

# Возвращение в Чили

В Чили, куда я вернулся из Мексики, меня встретили одетые в яркую зелень парки, улицы и леса. Пашей старо и и серой столице недостает зеленых красок так же, как любви – человеческому сердцу. Я с радостью вдыхал зеленую свежесть юной чудесной чилийской весны. Вдали от родины мы никогда не вспоминаем, какой она бывает в хмурые зимние дни. Расстояние стирает в памяти зимние невзгоды. Вместо бесприютных деревень, вместо босых ребятишек на замерзших дорогах искусная память рисует нам зеленые луга с желтыми и красными цветами и высокое синее небо, о котором поется в чилийском гимне. Вот и теперь я встретился с прекрасной весенней порой, которая столько раз грезилась мне в далеком краю.

Но стены города затянула иная растительность. Стены города покрылись мхом ненависти. Антисоциалистические плакаты, изрыгавшие ложь и брань, антикубинские и антисоветские плакаты, направленные против мира и гуманизма, кровавые плакаты, пророчащие резню и новые Джакарты,<sup>278</sup> – вот чем были опутаны, измараны стены города.

В свое время мне довелось столкнуться с подобной про-

---

<sup>278</sup> Имеется в виду массовое уничтожение коммунистов и прогрессивных деятелей других демократических организаций в Индонезии после военного переворота в 1965 году.

пагандой за пределами Чили, я узнал ее по тону и по смыслу. Она была такой же в Европе накануне прихода Гитлера к власти. Именно таким был сам дух гитлеровской пропаганды – потоки беспардонной лжи, крестовый поход угроз и страха, использование всех видов оружия ненависти, направленного против будущего. Я понял, что чилийская реакция замахнулась на самую суть нашей жизни, наших традиций. И не мог объяснить себе, откуда берутся чилийцы, которые могли так надругаться над нашим чувством национального достоинства.

Когда у правых возникла надобность в терроризме, они не замедлили к нему прибегнуть, и совесть их оставалась спокойной. Они убили генерала Шнейдера – командующего сухопутными войсками, человека всеми уважаемого и погибшего потому, что он помешал осуществлению государственного переворота, который замыслился с тем, чтобы Альенде не смог стать президентом республики. Банда продавшихся мерзавцев стреляла ему в спину из автоматов неподалеку от его дома. Всею акцией руководил бывший генерал, изгнанный в свое время из рядов чилийской армии. В шайку, осуществившую убийство Шнейдера, входили не только профессиональные убийцы, но и сынки из богатых домов.

Вдохновителя этого преступления, чья вина была доказана, военный суд приговорил к тридцати годам тюремного заключения. Но Верховный суд сократил срок до двух лет.

Жалкий, голодный бедолага за кражу курицы был бы приговорен в Чили к вдвое большему сроку, чем убийца генерала Шнейдера. Вот вам пример классового использования законов, созданных правящими классами.

Победа Альенде привела в ужас эти правящие классы. Впервые их представители задумались над тем, что законы, старательно разработанные ими самими, могут обернуться против них. Они бросились спасать свои акции, драгоценности, деньги, золотые монеты. Кто отправился в Аргентину, кто в Испанию, а некоторые укрылись в далекой Австралии. Страх перед народом мог бы загнать их и на Северный полюс.

Потом они вернулись.

# Фрей

Те, кто отстаивал чилийский путь к социализму, несмотря на всевозможные препятствия, ни разу не нарушили законов конституции. Что касается олигархии, то она быстро сбросила свое обветшавшее платье и приняла откровенно фашистское обличье. В ответ на национализацию меди блокада США стала еще более беспощадной. Североамериканская корпорация ИТТ при явном соучастии бывшего президента Фрея бросила христианских демократов в объятия фашиствующих правых.

Фрей и Альенде – две противоположные, антагонистические фигуры – вызывали постоянный интерес в Чили. Очень разными были эти два человека, два своеобразных вождя в стране, которой не свойствен вождизм. У каждого – свои цели и четко намеченный путь к их осуществлению.

Мне думается, я достаточно хорошо знал Альенде; в нем не было ничего необъяснимого, утаенного. С Фреем мы были коллегами в сенате. Этот довольно любопытный человек крайне осмотрителен и весьма далек от непосредственности, присущей Альенде. Правда, он часто хохочет, раздражается громовым хохотом. Мне нравятся люди, которые громко и заразительно смеются (сам я не обладаю таким даром). Но есть хохот и хохот. Фрей хохочет, сохраняя серьезное, озабоченное выражение лица, не спуская глаз с иглы, которая

ниже стезжи его политической карьеры. Внезапный смех Фрея может напугать: он напоминает хриплые крики ночной птицы. Фрей более чем учтив и холодно любезен в обращении.

Его политические зигзаги и повороты меня обескураживали до тех пор, пока я окончательно в нем не разочаровался. Помню, однажды он пришел ко мне в гости в мой дом в Сантьяго. То было время, когда в воздухе носилась идея сближения христианских демократов и коммунистов. Тогда демохристиане именовались Национальной фалангой – ужасное название, принятое под сильным впечатлением, которое произвел на чилийцев молодой фашистский вождь Примо де Ривера. Потом, после гражданской войны в Испании, они, не без влияния Маритена,<sup>279</sup> стали антифашистами и назвали себя христианскими демократами.

Наш разговор с Фреем был достаточно содержательным и сердечным, но не конкретным. Мы, коммунисты, были заинтересованы в том, чтобы добиться взаимопонимания со всеми людьми и группировками доброй воли; без союзников, одни, мы не приблизились бы к цели ни на шаг. Со свойственной ему уклончивостью Фрей дал мне понять, что он разделяет левые взгляды. На прощание он подарил мне взрыв хохота, и мне показалось, что у него изо рта посыпались булыжники. «Мы еще продолжим наш разговор», – за-

---

<sup>279</sup> *Маритен* Жак (1882–1973) – французский философ, эстетик, приверженец неотомизма.

верил он меня. Но вскоре я понял, что нам больше не о чем разговаривать.

После победы Альенде, Фрей – честолюбивый и хладнокровный политик – решил, что ему выгодно вступить в союз с реакцией, чтобы с ее помощью вернуться к власти. Бесплодные надежды, пустые мечты политического паука. Его паутина непрочна, ему ничего не дал замышляемый им переворот. Фашизм не терпит соглашательства, он признает только полное подчинение. С каждым годом фигура Фрея будет выглядеть все более мрачной. И настанет день, когда его памяти придется ответить за совершенное.



# Томич

Я внимательно следил за деятельностью христианско-демократической партии со дня ее рождения, с того момента, как она отказалась от нелепого имени фаланга. Эта партия возникла из небольшой группы, куда вошла элита интеллектуалов-католиков, находившихся под влиянием Маритена и неотомистских идей. Меня не слишком интересовали их философские взгляды, я от природы равнодушен ко всему, что связано с теоретизированием вокруг поэзии, политики и секса. Но практические последствия этого малочисленного движения сказались самым неожиданным образом. Мне, например, удалось убедить некоторых молодых руководителей фаланги выступить в защиту республиканской Испании на многотысячных митингах. Их участие в митингах вызвало целую бурю. Старая церковная иерархия, подстрекаемая консерваторами, чуть было не погубила новую партию. Только вмешательство дальновидного епископа предотвратило ее политическое самоубийство. Заявление прелата города Тальки спасло маленькую группировку, которая со временем превратилась в самую крупную политическую партию Чили. Однако ее идеология полностью изменилась за истекшие годы.

После Фрея наиболее значительной фигурой среди демокристов стал Радомир Томич. Я познакомился с ним, будучи членом парламента. Мы встречались во время забастовки

вок и предвыборных поездок по северу Чили. Тогдашние демохристиане устремлялись вслед за нами, коммунистами, чтобы принять участие во многих наших собраниях. Ведь мы были – являемся и по сей день – самой популярной партией в пустыне, где залегают наше главное богатство – селитра и медь, иными словами, среди самых обездоленных тружеников американского континента. Отсюда вышел Рекабаррен, здесь родились первые профсоюзы и рабочая газета. И это – заслуга коммунистов.

В ту пору демохристиане возлагали большие надежды на Томича, который обладал известным обаянием и блестящим ораторским даром.

С тех пор многое переменилось, особенно с 1964 года, когда демохристиане победили на выборах и президентом Чили стал Фрей. Предвыборная кампания, которую развернули сторонники Фрея, проходила под знаменем самого разнузданного антикоммунизма, при активном участии радио и печати, занявшихся откровенным запугиванием чилийского народа. От их пропаганды могли встать волосы дыбом: если победят коммунисты, монахини, все до одной, будут расстреляны; детей наколют на штыки бородачи, похожие на Фиделя; девочек отнимут у родителей и отправят в Сибирь. Позднее из заявлений, сделанных специальной комиссией сената США, стало известно, что ЦРУ потратило двадцать миллионов долларов на щедро начиненную ужасами пропаганду Фрея.

Сразу после миропомазания Фрея на пост президента он преподнес коварный подарок своему единственному серьезному сопернику в партии – Радомиру Томичу: назначил его послом Чили в США, зная наперед, что новое правительство возобновит переговоры с американскими меднорудными компаниями. В ту пору вся страна выступала за национализацию меди. И вот Фрей, как ловкий трюкач, подменил слово «национализация» словом «чилинизация» и новыми соглашениями закрепил за могущественными концернами «Кеннекот» и «Анаконда копер компани» право распоряжаться главным чилийским богатством. Экономические последствия этого маневра были ужасными. А политические последствия печальным образом сказались на карьере Томича: Фрей практически стер его имя с политической карты. Чилийцы не захотели поддержать посла Чили в США, который участвовал в махинациях с медью. На следующих президентских выборах Томич с трудом занял третье место.

Радомир Томич был у меня в Исла-Негра в начале 1970 года, вскоре после того, как ушел с поста чилийского посла. Он только что вернулся из США и еще не стал официальным кандидатом в президенты. Несмотря на все приливы и отливы политической жизни, мы всегда были с ним в дружбе, и эта дружба сохранилась по сей день. Томич хотел вместо нашего Народного единства создать еще более широкий альянс прогрессивных сил под названием Союз народа. Предложение Томича не имело под собой основы: как участник пере-

говоров по вопросу о меди он был скомпрометирован перед левыми силами страны. Кроме того, две ведущие партии Народного единства – коммунистическая и социалистическая – стали более зрелыми и могли добиться победы кандидата в президенты, выдвинутого из своих рядов.

Перед уходом Томич, явно расстроенный, сделал мне одно признание. Андре Сальдивар, министр финансов в христианско-демократическом правительстве, с документами в руках доказал ему, что Чили находится на краю полного экономического банкротства.

– Мы летим в пропасть, – сказал Томич, – больше четырех месяцев нам не продержаться. Это – катастрофа. Сальдивар самым обстоятельным образом убедил меня в том, что крах неминуем.

Спустя месяц после избрания Альенде на пост президента тот же самый министр публично заявил, что страна приближается к экономической катастрофе, и приписал это внешнеполитическим последствиям избрания на пост президента социалиста Альенде. Вот так пишется история. По крайней мере, так ее пишут циничные политические оппортунисты вроде Сальдивара.

# Альенде

В последние времена мой народ предавали с особой жестокостью. И вот в селитряных пустынях, в угольных шахтах, лежащих под дном океана, на грозных высотах, где прячется медь, которую нечеловеческими усилиями добывают руки моего народа, родилось освободительное движение, достигшее величественного размаха. Это движение сделало президентом Чили человека по имени Сальвадор Альенде, которому суждено было провести радикальные реформы, принять самые неотложные меры в защиту социальной справедливости и вырвать наши национальные богатства из лап иностранных хищников.

Всюду, где я бывал, в самых далеких странах люди с восхищением говорили о президенте Альенде, о плюрализме и демократичности нашего правительства. Здание Организации Объединенных Наций за всю свою историю не слышало такой овации, какую устроили чилийскому президенту представители стран всего мира. Ведь в Чили, наперекор огромным трудностям, строили подлинно справедливое общество, основой которого стали наш суверенитет, чувство национального достоинства, героизм наших лучших сынов. На нашей стороне, на стороне чилийской революции, были конституция и закон, демократия и надежды.

На другой стороне – чего только не было. Арлекины и

полишинели, паяцы всех мастей, террористы с пистолетами и цепями, мнимые монахи, продажные офицеры. Все они вертелись в одной карусели злобствующей досады. Фашист Харпа шел рука об руку с молодчиками из «Патриа и либертад»,<sup>280</sup> готовыми дух вышибить, проломить голову всем и каждому, лишь бы возродились прежние порядки в «большой асьенде» – так они именовали нашу родину. С ними, чтобы приукрасить всю эту братию, не расставался Гонсалес Видела, лихой танцор и банкир, чьи руки запачканы кровью. Этот мастер зажигательной румбы в свое время предал, танцуя, партию радикалов врагам народа. А теперь тем же врагам народа Фрей готов был продать партию демохристиан. Они плясали под дудку врагов чилийской революции, они станцевались даже с генералом Вио<sup>281</sup> и стали соучастниками его преступлений. Они играли главные роли в спектакле и спешно запасались продовольствием, которое прятали, где только можно; шипами, чтобы протыкать автомобильные шины; дубинками и такими же патронами, какими в недалекие времена убивали людей в Икике, в Ранкине, в Сальвадоре, в Пуэрто-Монтт, в Хосе-Мария-Каро, в Фрутильяре, в Пуэнте-Альто и в стольких других местах Чили. Убийцы Эрнана Мэри<sup>282</sup> плясали с теми, кто должен был защитить его

---

<sup>280</sup> «Патриа и либертад» – фашистская организация, боровшаяся против правительства Сальвадора Альенде.

<sup>281</sup> Генерал *Вио* – один из организаторов убийства генерала Шнейдера.

<sup>282</sup> Эрнан *Мэри* – чиновник, служивший в комиссии по проведению аграрной

память. Они плясали с лицемерной, деланной непринужденностью И сердились, оскорблялись, когда им припоминали «некоторые подробности».

В политической истории Чили мало революций и много стабильных, консервативных и весьма посредственных правительств. Много никчемных, бесталанных президентов и только два поистине великих – Бальмаседа<sup>283</sup> и Альенде. Оба они выходцы из богатой буржуазии, которую в Чили называют аристократией. И тот и другой были глубоко принципиальными людьми, посвятившими свою жизнь одной цели – сделать родину, униженную посредственными, недалекими правителями, сильной и свободной.

У Бальмаседы и Альенде – схожие судьбы. Бальмаседу довели до самоубийства за то, что он не хотел отдать на откуп иностранным компаниям наши селитряные богатства. Альенде убили за то, что он национализировал другое богатство чилийских недр – медь. В обоих случаях олигархия организовала кровавые мятежи, в обоих случаях чилийские военные оказались в роли охотничьих собак. Английские компании во времена Бальмаседы и североамериканские при Альенде подготовили и финансировали выступления реакционной военщины.

В обоих случаях дома президентов были разграблены

---

реформы при президенте Эдуардо Фрее.

<sup>283</sup> *Бальмаседа* Хосе Мануэль (1838–1891) – чилийский политический деятель, президент страны с 1886 по 1891 г.

по указке наших достославных «аристократов». Все в доме Бальмаседы было изрублено топором. Дом Альенде – на то и прогресс – бомбили наши «герои летчики».

И все же эти два человека во многом отличались друг от друга. Бальмаседа владел ораторским даром. Будучи человеком сильного нрава, он больше склонялся к единоличной власти. Он всегда верил в высокое предназначение своей жизни, и ему повсюду виделись враги. Он настолько превосходил свою среду и настолько был одинок, что в конце концов замкнулся в самом себе. Народ, от которого он ждал помощи, еще не существовал как организованная сила. Президент был обречен на роль просвещенного мечтателя, и его мечты о величии остались мечтами. После смерти Бальмаседы алчные иностранные торгаши вкуче с чилийскими парламентариями завладели селитрой: иностранцам досталась селитра и селитряные концессии, а креольской буржуазии – выкуп. Тридцать сребреников – и все пошло по-старому. Кровь нескольких тысяч простых людей быстро высохла на полях былых сражений. И рабочие, которых нигде не эксплуатируют так беспощадно, как на севере Чили, снова принесли огромные барыши лондонскому Сити.

Альенде не был большим оратором. И как государственный деятель он держал совет по поводу всех своих начинаний. Он был убежденным демократом во всем, вплоть до мелочей. Ему суждено было руководить народом, чье политическое сознание было неизмеримо выше, чем во време-



на Бальмаседы. Он мог опереться на такую могущественную силу, как рабочий класс, который знал, от кого что ждать. Альенде был сторонником коллективного управления: не будучи выходцем из народа, он тем не менее – продукт борьбы народных масс против застоя и коррупции, порожденных господствующими классами. Именно по этой причине он сумел за такой короткий срок сделать много больше Бальмаседы. Его свершения играют наиважнейшую роль в истории Чили. Одна только национализация меди – титанически трудная задача. А уничтожение монополий и коренная аграрная реформа? А все остальные дела, которые были осуществлены в период его коллективного по форме и сути правления?

Вся деятельность Альенде, имеющая неоценимое значение для чилийской нации, привела в бешенство врагов освобождения Чили. Трагический символ этого кризиса – бомбардировка правительственного дворца. Невольно вспоминается блицкриг нацистской авиации, совершавшей налеты на незащищенные города Испании, Великобритании, России. То же преступление свершилось в Чили: чилийские пилоты спикировали на дворец, который в течение двух столетий был центром политической жизни страны.

Я пишу эти беглые строки – они войдут в мою книгу воспоминаний – три дня спустя после не поддающихся здравому смыслу событий, которые привели к гибели моего большого друга – президента Альенде. Его убийств старательно

замалчивали, его похороны прошли без свидетелей, только вдове позволили пойти за гробом бессмертного президента. По версии, усиленно распространявшейся палачами, он был найден мертвым и, по всем признакам, якобы покончил жизнь самоубийством. Но зарубежная печать говорила совсем другое. Вслед за бомбардировкой в ход были пущены танки. Они «бесстрашно» вступили в бой против одного человека – против президента Чили Сальвадора Альенде, который ждал их в кабинете, объятom дымом и пламенем, наедине со своим великим сердцем.

Они не могли упустить такой блестящей возможности. Они знали, что он никогда не отречется от своего поста, и потому решили расстрелять его из автоматов. Тело президента было погребено тайно. В последний путь его провожала только одна женщина, вобравшая в себя всю скорбь мира. Этот замечательный человек ушел из жизни изрешеченный, изуродованный пулями чилийской военщины, которая снова предала Чили.